

Виктор Гюман

808.5

Г-74

СЛОВО
ОРАТОРА



18. 3

18. 3

18. 3

18. 3

DjVu – библиотека сайта
www.biografia.ru

В И К Т О Р Г О Ф М А Н

С Л О В О О Р А Т О Р А

808.5

Г74

(РИТОРИКА И ПОЛИТИКА)

Издавателство Писателей в Лекимград

№ 231

Отпечатано для Издательства Писателей
в Ленинграде 2-й типографией Транспечати
НКПС имени т. Доганкова.—Ленинград, улица
Правды, 15,—с колич. 5.300 экз., 8¹/₂ л.
Заказ № 9493. Ленинградский Горлит
№ 21620. Обложка художн. М. Курнарского.
Сдано в набор 10/XII 1931 г. Подписано
к печати 2/III 1932 г. Формат бумаги 72×110.
Типографский знак. 69.888 Ответственный
редактор М. Козаков. Технический
редактор Г. Сорокин.

1932
Фундам. Библиотека
Горьк. пед. института
им. М. Горького
Инв. № 318634

Вопросы речевой культуры стоят у нас на очереди дня. Но языковое строительство — при всей его неоспоримой важности — еще полузаброшенный участок. В условиях нашей общественно-политической жизни огромно значение публичной речи, но публично-речевое воспитание пролетарских масс ни в школе, ни за ее стенами по настоящему еще не начиналось.

Такое воспитание возможно только на основе научных данных, теоретически четких предпосылок, твердой методологической установки, иначе оно не только не принесет пользы, но неминуемо окажется вредным. Люди будут не обучаться, а портиться. Есть ли у нас наука о публичной ораторской речи, которая могла бы хоть сколько-нибудь прийти на помощь массовому рабочему агитатору, лектору, общественнику, которому приходится выступать публично? Такой науки у нас нет, хотя имеется немалое количество всяческих «пособий» по этой части.

Эти «пособия» — отголоски риторики, метафизической, политически враждебной теории ораторской речи. Не только наши популярные «пособия», но и вся мировая литература об ораторской речи зиждется на так или иначе риторическом воззрении на оратора и ораторское слово. Поэтому приходится заново ставить вопросы: что такое ораторская речь, какова природа ораторского слова и т. д., чтобы затем уже на основе научно-достоверной диалектико-материалистической теории создать практическое руководство для массового публично-речевого воспитания.

Автор этой книги сперва задался мыслью построить именно такое руководство. Но в процессе работы оказалось, что целый ряд общетеоретических проблем требуют предварительного обсуждения, что для стройки предварительно

необходим ряд изыскательных работ, иужна историческая разведка, — и это обусловило характер книги.

Оказалось, что наука об ораторской речи питается более чем двухтысячелетней традицией и что эта традиция как стена заслоняет от нас предмет изучения, его существо.

Оказалось, что риторическая традиция, могучая и по сей-час, — не что иное, как часть определенной политики. Так возникает проблема кардинальной важности для науки об ораторской речи — проблема взаимосвязи риторики и политики или, иначе говоря, объяснение сущности риторики, как теории и как соответственного качества ораторской речи. Разрешение этой проблемы произведет полный переворот в представлениях об ораторской речи, об ораторских стилях и в теории ораторской речи, и в методике публично-речевого воспитания. Падут искажения и предрассудки, которые культивировались тысячелетиями и выдавались в качестве «ключей ораторских тайн».

Таким образом, приходится строить почти заново и притом на перасчищенном месте. Этим обусловлена трудность задачи, которую берет на себя тот, кто одним из первых приступает к подобной работе.

Только в борьбе со старым создается новое. Приходится всегда начинать с разоблачений и с общей постановки вопросов. Приходится начинать с пересмотра исторического наследства, поднимать генетические вопросы и на первых порах больше ставить проблемы, чем их разрешать окончательно, больше намечать программу исследований, чем последовательно анализировать до конца. Эта книга не является ни историей ораторской речи, ни практическим руководством в строгом смысле. Она представляет собою опыт вводной главы к изучению пролетарской публичной речи — ее истории и теории. Именно поэтому в ней уделено большое место предшествовавшим стадиям развития публичной речи и общей характеристике стадияльных изменений в зависимости от развития политического общества в целом, от хода классово-борьбы. Вместе с тем ряд вопросов первостепенной важности, как, напр., языковое выражение аргументации ораторов в зависимости от развития метода мышления — от

чувственного и формально-логического познания к высшим формам диалектической логики у ораторов зрелого пролетариата — и целый ряд других проблем речевого стиля, речевой выразительности только бегом загрохотаны (а порою и вовсе обойдены молчанием). Отчасти тому причиной ограниченный размер книги, отчасти же полнейшая переработанность тех или иных вопросов в науке, в частности языковедной; достаточно иметь в виду, что коренные вопросы диалектико-материалистической лингвистики — например проблемы синтаксиса — сейчас только встают во весь рост и требуют еще принципиального разрешения.

В связи с этим не мешает напомнить «решительным и строгим» критикам, на суд которых предстанет эта книга, следующую старинную сентенцию:

«Если, согласно известному изречению, самый мудрый человек — тот, кто сам может придумать, что надо, а ближе всех к нему по мудрости тот, кто слушается мудрых советов другого, — то в противоположном качестве наоборот менее глуп тот, кто ничего путного придумать не может, чем тот, кто одобряет придуманную другими нелепость».

Не претендуя на роль мудреца, придумавшего, «что надо», автор этой книги во всяком случае утешает себя тем, что он оказался не из числа глупцов, одобряющих нелепости, придуманные до него другими.

20 августа 1931 г.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

...Четверо резервистов руководили деятельностью 75 000 ораторов-добро-вольцев, выступивших в 5 200 городах и произнесших в общем 755 190 речей.

Д. Криль.

Когда у нас говорят о слове, то обычно подразумевают слово художественной литературы.

Когда рассуждают о словесном творчестве, имеют в виду творчество литературное. Но это рассуждает инерция и говорит традиция.

Русская история почти не уделила места ораторской площадке — нигде было поставить политическую трибуну. Лишь с середины шестидесятых годов XIX века русская буржуазия «заводит» судебную ораторскую речь и только с 1906 года парламентскую. Речь церковная и академическая были суррогатами ораторства. Пропаганда и агитация долгое время шли преимущественно и полупотаенно через художественное слово. И с другой стороны господство словесно-художественных форм приводило зачастую к отрешенно-эстетическому поклонению слову, приводило к упрямым предрассудкам относительно высоких художественных жанров и творчески бедных — низких — жанров нехудожественного слова. Слово как бы делилось на касты по признаку благородства.

Изучением публицистического и особенно ораторского слова пренебрегали.

Ученые филологи и критики дилетанты, отягощенные предрассудками рутины, предпочитали почти исключительно заниматься, — когда дело идет о творчестве, — литературно-художественным словом. Но, занимаясь «изящной словесностью», они вращаются на холостом ходу в замкнутом кругу

вопросов, плодотворная постановка которых уже сама по себе требует привлечения новых гипотез и разработки новых проблем на материале всего речевого процесса как единого целого. Эти «пророки, предсказывающие назад» и всегда опаздывающие к поезду истории, — оказались не в состоянии понять социально-историческую диалектику в развитии речевых формаций и жанров. Историческое слово подменили словом музейным. Изучением музейной функции слова подменялось изучение его социальной природы. Когда же обращались к газетной или ораторской речи, то не шли далее догматической рецептуры приемов «хорошего тона» и поверхностных рассуждений по поводу.

И встает поражающее несоответствие между общественным значением ораторского слова, как могущественного средства агитации и пропаганды, и полным теоретическим равнодушием к проблемам ораторского стиля. Поистине удивительно, что созданные Октябрем ораторские образцы всемирно-исторического значения не удостоились даже десятой доли той оживленной дискуссии, которая охотно уделяется критикой рядовому роману, любой посредственной пьесе. Между тем несомненно, что в ораторском творчестве, как в политическом жанре, очень ярко воплотился речевой стиль «атакующего класса», стиль сверхмощной социальной действительности.

Этот стиль воплощен в политическом речевом жанре именно потому, что политическое освоение социально-классовой борьбы и ее задач исторически созрело в эпоху борьбы с монополистическим капиталом за социализм, очистилось от идеологических рудиментов и фикций и зрелостью своею ознаменовало переключение борьбы на высшую решающую степень. Борьба за пролетарский стиль, жестокая и долгая, была прежде всего борьбой за диалектико-материалистический речевой метод, т. е. адекватное слово и в этом именно смысле за новое слово. Эта борьба продолжается. Происходит колоссальное речевое перевооружение и притом «на ходу», во время боев, под непрерывным натиском еще могущественного противника. Вооружение и перевооружение требует ревизии нас-

ледств, пересмотра технических традиций. Необходимо, следовательно, теоретическое научное осознание и руководство этим процессом, который из стихийного может и должен стать высоко-организованным. То обстоятельство, что ораторским словом впервые в истории овладевают широчайшие массы и не только пассивно, но и активно, не только как слушатели, но и как ораторы, — диктует еще повелительнее необходимость теории, необходимость научно-проверенных принципов языковой политики.

Нет оснований предполагать, что ораторская форма политической речи, сыгравшая колоссальную роль в эпоху военного коммунизма — первого периода Октябрьской революции, вынуждена «посторониться» в эпоху реконструкции и социалистического строительства перед победным шествием учебника, брошюры, газеты, кино и радио. Не говоря уже о том, что радио-газета должна включать в себя элементы ораторской речи, количественно-механические расчеты «переключения энергии» здесь неуместны. Более того. Если Ленин и партийные постановления неоднократно подчеркивали возрастающую роль и ответственнейшее значение агитации и пропаганды для эпохи восстановления хозяйства, то роль и значение всех видов агитации и пропаганды неизмеримо растут и ширятся в эпоху реконструкции не только в силу грандиозности и трудности задач строительства, но и мирового политического обострения (опасность войны) и напряженной классовой борьбы вокруг строительства внутри страны. Достаточно даже одного факта социалистической перестройки сельского хозяйства, чтобы понять, какие грандиозные новые задачи и возможности стоят перед агитацией и пропагандой, в частности устной и в том числе ораторской. Агитационная деятельность не свертывается, а обрастает новыми корпусами — новыми методами и формами в соответствии с растущими новыми задачами.

Огромное значение получает групповая и индивидуальная агитация на производстве. Основная речевая форма здесь — беседа, а не ораторская речь. Но, во-первых, агитбеседа и ораторская речь — формы единой политической речи,

во-вторых, групповая агитация (внутри конкретной профессиональной группы рабочих в пределах звена и бригады) не только самостоятельная форма агитработы, но и способ подготовки рабочего к воздействию на него через иные распространенные формы устной агитации и пропаганды (доклады, лекции и пр., т. е. ораторскую речь), в цеховом, фабрично-заводском и т. д. масштабе, равно как и способ углубления и закрепления результатов этой массовой по форме агитработы; в-третьих, групповая агитация в известных случаях приближается и переходит в другие формы агитации, напр. в форму небольшого доклада с последующим обсуждением, т. е. получает ораторское оформление. Итак, ни устная агитация и пропаганда, ни ораторская ее форма в частности, не только не отработались, но напротив переключаются на новую энергию.

Новые массы рабочих-агитаторов поступают с каждым днем на политико-просветительный фронт. Они должны обладать не только общеполитической подготовкой, но и пролетарским агитационным методом и техническими речевыми средствами. Они должны владеть пролетарским ораторским стилем. В ораторской речи конкретные основы этого стиля даны особенно ярко Лениным в его собственных речах и в критических высказываниях по поводу речей политических врагов и друзей.

Но изучение ораторского стиля у нас только начинается. Исторические, теоретические вопросы только начинают ставиться. И здесь теория отстает от практики и притом не на 5 или 50 лет, а на 20 веков. Неудивительно, что ораторская методика и техника, лишенная теоретических оснований и четкой методологической базы, влачит жалкое кустарное существование. Нет надобности приводить примеры.

Неудивительно, что и речевое вооружение рабочего агитатора в огромном большинстве случаев стоит еще на низком уровне. То, что в ораторски-заостренной форме говорил об этом М. И. Калинин на XV Моск. губ. партконференции в январе 1927 года, и сейчас не утратило своего значения.

И неудивительно, наконец, что существуют люди, которые недоуменно спрашивают: — а что такое ораторское воспита-

ние, возможно ли оно вообще и зачем оно нашему агитатору и лектору. Однако, раздаются и другие голоса.

М. И. Калинин произнес на конференции речь об ораторской речи, насыщенную элементами игры с ораторской формой и юмором. Уже этим он придал речи агитационный характер: агитация за речевую форму агитации.

Рассказав анекдотический случай, как «на одном собрании председатель через определенный промежуток времени обращался к аудитории с просьбой встать» и на вопрос, почему это делается, объяснил: «Для того, чтобы товарищи крепко не засыпали», — т. Калинин говорит: «... ораторское искусство, это, товарищи, — самое трудное искусство, и большевики, работающие в массовых организациях, должны обладать этим искусством. Не обладая этим искусством, усыпить аудиторию ничего не стоит».. «Агитатор-пропагандист должен уметь так выступить, чтобы аудитория жила». «Политграмма должна быть одним из самых увлекательных предметов»... «Нужно к преподаванию политграммы допускать только таких лекторов, которые умеют говорить на настоящем русском языке, и ни в коем случае нельзя руководителю политграммой выступать с пасторской манерой. Хорошую мысль ничего не стоит убить пасторским подходом. В первую голову надо в занятиях использовать юмор, второе — сарказм и в исключительных случаях — пафос..» «... Здесь должен быть индивидуальный подход, и тогда публика не будет спать». «Ошибочно думать, что самое главное это, — чтобы лектор сумел преподать суть вопроса и не обращал внимания на форму преподавания». «... Наша задача, чтобы то, что мы говорим, было воспринято; восприятие же в значительной степени зависит от формы, в которую мы облакаем наши выступления.» «... Ни один агитатор, ни один оратор не будет ни агитатором, ни оратором, ни пропагандистом, если он русский язык изучит только по газетам. По газетам русский язык не изучишь, а забудешь, потому что вы сами знаете, как пишутся наши газетные статьи...»¹ И т. д.

¹ Цит. по д. о. «Правда» от 20 января 1927 г., № 16, стр. 3.

Из приведенных выдержек видно, что оратор сигнализирует неудовлетворительность выразительных средств агитаторов и пропагандистов и справедливо требует повысить языковое качество ораторской подачи материала.

Но подлинное разрешение этой, условно говоря, формально-технической проблемы невозможно без постановки и разрешения основных вопросов ораторского стиля, как формы идеологии.

Ведь способ выражения это — в основном — точка зрения, и речевой стиль определяется как угол зрения, отношение речевых смыслов к объективной действительности (той или другой ее стороны), отношение, реализованное динамической конкретноразвернутой системой выразительных средств.

Проблема выразительности есть проблема единства формы и содержания, выражения и выражаемого, проблема адекватности смысла — объективной действительности. Так она стоит и для ораторской речи.

Но ораторская речь — специфическая форма идеологии с особой социальной функцией — агитационной (в первую очередь) и пропагандистской.)

Это значит, между прочим, что ораторское творчество учитывает «язык» конкретно данной аудитории, находит с нею «общий язык», чтобы убедить.

Но значит ли это, что оратор плетется за аудиторией, повторяя слова ее «языка»? Нет, не значит, хотя встречаются такие псевдо-ораторы. Оратор изменяет или развивает «язык» аудитории, т. е. убеждает ее, исходя из ее «языка». Это значит, что оратор конкретизирует свои мысли (и следовательно выбирает те или другие образные выражения и т. п.) применительно к представлениям и понятиям, т. е. в конечном счете к условиям бытия аудитории. И только. Метод конкретизации целиком зависит от принципов оратора, его идеологии, т. е. его партийно-классовой позиции. «Как говорить» и «что говорить» — две неразрывные стороны одной и той же проблемы. Техническое вооружение (звуковая и пр. техника) оратора, его личные речевые способности, инструктаж, им полученный, и т. п., — все это пред-

посылки, условия, сами по себе ничего еще не говорящие о качестве ораторской речи; они содействуют обнаружению этого качества, определяют количественный коэффициент социальной эффективности ораторской речи.

Но что такое технические ораторские средства, которые находит оратор, что такое техническая ораторская традиция, которую встречает ораторская мысль? Ответ возможен только с исторической точки зрения. Это — старое, когда-то бывшее содержание, ставшее внешней формой для нового содержания, — так же, как обстоит дело с языком вообще. Лингвистика показывает, что напр. формальный признак рода, который ничего «не значит», когда-то был идеологически значимым фактом языка. Когда мы говорим «солнце всходит», «дождь идет», мы просто не замечаем разрыва между языковой формой и смысловым содержанием. Только «буквальное» (т. е. внешне формальное) понимание этих выражений обнаружит разрыв и противоречие. Этот разрыв и противоречие — результат отставания формы выражения, технической традиции выражения. Данный разрыв — результат громадного идеологического сдвига, разницы в освоении объективной действительности, и в то же время сохранения старой языковой формы. Вслед за новым освоением появляется и соответствующая форма выражения, создаваемая на основе языковой системы, путем ее сдвига. (В частности, например, мы имеем адекватные действительности формулировки вместо предложений: «солнце всходит» или «дождь идет», — это так называемый научный язык). Но глубокие социальные причины, обусловившие классовое мышление, кастовость науки, разрыв между теорией и широкой социальной практикой и пр., определили сосуществование старой языковой формы освоения, как ходовой коммуникативной формы. Вообще «традиция всех умерших поколений как кошмар тяготест над мозгом живущих», и люди пользуются «заимствованным от предков языком» (К. Маркс).

Все это относится и к ораторской речи — лишь с большим усложнением. Техническая ораторская традиция — коварная вещь, потому что на ней печать чужой идеологии, это «заим-

ствованный от предков язык». В каждый данный момент в ней имеются на ряду с элементами снятого элемента песнятого старого содержания. Отсюда трудности достижения максимальной выразительности речи, т. е. максимального соответствия формы и содержания. Главная трудность ораторского искусства и состоит в овладении адекватным словом — точным, ясным и ярким—и в то же время установленным на наиболее полное понимание данной конкретной аудитории в процессе коллективного восприятия и усвоения мыслей оратора. Итак, использование технической ораторской традиции— сложная и ответственная проблема ораторского воспитания.

Но к достижению максимальной выразительности речи стремятся и стремились ораторы всех классов общества и всех эпох. Однако, всякий раз это была количественно и качественно иная выразительность. Она менялась скачкообразно и противоречиво, отражая процесс общественного развития. Объективно выразительность освобождается от иллюзорности по мере развития неискаженного, неиллюзорного освоения действительности. Ораторская выразительность поднималась объективно на высшую ступень у ораторов исторически передового класса, оставалась на достигнутом уровне и затем неизбежно падала в эпоху загнивания класса, чтобы в новом и высшем качестве обнаружиться у ораторов атакующего класса. В эпоху монополистического капитала и пролетарской революции адекватное действительности слово есть достояние пролетариата, как подлинно революционного класса. И высшая выразительность—достояние стиля революционных пролетарских ораторов. Так раскрывается секрет выразительной силы, могущества слова ораторов революции, обаяния их ораторского искусства и страшной опасности их агитации для врагов.

Марат и Володарский—классические образцы опаснейших агитаторов, которых убили, чтобы заставить замолчать. Памятник Володарскому на бульваре Профсоюзов был уничтожен врагами: монумент знаменитого оратора продолжал агитацию.

Кстати сказать, необычаен процент величайших ораторов, погибших от руки убийц или вынужденных покончить с собою,

или, по крайней мере, испытавших покушения на их жизнь: Демосфен, преследуемый убийцами, отравился, чтобы не даться им в руки; Цицерона убили цезаристы и отослали голову в Рим; Савонарола сгорел на костре; Робеспьер, Сен-Жюст и др. погибли на гильотине; Жореса застрелили как раз накануне мировой войны; Карла Либкнехта и Розу Люксембург убили после войны; В. И. Ленин был тяжело ранен. Когда Ф. Лассаль был случайно убит на дуэли, буржуазно-дворянская Германия ликовала от радости. Нет ничего удивительного в этой картине: великие ораторы — это политические вожди, боровшиеся в исторические эпохи социальных кризисов, потрясений, революций.

Неудивительно, что господствующие классы стремятся всеми мерами парализовать влияние революционного слова. Не довольствуясь всевозможными методами запрещения, подавления и уничтожения, они стремятся противопоставить охранительное слово своей агитации и пропаганды. Напуганные влиянием революционного слова господствующие классы склонны даже приписывать ему мистическую силу влияния, преувеличивать могущество слова, его действительную роль и значение. Так возникают алхимические поиски «ораторских тайн». Так возникает «чудодейственная» сила большевистской агитации.

Для противодействия революционной агитации и пропаганде и для укрепления идеологического влияния на массы, без которого невозможно осуществление классовой политики, буржуазия спешит изучить и практически разработать формы и методы агитации и пропаганды всех ее видов, учитывая колоссальный опыт мировой войны и нашей революции. Не забывают и ораторской речи. Достаточно напомнить, что во время империалистической войны в Америке, например «Комитетом общественной информации» Криля были «спущены в ход» несколько десятков тысяч так называемых «четырехминутных агитаторов», которые выступали в публичных местах — в театрах, кино, трамваях и т. п. с четырехминутной речью на военную тему. В составе этого комитета было кроме того специальное «Ораторское отделение». В Калифорнийском университете существует ораторское отделение.

Американский «Христомол» заманивает к себе молодежь рекламными программами ораторских школ. Огромна роль ораторской речи в пропагандистской практике католической церкви, которая стремится сейчас — и небезуспешно — поставить себе на службу новый вид ораторства — радио-ораторство. Проблемы радио-ораторства стоят на очереди дня. В армии Чан-Кай-Ши организованы политотделы по примеру Красной Армии. Всюду буржуазия очень внимательно изучает опыт нашей революции, чрезвычайно опасаясь большевистской агитации и пропаганды. «Россия установила смертельную форму психологической войны», замечает военнополитический писатель, полковник английского генерального штаба, Чарльз Джон Фуллер.

Никогда еще агитация и пропаганда — в частности устная — не принимала таких массовых и всеобщих форм, не играла такой роли и не расценивалась так высоко, как в наше время. Пропаганда в современной войне, — пишет американский ученый Чикагского университета Гаральд Лассвель, — является «одним из наиболее могущественных орудий борьбы... в наш век люди, владеющие словом — писатели, репортеры, владельцы, лекторы, преподаватели, политики — все притянуты к работе пропаганды для того, чтобы возможно громче звучал ее властный голос. Все это ведется со всем декорумом разума и при помощи присущих ему ловушек, так как теперь — век разума, и требуется, чтобы сырой продукт был приготовлен и гарнирован искусными поварами»¹.

Здесь, — помимо прочего — интересна неосознанная, быть может, ирония ученого американца насчет «века разума» — но об этом после. Сейчас важно одно: признание, что пропаганда в войне «одно из самых могущественных орудий, борьбы» и что проблемы агитации и пропаганды — а следовательно и ораторской речи — чрезвычайно занимают — теоретически и практически — весь капиталистический мир.

Профессора, ученые и журналисты, со своей стороны, много содействовали систематическим исследованиям и изучению

¹ Г. Лассвель «Техника пропаганды в мировой войне». Глз. 1' 29) г.

² Слово оратора

этого вопроса. Среди видных германских ученых, выпустивших свои труды по пропаганде, мы встречаем Иоганна Пленге, Эдгара Штерн-Рубарта, Фердинанда Тэйнис и Курта Башвита. Ценные монографии по исследованию этого предмета были написаны: Шенеманом — по-немецки — о Соединенных Штатах; Маршаном — по-французски — о некоторых видах германской пропаганды; Виларом — по-немецки — о специальных задачах пропаганды и некоторыми другими. Блестящим вкладом в эту сокровищницу мыслей и взглядов явился труд Демарсиала, в котором проанализированы французская и германская пропаганда во время войны»¹.

«Мобилизации мнений» — так определяет Г. Лассвель пропаганду (в другом месте она определяется как «управление мнениями и взглядами при помощи выразительных символов»), — «мобилизация мнений» необходима для будущей войны не меньше, чем мобилизация людей и материальных средств. Это усвоено твердо. Но Лассвель идет дальше. С весьма серьезными основаниями он высказывает опасение: «может случиться, что подымет свою голову социальная революция». Вот гвоздь проблемы. Вот страшнейший враг, которого должна встретить во всеоружии агитация и пропаганда. Вот противник, для сокрушения которого не должно быть недостатка в средствах. «Моральный фактор», «психологический фактор» здесь стоит в первых рядах среди мер «воздействия».

Все для агитации и пропаганды. Просмотрите список использованной Г. Лассвелем литературы — немецкой, английской, американской, французской и итальянской, — по вопросам «техники воздействия на международные отношения во время войны и после нее», по вопросам «морали и военной психологии», «общие исследования по вопросам общественного мнения и пропаганды» и т. д. и т. п.; в частности прочитайте книгу Э. Штерн-Рубарта: «Die Propaganda als politisches Instrument», 1921, или Ф. Шенемана — «Die Kunst der Massenbeeinflussung in den U. St. von America», 1924; вдумайтесь

¹ Г. Лассвель, там же (стр. 24). Работы Демарсиала: G. Démartial La guerre de 1914. Comment on mobilisa les consciences, P. 1922, является пожалуй наиболее интересной.

в замечание Лассвеля, что «в будущем пропагандист всегда может рассчитывать на целый батальон честных профессоров, которые переписут историю заново, так, что она сможет служить требованиям момента и будет снабжать его подходящим материалом...»¹

Не ясно ли, что на пропаганду мобилизуются буржуазным обществом все ресурсы, не считаясь ни с какими «условностями морали» и предрассудками «добра и зла». Нечего доказывать, что эти ресурсы велики и могущественны, что «честные профессора» сделают свое дело. Мы вернемся в дальнейшем к вопросу о буржуазной агитации и пропаганде, чтобы на материале ораторской практики и теории коснуться ее сущности, форм и методов. Здесь же нужно было подчеркнуть, что буржуазный запад не жалеет вооружений и средств для «психологической войны», так же как для войны кровавой. Не жалеет, в частности, ораторских дымовых завес и ядовитых газов иллюзорной выразительности, чтобы удержаться на ускользающей почве исторической действительности. Не следует недооценивать вооружения противника, при помощи которого он отражает и наносит удары. Его разоружение это прежде всего его разоблачение.

Сила ораторской выразительности измеряется на шкале исторических событий. Ораторское вооружение проверяется в политических боях. Но дело науки — объяснение, предвидение и способствование изменению действительности.

Нынешний решительный этап борьбы подготовлен всем ходом истории. Нельзя понять настоящее вне связи с прошлым. Только на основе постижения исторического опыта, уроков истории, можно осознать задачи настоящего, чтобы действовать без ошибок, — это относится целиком и к ораторской речи. Без истории не может быть и теории ораторской речи. А между тем стать теоретической базой пролетарского речевого действия, — такова задача науки об ораторской речи, — науки, восставшей против риторики.

¹ Г. Лассвель, там же.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Не слова и не звук голоса составляют славу оратора, но направление его политики.
Демосфен. — «Речь о венке»

✓ Школьная риторика или теория красноречия — одна из немногих наук, которые совершенно бесполезны оратору. Более того, настоящему изучению ораторской речи мешало, как это ни странно, существование традиционной риторики. В этом отношении ее историческая роль похожа на роль спасательного круга, который помогает утопающему держаться на поверхности воды, но мешает научиться плавать.

✓) Оставшаяся почти в неприкосновенном виде от схоластической мудрости, она, как пушкинская Пиковая дама, безусловно присутствовала на пиршествах новой буржуазной науки в качестве «уродливого и необходимого украшения». Всерьез «никто ею не занимался». А если ораторский Герман обращался к ней с просьбой открыть ему тайну трех верных карт, то оказывался «свидетелем отвратительных таинств ее туалета» — и только. «Отлюбившая в свой век и чуждая настоящему» старуха неизменно молчала.

В античном обществе риторикой называлась наука об ораторской речи. Впоследствии она стала универсальной теорией словесности. Этот универсализм отнюдь не пошел ей на пользу.

Вот одно из великого множества общих высказываний о цели и задаче риторики, преподнесенное неким ритором, наставником русского гимназического юношества. Стоит вчитаться в это высказывание.

«Многие предубеждены против риторики, для которой грудились Аристотель, Цицерон, Квинтилиан; потому что неко-

торые наставники хотели научить искусству творить в прозе и стихах, а на деле вместо того учили только тропам и фигурам без всякого приложения их к писателям. Отсюда произошло сомнение в пользе, даже в возможности существования этой науки. Предубеждение отчасти справедливое по причине неопределенности учения риторического. Учиться риторике собственно значит изучать изобретение, расположение и выражение мыслей в слове по известным законам ума и слова человеческого, выведенным из творческих произведений писателей; но сила, творящая в произведениях прозаических и поэтических, есть дар врожденный и не дается наукою. Законы риторические, как законы ума и слова, в основаниях своих неизменны; потому что они вложены в человека провидением. Постижением их ограничивается риторика, как физиология ограничивается постижением законов живого организма человеческого. Цель риторики — показать, что те прекрасные формы, которые принимала мысль в поэмах Гомера и Вергилия, в речах Демосфена и Цицерона, прекрасна и в наше время, в наших поэмах и речах».¹

Все грехи старой риторики выложены здесь лицом. По существу это откровенное свидетельство научного бессилия. Не руководство к действию, а догма, в конечном счете теологической закваски. Слово, отрешенное от общественного человека, творящего его, от функций, слово неизменное, внеисторическое, божественного происхождения и его вечные законы... Изучение при таких условиях «силы творящей» и невозможно и беспредельно: тайна сия велика есть. Поэтому на долю науки остается повторение общих схем, заветных античностью, в которые вкладывается неведомо какое содержание, да классификация выразительных средств, как рассыпанного набора потерянной грамоты. Остается механическая систематизация выхолощенных формальных элементов речевого построения — аргументации, языка, общей композиции, регистрации вступлений, концовок и т. п.

¹ Теория словесности, курс гимназический, год I. Риторика, изд. III. Спб., 1852. Введение, стр. 2

Традиционная риторика помогла отмахнуться от проблемы становления и развития ораторской речи, позволила игнорировать диалектику ее форм и пройти мимо качественного анализа ее специфики. Риторика отличалась некритическим, антиисторическим, априорным характером. Отсюда все ее методологические грехи, как теории; она строилась на метафизических и теологических предпосылках, либо оставалась на почве наивной эмпирики. Нельзя сказать, что теория не имеет права принимать нормативную форму изложения, но тогда она должна уяснить себе истинную свою роль: служить практическим руководством (*Handbuch*) в результате теоретического обоснования конкретной ораторской практики.¹ Но мало этого. Опиравшаяся на идеалистическую философию или теологию, традиционная риторика с ее широкой абстрактной и метафизической нормативностью склонна была «по совокупности» рассматривать и объяснить «свойства» различных речевых жанров — прозы художественной, так называемой деловой и ораторской, при чем трактовала последнюю как один из «риторических» жанров. Этим самым риторика поневоле игнорировала самые специфические стороны именно ораторского слова. В метафизических исканиях тайны «риторичности», продолжающихся и в наше время, имманентно взятое слово на фоне «сознания вообще», освобождалось от конкретных и сложно противоречивых особенностей своей функции в социальном плане, как форма идеологии и средства общения, и созердалось «в себе», с точки зрения отвлеченно формальных признаков и подведения под ту или иную — философскую и эстетическую —

¹ Буржуазная наука имеет немало практических руководств специально, например, по судебному ораторству: Н. Orloff — «*Lehrbuch der gerichtlichen Redekunst*» (1887), Frydmann — «*Systematisches Handbuch der Verteidigung*» (1878) и т. п. Количество руководств по церковному ораторству огромно и у католиков и протестантов. Русская литература по ораторским вопросам вообще поразительно бедна, на что впрочем были свои социальные причины. По судебному ораторству можно отметить, в частности, книгу Се. генча (Пороховщикова) «*Искусство речи на суде*», 1910.

категорию. Неустанно и бесплодно искались имманентные границы поэзии, литературы, риторики. Риторика почти не касалась проблем конструирования ораторского слова, как слова публичного. Общие вилы упоминания были, конечно, не в состоянии не только разрешить, но даже поставить вопросы смысловой природы, стилевой организации ораторского монолога. Ведь для этого необходимо исходить из анализа исторического происхождения и социальной функции публичной, ораторской речи. Поэтому бесполезна риторика и для решения общих проблем языкового процесса. Она бесполезна не только для оратора, но и для лингвиста.

Риторика и гомилетика, как практические руководства, не ставили по большей части общих теоретических вопросов и были очень далеки от попыток серьезно опереться на исторический процесс и на лингвистику. Но старая буржуазная лингвистика и не могла прийти на помощь. Она не занималась ораторским словом и не могла им по настоящему заняться по общеметодологическим условиям. Лишь так называемая классическая филология, изучая речевую культуру античности, трактовала ораторские проблемы обычно в духе античных же риторических и стилистико-грамматических штудий, т. е. анти-исторически, механически усвоив себе грубо-эмпирическую описательность и формальную систематичку этих штудий, лишь удивившись от специфики изучаемых явлений. Изучались окаменелости, а не живые факты, не звенья исторического движения.

Но и общая лингвистика, не раз констатировавшая, что мы «говорим не только для формулирования мыслей; мы говорим также для воздействия на своих ближних и для выражения своих собственных чувствований», и что кроме логического языка существует *le langage actif et le langage affectif*, тут же признается, что *le langage actif* почти еще не изучен.¹

Но в том-то и дело, что психологическая лингвистика не в состоянии поднять этой проблемы, ибо самая постановка

¹ Wendryes, «Le langage», P. 1921, . тр. 162.

вопроса в достаточной степени безнадежная: как раскрыть тайну, напр., «*de langage actif*»?..

Плохо и со стилистикой, поскольку она и вне риторики является формально описательной — полусхоластической, полупсихологической — теорией. Суммарным сводом неподвижных эмпирически-констатированных формальных элементов остаются работы, подобные «*Traité de stylistique française*» — Ch. Bally. Что без «социологии» никак не обойтись, чувствуют и буржуазные лингвисты, но как бессильна эта «социология»!.. Указав — в другой работе — что язык отражает конфликтность социального общения, Байи пишет: «Исследуйте внимательнее и более употребительные приемы. Язык представляет, как оружие, которое каждый собеседник приводит в действие, чтобы внушить свою личную мысль. Разговорный язык управляется инстинктивной и практической риторикой. Он использует на свой лад приемы красноречия или, лучше сказать, это от него красноречие заимствует свои приемы.¹

Почему «лучше сказать»? Поразительна легкость этого «или», переворачивающая всю проблему. Для того, чтобы решать, кто у кого заимствует «приемы», «красноречие» у «разговора» или наоборот, — необходимо поставить генетическую проблему, представить себе картину развития речи, и притом звуковой, поставить вопрос о развитии диалога и монолога, об историческом соотношении их, об их роли. Для этого нужно было бы погрузиться в историю общественного развития, в историю мышления и т. д., а главное — вооружиться методологически.

Нетрудно обнаружить, что «социология» в рассуждениях Байи по крайней мере очень примитивная. Он говорит о противоречиях инстинкта индивидуального и инстинкта социального у говорящего, т. е. о столкновении в процессе общения индивидуума «как такового» и общества «вообще»; эти «социологические» рассуждения, — как впрочем и у других лингвистов той же школы, — достаточно старая и бесплодная

¹ Ch. Bally, «*Le langage et la vie*». P. 1926, стр. 30.

«робинзониада», весьма далекая от фактического положения вещей, которая свидетельствует об изменяющемся классовом человеке в изменяющемся классовом обществе и т. д. Ни капли историзма, ни на йоту диалектики. Что такое «инстинктивная риторика»? Каково взаимоотношение языка разговорного с языком ораторским? Все это и многое другое остается по меньшей мере неясным, равно как и точка зрения на выразительность слова (что такое экспрессивная функция?) на понятие «приема» и т. д. Можно смело утверждать, что лингвистика мало чем помогла риторике подняться на высоту науки. Позволительно думать, что «инстинктивная риторика» — это отражение в бытовом языке черт ораторской речи как языка идеологии, спустившаяся в быт риторика, в противоположность утверждению Байи.

Неудивительно, что неоднократно раздавались голоса, с грустью констатировавшие, что со времен Аристотеля, Цицерона, Квинтилиана наука не сказала ничего существенно нового. Вот слова специалиста: «Риторика одеревенела; в конце концов от нее осталась только орнаментальная часть, учение о синекдохах и метонимиях, одним словом — наша «риторика», степень популярности которой вполне соответствует ее образовательному значению».¹

Сказано достаточно сильно и убедительно. Быть может, судьба риторики — самый яркий поучительный пример неудовлетворительности общеметодологических принципов, на которых базировалась вся так называемая филология как часть науки об идеологиях. Иные (как, например, Ф. Зелинский) видели в психологизации риторики средство ее научного спасения.

Но это лишь свидетельствует, что риторика не поспела в свое время даже за психологической лингвистикой, не дозрела, скажем, до Вундта — и больше ни о чем. Все попытки и рецепты оживления и омоложения риторики со стороны людей науки можно лишь уподобить любовному прикладыванию пластыря к деревянной ноге.

¹ Ф. Зелинский, «О чтении речей Цицерона в гимназии», филологическое обозрение, т. VII, отд. I, стр. 149.

Если риторика «новых» времен, превратившись в теорию прозаических сочинений», толковала о «прозе» вообще, то литературоведы не редко отводили угол для ораторской речи в историко-литературных трудах. Не говоря уже о том, что ораторская речь превращалась в литературный текст, насильственно соотнесенный с подлинно литературным текстом, и при этом утрачивала свои специфические черты, — над трактовкой ораторского слова повисала тяжесть извечной методологической путаницы в литературоведении. История литературы, как известно, не построена, если под историей понимать не просто хронологически-последовательное внешнее описание литературных фактов с социально-историческим комментарием, а объяснение литературного развития, его частных закономерностей и причинной обусловленности. В известном смысле история литературы и не может быть построена, поскольку литература в качестве надстроечного ряда не имеет «самостоятельного исторического развития»... хотя и обладает «относительной самостоятельностью движения» (Ф. Энгельс). «Призрак самостоятельной истории» ораторской речи и риторических представлений, помноженный на «призрак самостоятельной истории» литературы, вдвойне затемняет проблему изучения ораторской речи. С другой стороны, художественная литература и ораторская речь — явления разных практических сфер, и путаница в этом отношении влечет неминуемо к потере изучаемой специфики. Поэтому литературоведы весьма мало способствовали прояснению ораторских проблем.

Яркий пример — ораторские главы Истории французской литературы Г. Лансона.

Этот литературовед ничего не понял в ораторстве Великой французской революции. Он осудил революционное ораторство за тяжкие литературные грехи:

«В том несчастье революционного красноречия, что период его мощного роста совпадает с периодом литературного упадка. Отсюда вытекают обще-посредственные формы ораторского искусства. Язык речей растянутый, многословный, жидкий... подбор слов грешит против чистоты... Речи укра-

шены фальшивой примесью античного, всякими мифологическими орнаментами... Отвратительная риторика как будто занесла из коллегии на трибуну весь арсенал метафор, сравнений, намеков, дитат, служивших уже в течение двух столетий латинским речам школьников».¹

Возможность таких суждений, способных изумить непредрешенного читателя, обусловлена следующими ближайшими причинами: во-первых, непониманием специфики ораторского слова, его агитационно-пропагандистской функции, как слова политического; во-вторых, непониманием диалектики ораторских форм, — которым только и можно объяснить неправомерное оценочное соотношение ораторских принципов буржуазии конца XVIII века во Франции с речами Цицерона или Боссюэта или парламентским красноречием конца XIX века; а это тесно связано, в-третьих, с игнорированием социально-исторических условий, в частности в отношении к языку (наивный пуризм); в четвертых, литературной эстетизацией, с точки зрения реакционной нормативной эстетики, стилевых принципов работы ораторов революции. Другими словами — безразличной методологической позицией.

Лансон увидел в речах лишь элементы, «служившие уже в течение двух столетий латинским речам школьников», — только всего, т. е. подошел к ним с точки зрения элементов формально-схоластической риторики. Федот да не тот — этого Лансон не разглядел, допустив чудовищный просчет функциональных различий, которые несли на себе эти речевые элементы. Ошибки Лансона типичны для литературоведов и для историков ораторской речи. Дело в том, что указанные Лансоном — и многие другие — элементы были использованы в эпоху становления буржуазного ораторского стиля в новой жанровой конструкции агитационно-политической речи под иным смысловым знаком в соответствии с требованиями политической борьбы буржуазии с феодализмом, и сыграли немалую историческую роль; это и была новая риторика буржуазии.

¹ Г. Лансон, «История французской литературы XIX века», гл. II.

Лансон не смог понять, что «Камилл Демулен, Дантон, Робеспьер, Сен-Жюст, Наполеон, — герои, партии и массы старой французской революции, — осуществляли, пользуясь римскими костюмами и римскими фразами, задачу своего времени: освобождали от оков и строили новое буржуазное общество... Как раз в то время, когда люди стараются, повидимому, радикально преобразовать себя и окружающий их мир.. как раз в такие эпохи революционных кризисов они озабоченно вызывают на помощь себе духов прошлого, берут у них имена, боевые пароли, костюмы, чтобы в этом освященном веками одеянии, этим заимствованным у предков языком разыграть новое действие на всемирно-исторической сцене» (К. Маркс).¹

Лансон не учел пустяка — той социальной природы ораторской речи, которая ораторски-афористично, но по существу совершенно правильно была подчеркнута еще Демосфеном: «... не слова, Эсхин, и не звук голоса составляет славу оратора, но направление его политики». ² Ораторство это — часть политики. Кто осмелится утверждать, что Демосфен понимал в ораторском искусстве меньше, чем Лансон? — И если бы последний учел это соображение, то, быть может, он нашел бы иные возможности для уразумения «красноречия» Великой французской революции.

Метафизическое, формально-схоластическое учение об ораторской речи, разросшееся в эпоху феодализма, и затем доставшееся по наследству буржуазии, которая не смогла его по настоящему преодолеть, затуманило и исказило первоисточник нашей риторики — ораторскую античность. Это была та самая античность, на которую торжественно ссылались (иногда хулили) и которую плохо понимали. Слова Вольтера, что бог предпочитает тех, кто его отрицает, тем, кто его компрометирует, — как нельзя лучше применимы в данном случае.

¹ К. Маркс, «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» (Маркс и Энгельс, Собр. соч., т. III. Гиз, 1921, стр. 135—136).

² Демосфен, «Речь о венке» на процессе Ктесифонта (330 г. древней эры), § 280.

Нужно проделать обратный путь в античность, хотя бы по самому укороченному маршруту, чтобы, оттолкнувшись от нее, выйти на настоящую дорогу.

Для этого необходимо напомнить, чем была ораторская речь и риторика, и как они понимались в античном обществе. В самом общем виде ключ дан в приведенной цитате из Демосфена. Эта цитата говорит, что для Демосфена ораторство и политика неразрывно связаны между собою, быть может — одно и то же.

В основном общеизвестны те социально-исторические основания, которые обусловили возникновение и блестящее развитие публичной речи в Афинах. Непосредственной средой явился социально-политический строй античной демократии, строй, имевший свою историю. Процесс развития в Греции и по берегу Малой Азии, денежного хозяйства, начиная, примерно, с VIII века древней эры, вызвал строительство городской жизни и колонизацию берегов Средиземного моря. Усилившиеся городские центры — в процессе вытеснения натурального хозяйства — были сперва аристократическими республиками; власть принадлежала евпатридам — земельным собственникам. Демос же, т. е. весь остальной народ, не обладал политическими правами, а крестьянство находилось в кабальном подчинении у землевладельцев. Но в VI и VII веке происходит ряд революционных сдвигов, в результате которых городской демос и нищающее крестьянство выходят на политическую арену, отгесняя аристократов «феодалов». В прибрежных городских центрах власть захватывает торговая буржуазия, организуя города-государства на основе демократизации политического строя. Удачные войны с персами открыли огромные торговые возможности перед греками, в особенности перед Афинским государством, что привело его к экономическому и культурному подъему. В период наивысшего расцвета Афинской республики, в так называемый век Перикла (середина V века древней эры), а затем в эпоху Пелопонесской войны и далее до битвы при Херонее, когда наступил конец греческой независимости и утвердилась гегемония Македонии (338 г. древней эры), — вместе

с развитием так называемого демократического строя блестяще развиваются философия, искусство, ораторство. Этот демократический строй в противоположность аристократической олигархии Спарты заключался в том, что все, обладающее правами афинских граждан, принимали непосредственное участие в общественно-политической жизни, являясь членами народного собрания, решавшего основные вопросы общественной жизни, и занимали по выбору государственные должности, оплачиваемые казной. Хозяйственная жизнь строилась на широчайшем использовании рабского труда, причем многочисленные рабы не обладали никакими гражданскими правами (они были «варварами»), и даже для Аристотеля, например, раб был не человеком, а «говорящим животным». Афинское государство было прежде всего орудием подчинения и подавления огромной массы человеко-машин.

Но и среди свободных афинских граждан были разные классы и классовые прослойки с противоречивыми интересами; между классами шла очень острая борьба. Интересы землевладельцев противоречили интересам торговой буржуазии, а разоряющиеся сгоняемые с земли крестьяне и не обеспеченные ремесленники противостояли тому и другому классу. Власть находилась в руках торгового и ростовщического капитала, который вел широчайшую колониальную политику. Равенство политическое не было равенством имущественным. ¹

В связи с усложнением и ростом политической жизни на основе демократизации (народный суд, выборность должностей и т. д.), в связи с возростающим влиянием демоса, городской бедноты, не находившей себе работы вследствие широкого использования рабского труда и устраивавшего восстания против богачей-финансистов, торговцев и промышленников, а с другой стороны в связи с борьбой против

¹ Свобода конкуренции, свобода частной собственности «равноправие» на рынке и обеспеченность существования только за классом создают новую форму государственной власти — демократию, которая ставит у власти класс — как коллектив. (И. Подволотский, «Марксистская теория права» 1923, с. р. 33).

политических поползновений аристократии, — в связи со всем этим в Афинах со времени Перикла, который сам был выдающимся оратором, ораторская речь стала играть огромную политическую роль (как в Риме со времени второй Пунической войны). Греки (а затем римляне) предъявляли к выступающим на собраниях высокие ораторские требования, уже в силу обширности аудитории, так что без технического овладения публичной речью была почти невозможна политическая карьера. Огромные площади, цирки представляли собою совещательные собрания, на которых огромными толпами граждан решались государственные дела и испытывались ораторы. Время Пелопонесской войны, которая была не просто войною двух коалиций — Спарты и ее союзников с Афинами, а гражданской войной аристократической олигархии с демократией, — это время стало высшей ораторской школой (Перикл, Клеон — вождь радикальной демократии и др.), далее такой школой оказалась борьба Афин с Македонией (Демосфен, Эсхин, Гиперид, Демад и др.).

Публичная ораторская речь была почти монопольной формой выражения политической идеологии. История (Фукидид, как в Риме Тит Ливий и пр.) — это в сущности та же ораторская речь; историк — сам оратор, собиратель и комментатор речей.

Теоретический интерес к ораторской речи был вызван сознанием необходимости овладеть ею, как орудием политической борьбы. Риторика возникла, как руководство политической практики — и здесь-то началась ее знаменитая ссора с философией, которая упорно отказывала ей в научном достоинстве. Риторика Исократы, Аристотеля, Гермагора (в Риме — Цицерона, Квинтилиана) и др. ставили задачу вооружения общественно-политических работников.

Именно софисты (а затем стоики) были той основной и непосредственною средой, где разрабатывалась риторика.¹

¹ Стоическая школа усиленно занималась риторикой, которая так же, как и диалектика, фигурировала у них в качестве отдела учения о логик. Через стовков (в Пергаме) риторика, грамматика и стилистика перешли в Рим. См. у Volkmann — „Die Rhetorik der Griechen u.

Софисту Горгию Леонтиискому, — дипломату и оратору, как известно, приписывалось насаждение риторики в Афинах, куда он занес ее из Сицилии, а также и определение риторики, как «творца убеждения». ¹ Это, повидимому, Горгием (а может быть его учителем Эмпедоклом или же Кораксом) установленное определение повторялось затем в риториках множество раз с теми или иными вариациями.

Не случайна связь софистов и риторики. Софисты были творцами антично-буржуазной философии. ² Исходный пункт этой философии был с ораторской остротой сформулирован Протагором: «Вещи являются для каждого лишь тем, что он в них видит согласно своим свойствам, следовательно человек есть мера всех вещей». — «Знаменитое положение Протагора, — писал П. Лафарг, — составляет всю основу субъективной философии, философии буржуазии, класса индивидуалистического *par excellence*, представители которого измеряют все сообразно своим интересам и склонностям». ³ Раз не существует общезначимого познания, объективной истинности, то каждое мнение истинно и ценно постольку, поскольку оно соответствует личному убеждению и субъективно полезно.

Философия софистов носила подчеркнутый общественно-прикладной политический характер. Софисты вынесли теорию в массы; это была демократизация и политизация науки. Научно-философскую мысль софисты стремились поставить на службу текущей общественной жизни, задавшись целью

Römer...» L., 1885, 2 Aufl. О стоиках см. напр., D. Tiedemann «System der stoischen Philosophie», I, II, III B., L., 1876. Следует иметь в виду, что именно в недрах стоической школы развивались идеи демократии, «всеобщего братства» и т. п.

¹ Sextus Empiricus — «Adv. rhetor». 61, стр. 687; у Volkmann'a; о Горгии источники — Philostrat, Witt. Sophist. (стр. 501); Diodor, XII, 52.

² Реабилитация софистов как философов и ученых была дана еще Гегелем (Werke, XIV B., 2 A., Berl., 1842 «Geschichte der Griechischen Philosophie». 2 Kap. стр. 3 — 39). См. также Hegmann, «Geschichte u. System der platonischen Philosophie», I, S. 179 и др.

³ П. Лафарг, «Проблема познания». — Экономич. детерминизм К. Маркса, изд. Московский рабочий, 1923 г. Приложение, стр. 307.

создать теоретическую и ораторскую подготовку к политической деятельности. В таких областях, как логика, грамматика и риторика, они не были только популяризаторами. Именно софисты теоретически осознали и практически использовали публичную речь, как агитацию и пропаганду, как первоклассное оружие политической борьбы, кипевшей в афинском обществе. Вершиною софистической риторики и была повидимому риторика Исократы и его учеников. Релятивистски-скептическое отношение к «объективной истине», вытекавшее из философских принципов софистов и имевшее глубокие социально-классовые корни, позволяло им поставить ораторское убеждение на службу правдоподобия и заняться отысканием могущественных речевых «средств» для создания убедительности. Ораторские средства убеждения открывают путь к власти. Все, что стоит поперек дороги индивидуальному мнению, должно быть сметено. Побеждать и властвовать — цель ораторского воспитания, которое должно вооружить политического деятеля. Задача риторики — эмпирико-прикладная.

Заслуживает глубокого внимания тот факт, что софисты (к которым следует отнести замечание Цицерона — о Сократе, — что последний «свел философию с неба в города и дома...») начали разработку логики и лингвистики именно в качестве знания, необходимого оратору, в качестве подсобных дисциплин для риторики. Таковы, напр., исследования Продика по синонимике или Гиппия в области грамматики, учение Протагора (по сообщению Диогена Лаэртция) о пользовании различными доказательствами, в связи с лингвистическими работами того же Протагора — о словоупотреблении и др. Формальная логика начинается теоретически именно здесь, как руководство для оратора, как «изобретение» средств ораторского убеждения, как основание *эристики* — искусства спора, как протагорейская задача — «сделать сильнее ту мысль, которая слабее». Учение софистов о доказательствах, их эристика, разработка субъективной диалектики — достаточно вспомнить «Софиста» и «Эвтидема» Платона и «софистические доказательства», о которых писал Аристотель в своей «Топике» — равным образом как и лингвистические штудии, которые

были тесно связаны с логическими и вытекали в первую очередь из внимания к двусмысленностям речевых форм,— все это имело очевидную политическую подоплеку, было составной частью риторики как политической теории, как науки завоевания мнения аудитории. Нужно было вооружить оратора способностью с равным успехом доказывать про и contra, смотря по «интересу». Отсюда расцвет «софистических хитросплетений», которые вовсе не были праздною забавой и уже во всяком случае не «объясняются юношеской склонностью к словопрепиям, юным наслаждением речью», как это казалось иным немецким ученым-философам (напр. Видельбанд),— напротив, это были элементы своего рода политграмоты, хотя бы и вульгаризированной, низведенной иногда до шуточной, анекдотической формы у эпигонов. Языковая политика софистов, этих идеологов античной буржуазии, заключалась в создании особого языка, публичной речи,— языка риторического, как орудия пленения аудитории, как средства ораторской победы. Логические средства «убеждения» сочетались с приемами эмоционального воздействия, среди которых мимико-жестикуляторные и голосовые средства («декламация» и пр.) играли немалую роль, как часть риторики.

Техника публичных выступлений была частью ораторского воспитания. Звуковая (произносительная) техника речи преподавалась актерами (Демосфен учился у трагика Андроника) и специалистами, которые назывались фонасками. Задачей своей знаменитой ораторской школы Исократ (436—338 г. древней эры) считал поставить ораторство на службу политике. Называя риторику «гимнастикой духа», развивающей мыслительно-речевые качества, Исократ не признавал за ораторством самодовлеющего значения словесного искусства и чувствовал себя более удовлетворенным теми учениками, которые делались политиками и полководцами, нежели учениками, считавшими себя ораторами—«узкими специалистами»; по мнению великого ритора наилучшая ораторская школа может воспитать только двух-трех истинных ораторов и не в этом ее основная цель. Из школы Исократа действительно вышли многие выдающиеся политические деятели и ораторы: Исей,

Гиерид, Ликург, Эскин. Метод обучения был опытно-практическим. Заслуживает глубокого внимания ясность практической целевой установки ораторского воспитания, не как «гармонической части» пресловутого «гуманитарного образования», а как определенной политической подготовки. Сам Исократ сопровождал в походе своего бывшего ученика Тимофея, и последний поручал ему составление официальных донесений, докладов дипломатического характера, в которых языковая политика играла особенно важную роль.

Прохождение исократовской школы было превосходной общественно-политической рекомендацией. В силу высокой платы за обучение эта школа была далеко не всем доступна. Известно, что молодому Демосфену она оказалась не по карману. Это обстоятельство уже само по себе свидетельствует, что риторика была закреплена за определенным классом.

Социальная роль, которую она играла, не могла быть безразличной. Отсюда пристальное внимание к риторике и споры вокруг нее. С целью воспрепятствовать влиянию на правосудие ораторского слова еще по закону Солона было запрещено выступление на суде адвоката: каждый афинский гражданин должен был лично защищать свои интересы, и лишь в исключительных случаях рззрешалось допущение представителя (напр. в делах малолетних и женщин). Но этот закон породил логографов — специалистов-ораторов (Лисий и мн. др.), которым заказывались речи — обвинительные и защитительные; эти речи составлялись в письменном виде и передавались клиентам, которые, проштудировав их, произносили затем в заседании суда.¹

Платон как будто первый поставил спор на принципиаль-

¹ Блестящей иллюстрацией адвокатско-ораторской беспринципности может служить роль Демосфена в процессе Аполлодора и Формиона. Демосфен, составив 4 речи для Аполлодора (богатого банкира), пишет затем речь для Формиона против Аполлодора. Мало этого — после этого процесса Аполлодор приглашает Демосфена написать речь для него в новом процессе Аполлодора против главного свидетеля со стороны Формиона — Стефаноса, процессе, направленном против самого Формиона. Брат Аполлодора — Пазиклей дает показание в пользу Формиона. Демосфен для того, чтобы парализовать впечатление,

ную высоту. Осуждение риторики родилось одновременно с нею и как тень сопровождало ее в веках и тысячелетиях. И трудно сказать, в каком еще состязательном процессе обе стороны обнаружили больше красноречия, чем когда на скамье подсудимых сидело само красноречие. Кому и как ораторство служит?— Вот основной вопрос, без которого не понять горячих филиппик в «диалогах» Платона, как не понять и всех вообще суждений pro и contra риторики. Что касается Платона, то он предъявил обстоятельный обвинительный акт в своих диалогах «Горгий» и «Федр». Платоновский Сократ обрушился с критикой именно на исократовско-софистическую риторику. Тесным же сократовскими вопросами Горгий определяет риторику, как науку («искусство») организации, составления речи: «ее работа и служение совершается посредством речей», тогда как другие науки занимаются «ремеслами» и «делами».¹ Риторика — это «словесное искусство».

Тогда Сократ спросил, «в отношении к чему служение речами есть риторика», сославшись на то, что и арифметика и астрономия «служат посредством речей». Здесь Сократ ударил по номиналистической универсально-формальной риторике, которая впоследствии расцвела грандиозным пустоцветом на полях европейской науки. «Если бы спросили меня об астрономии и, выслушав мой ответ, что она свое служение совершает словом, опять предложили вопрос: о чем говорит астрономия, Сократ?— я сказал бы, что о движении звезд, солнца и луны... Что за предмет, около которого вращаются речи, употребляемые риторикой?»

На этот вопрос собеседник в конце концов отвечает, что это — убеждение публичной речью в мнении оратора, убеждение, которое «производится в судах и других

делает намеки на то, что Пизиклей сын не Пизикона (отец Аполлодора), а Формиона, и родился от связи матери Аполлодора с Формионом. Быть может здесь мы имеем доведенные до логического конца софистические принципы в адвокатской практике. (См. Морилло и Дебена «Судебные ораторы в древнем мире». 1895).

¹ «Горгий» цитирую по переводу проф. Карпова «Сочинения Платона», ч. II, Спб. 1863 г., стр. 242 и др.

народных собраниях», убеждение «в том, что справедливо и несправедливо» (стр. 248). И далее Горгий признает, что риторическое убеждение основывается на внушении веры (веровательное), а не на сообщении знания (учительное). «Следовательно,— подхватывает Сократ,— ритор— есть не учитель судебных мест и других народных собраний относительно сираведливого и несправедливого, а только уверятель. Да ведь и невозможно такую многолюдную толпу научить столь великим предметам в короткое время» (стр. 250). Вера же бывает истинная и ложная.

Где же гарантия, что ритор не введет в заблуждение хотя бы потому, что «риторике нет надобности знать самое дело, ей нужно найти некоторый способ убеждения, чтобы незнающие явились более знающими, чем знающие» (стр. 256), не говоря уже, что ритор «может и злоупотреблять риторикой» (стр. 258).

Уже тем самым, что задача ритора определяется, как создание любого убеждения и внушения, ораторство имеет дело не с истиной, а с призраком истины.

Лишь экстаическое «безумие», овладевающее оратором, может слить воедино и гармонически мысль и слово, содержание и форму. Но обычно не мысль ведет слова, а слова ведут мысль оратора¹.

Отсюда — возможность злоупотреблений.

Таким образом, анализируя основания софистической риторики, как словесно-формальной ловкости, Платон устами Сократа приходит к выводу об идейной беспринципности риторики, а так как последняя объективно-достоверным познанием не интересуется, безразлична к исследованию истины (добра), обнаружению «причин» и воздействует безотчетно и стихийно, то она не наука («искусство»), а вид «ласкательства» — так же относись к политическим наукам — правоведению, — как косметика к гимнастике или поварское мастерство к медицине².

¹ Федр; 938 Д сл., 262 Д сл., 267А л., 273 Д сл.; «Горгий» 450 В сл., 457 Г сл.

² По толкованию Олимподора поварское дело и косметика — «идолы тела», а софистика и риторика — «идолы души».

Науки («искусства») ставят целью улучшение людей путем сообщения истинного и полезного, а косметика, риторика и пр. навыки — их удовольствие путем приятного. Политическое ласкательство или лесть и доставляет риторика в качестве формального мастерства. Риторика — орудие демагогии, обмана и служит для корыстолюбивых и честолюбивых внушений. Это искусство — великое делать малым, малое — великим, ложное — истинным, истинное — ложным. Риторы вредны для общества. Впрочем Платон, как известно, осудил подобным образом не одну риторику, но и трагедию, и комедию, и музыку.

Легко заметить, что до чрезвычайности похожий суд учинил спустя два с лишним тысячелетия Лев Толстой.

Социально - политическая позиция Платона — враждебная режиму афинской демократии, всему общественному укладу с его институтом «народоправства», коррупцией, демагогией, буржуазным «процветанием» и т. д., определила его осуждение риторики и раторов, их теории и практики. Сократ подчеркивает, что он не политик, что он чуждается общественно-политической жизни, что он смешон при исполнении общественных функций. «Я не из политиков, Полос. В прошедшем году, когда на очереди правления был мой округ, и мне, избранному в советники, надлежало собирать голоса, — проишоел смех; потому что я не знал, как приняться за дело» (стр. 280). Сократ за самосовершенствование, а не за политику. Известно, что Платон не одобрял политики Перикла, потому что тот «развратил» афинян: «первый установил давать за службу жалованье». Если вспомнить, что вознаграждение за общественную работу было необходимым условием демократизации, то позиция Платона становится совершенно ясной. Демократия — это «царство всеобщей разнузданности». «Идеальное» государство Платона представляет смесь монархическо-олигархических элементов с демократическими. Само собою разумеется, что возражения против риторики были частью возрз жений Платона против эмпирико-натуралистической политической теории софистов.

Платоновско-сократовская критика была критикой «справа» утопического характера. Ораторское слово адресовалось толпе

«невежд», которая предъявляла свои требования, не заботясь о самосовершенствовании. Вот что казалось опасным и нежелательным. На это ораторское классовое слово политического характера Платон обрушился в своих диалогах — с ораторским же словом морально-философского характера — столь же красноречивым своей социально-классовой сущностью.

Впрочем, красноречие Платона пропало даром. Общество осталось глухо к развенчанию риторики, и ораторы продолжали победоносно витийствовать в народных собраниях, пока существовала демократия.

Платон был прав по крайней мере в том, что абсолютной истины и вечной нравственности не было в ораторской теории и практике, — афинская республика весьма мало соответствовала идеальному образу платоновского государства. Риторика служила реальной классовой политике и от нее получала все свои качества, в том числе лжи и обманного внушения. В сущности платоновский Сократ домогался установить, что риторика служит не вечным делам, а политической злобе дня.

На критике Платона следовало задержаться именно потому, что с незначительными перифразами она сопутствует риторике до наших дней. Так и шло: критики сурово возмущались, а ораторы витийствовали. Риторика оставалась всегда заподозренной, несмотря на то, что Аристотель гениально попытался оправдать ее путем философского обоснования, которого, как доказывал Платон, не хватало исократовско-софистическому учению.¹ Аристотель подчеркнул, что дело риторики не «убеждать, но в каждом отдельном случае находить способы убеждения».² «До сих пор те, которые строили системы

¹ Спор греческой философии с риторикой продолжался веками. См. об этом в интересной работе Н. von Arnim, «Leben und Werke des Dion von Prusa», Mit e. Einleitung: Sophistik, Rhetorik, Philosophie in ihrem Kampf und die Jugendbildung», 1898.

² Указания на литературу и источники (напр. риторика Филодема) см. в подстрочных примечаниях к содержательной речи проф. А. Покровского, «Красноречие у древних эллинов» (Известия Ист.-фил. Нежинского Инст., т. XXI, 1904).

² Аристотель, «Риторика», перев. Платоновой, Спб. 1894, стр. 6.

ораторского искусства, выполнили лишь незначительную часть своей задачи, т. к. в области ораторского искусства только доказательства (pistis) обладают признаками, свойственными ораторскому искусству, а все остальное — не что иное, как аксессуары. Между тем авторы систем не говорят ни слова по поводу энтимем, которые составляют суть доказательства, много распространяясь в то же время о вещах, не относящихся к делу; в самом деле: клевета, сострадание, гнев и другие тому подобные движения души относятся не к рассматриваемому судьей делу, а к самому судье». А между тем риторика главным образом и обучала как раз этим «не относящимся к делу вещам», так что, по саркастическому замечанию Аристотеля, при условии «хорошего государственного строя», идеального судопроизводства «эти теоретики не могли бы сказать ни слова».¹ Средства голого эмоционального воздействия, ораторского внушения и «коварной софистики» должны уступить место «способу убеждения», т. е. доказательствам, чтобы раскрыть истину или хотя бы дать подобие истины. Ригоризм полезва, потому что исследует и находит подходящие и соответственные «способы убеждения». «Если мы имеем даже самые точные знания, все-таки нелегко убеждать некоторых людей, говоря на основании этих знаний, потому что оценить речь, основанную на знании, есть дело образования, а здесь перед толпою она невозможная вещь. Здесь мы непременно должны вести доказательства и рассуждения общедоступным путем...»² Так сформулировал Аристотель сущность и задачу агитации и массовой пропаганды. Отсюда уже ясно, почему Аристотель посвятил — во II книге — такое большое место изучению психологических свойств аудитории (слушателя) и оратора, эмоциональных движений, которыми должен управлять оратор. Аристотель подчеркнул, что риторика в его понимании носит универсальный и меетодологический характер, как и «диалектика», так как «обе они касаются таких предметов, знакомство с которыми может некоторым

¹ Аристотель, там же, стр. 2.

² Аристотель, там же, стр. 5.

образом считается общим достоянием всех и каждого и которые не относятся к области какой-либо отдельной науки. Вследствие этого все люди известным образом причастны обоим искусствам, так как всем приходится как разбирать, так и поддерживать какое-нибудь мнение, как оправдываться, так и обвинять.¹

Под углом зрения основных определений риторики Аристотель — в III книге — подошел к вопросам ораторского языка, т. е. стиля, понимая под стилем метод словоупотребления и фразеологии, а также звуковое оформление речи («пользование голосом»):

«Так как все дело риторики направлено к возбуждению того или другого мнения, то следует заботиться о стиле не как о чем-то необходимом, ибо всего справедливее стремиться только к тому, чтобы речь не причиняла ни печали, ни радости: справедливо сражаться оружием фактов, так, чтобы все, находящееся вне области доказательств, становилось излишним, однако, как мы сказали, стиль оказывается весьма важным, вследствие нравственной испорченности слушателя. При всяком обучении стиль необходимо имеет некоторое небольшое значение, потому что для выяснения чего-либо есть разница в том, выразишься ли так или этак; но все-таки значение это не так велико: все это относится к внешности и касается слушателя, поэтому никто не пользуется этими приемами при изучении геометрии.»² Аристотель, разграничив, как было замечено выше, функции «стиля» литературного («поэтического») и ораторского, точно так же различает «стиль» ораторской речи и «стиль» аргументативно-научный.³

Он подчеркнул роль и значение в ораторской речи эмоционально-образных экспрессивных средств, как «аксессуаров», необходимых в силу «нравственной испорченности слушателя».

¹ Аристотель, там же, стр. 1.

² Аристотель, там же, стр. 151.

³ Существует мнение что III книга аристотелевой Риторике написана по предложению Аристотеля каким-то другим ученым - специалистом.

Следовательно Аристотель не обошелся без помощи языка моральных категорий, переключаясь здесь известным образом со своим учителем Платоном. Аристотель не нашел (и не мог найти) более прямых, адекватных идеологических форм для объяснения констатированных им ораторских речевых явлений.

Тем не менее Аристотель резко подчеркнул, вслед за Платоном, что риторические доказательства служат созданию «кажущегося правдоподобия», а не истинности. Характеризуя «кажущиеся энтимемы» (т. е. риторические силлогизмы) и различные топы, которыми пользуются для кажущихся энтимем, Аристотель говорит в заключение: «Это и есть то, что называется черное делать белым. Вследствие этого люди по справедливости порицали профессию Протагора: она представляет собою ложь и не истинно правдоподобное, а кажущееся таковым, которое нельзя найти ни в одном искусстве кроме риторики и софистики». ¹ Таким образом получается, что ложь и риторика связаны между собою тесными узами.

Труд Аристотеля остался как бы в стороне от общего направления последующих риторических штудий. Методология, особенно важная для Аристотеля, оказалась мало существенной в глазах теоретиков и практиков ораторского дела: методика и техника, понятая в плане эмпирического практицизма, продолжала торжествовать. Уровень науки об обществе не допускал ничего большего.

В Риме нас встречают те же споры вокруг риторики.

«Есть два искусства, которые могут вознести человека на самую высшую степень почета: одно — это искусство хорошего полководца, другое — искусство хорошего оратора». Это изречение Цицерона как нельзя лучше разъясняет его взгляд на сущность ораторства. Ораторство — это война, но другими средствами, если война (по классическому определению Клаузевица) — продолжение политики другими средствами. С таким определением политики войны несомненно

¹ Аристотель, там же, кн. II гл. XXIV, стр. 146.

согласился бы Цицерон, живший в эпоху сложнейших классовых боев, то и дело получавших форму открытой гражданской войны. Сравнивая оратора с полководцем, он под последним разумеет не просто военачальника, но политика, имеющего в своих руках вооруженную силу. Примеры Суллы, Помпея, Ю. Цезаря и др. были у Цицерона перед глазами.

Ораторство — функция политики. Цицерон отметил, что расцвет ораторства обусловлен высоким развитием государственности, наличием развитой демократии: «ибо пристрастие к речи обыкновенно рождается не в приводящих в порядок государственные дела, не в тех, кто ведет войны, а также не в тех, кто связаны совершенной преданностью единовластною царей. Красноречие спутник мира, союзник тишины и уже хорошо организованного общества (*bene constituae civitatis*) питомец». ¹

Значение и роль риторики были для Цицерона ясны; он не сомневался в ее необходимости и полезности, как не сомневался в самой республике. Реалистичнее и буржуазному политикку эпохи республиканского империализма, Цицерону были чужды греческие словопрения вокруг риторики. Он отзывался о них с истинно-римским презрением. Красс говорит у Цицерона: «Я очень хорошо знаю, что обо всем этом идут у греков толки и споры. Я имел случай слышать первостепенных знаменитостей, побывав в Афинах во время моего квесторства... в пору процветания Академии, когда в ней господствовали Хармад, Клитомах и Эсхин... Все они на моих глазах почти единогласно оттесняли оратора от власти, устраняли от всякой учености... Но я не соглашался ни с ними, ни с изобретателем и зачинщиком исследований по этому вопросу, Платоном... Дело в том, что спор о словах издавна не дает покоя бедным грекам, жадным более до пре-пирательства, чем до истины». ²

¹ «Ciceronis Scripta»... Vol. II, Part. I, Lips., 1863. «Brutus», § 45 (стр. 208).

² «Ciceronis Scrip-ta» V. II, Part. I «De oratore», lib. I, §§ 45, 46, 47 (стр. 10, 11). Начало этого замечательного труда в переводе Ф. Корша напечатано в «Филологическом обозрении», 1893 г.

Философская природа спора осталась органически чуждой Цицерону.

Зато Цицерон в своей риторике заставляет Antonia с величайшей откровенностью высказаться о главной задаче оратора: «Нет ничего важнее в говорении, чем склонить слушателя на сторону оратора, и для этого слушатель должен быть так потрясен, чтобы им больше руководило сильное душевное волнение или экстаз, чем сила разумного суждения. Ведь люди судят гораздо чаще под влиянием ненависти, любви, страсти, раздражения, скорби, радости, надежды, страха, заблуждения и вообще какого-нибудь душевного движения, чем сообразно с истиной, с предписаниями, с правовыми нормами и с законами».¹

Здесь говорится о судебной речи, которая с точки зрения античной (да и новой) риторики, сравните, напр., суждения А. Ф. Кони по этому вопросу) должна быть более строго обоснована со стороны аргументативно-критической, чем общеполитическая речь в народном собрании. Таким образом, Цицероновская риторика оказалась гораздо ближе к софистической риторике, чем к риторике Аристотеля, весьма критически отнесшегося к внушающим «аксессуарам».

Римляне весьма мало занимались философской стороной вопроса, зато в плане реальной политики чрезвычайно широко использовали ораторство и риторику. Нужно иметь в виду, что партийно-классовая борьба в римском обществе к I веку древней эры достигла относительно высокого напряжения.

Укрепление Рима не в одной Италии, но и в средиземноморском бассейне и далее, вызвавшее небывалое оживление торговли и промышленности, выдвинуло на ряду со старой земельной аристократией, составлявшей прежнюю основу сенатской партии, и вместо нее — новую денежную аристократию (плутократию), главным образом из сословия всадников, т. е. класс банкиров, ростовщиков, откупщиков, арендаторов крупных имений, возникших в результате конфискации. Обширные колонии и полколонии Рима становятся объектом

¹ Ciceronis, V. II, p. I. 1863, «De oratore», lib. II, § 178, стр. 99.

жесточайшей эксплуатации, вложения капиталов римской крупной буржуазии; открывается простор для сложнейших спекуляций, которыми заняты огромные и многочисленные торговые компании, в которые вкладывала свои сбережения также средняя и отчасти мелкая римская буржуазия. С другой стороны, крестьянство начинает пролетаризироваться и выжидаться в солдатчину. Происходит разрушение мелкого крестьянского хозяйства, италийских крестьян сгоняют с земли; крестьянские земли переходят в руки крупной буржуазии. Чрезвычайно характерно, что выдающийся политик и оратор дидероновской поры Л. Красс был первым земельным спекулянтом своего времени. В Риме выдвигаются вольноотпущенники, составившие промышленное «сословие», увеличивается пришлый — провинциальный и муниципальный — элемент, и образуется столичный «пролетариат». Но труду свободного рабочего по условиям производства предпочитается труд раба. Италия наводняется рабами. За исключением рабов, все эти элементы и солдаты (они вербовались главным образом из крестьян), на которых опираются полководцы-политики, начинают играть все большую политическую роль.¹ Революционное выступление братьев Гракхов с требованием аграрных реформ — возрождения крестьянского хозяйства (фермерства), едва не кончившееся открытой гражданской войной, — способствовало резкому противопоставлению политических партий. Выступление Гракхов было задушено сенат-

¹ «В древнем Риме классовая борьба разыгрывалась лишь в пределах привилегированного меньшинства, между свободными богачами и свободными бедняками в то время как огромная производительная масса населения, рабы, составляла только пассивный пьедестал для борцов. Забывают меткое замечание Спемонди: «римский пролетариат жив на счет общества, в то время как современное общество живет на счет пролетариата» (К. Маркс. Предисловие к «Восемнадцатому брюмера Луи Бонапарта», Собр. соч. т. III, Гиз, 1921, стр. 134).

На этом основании К. Маркс предостерегал от «поверхностной исторической аналогии». Эта поверхностность отрицательно сказывалась при анализе п ораторских явлений античной общественно-экономической формации («рабский способ производства», — К. Маркс) и капиталистической.

ской «аристократической» партией земельных магнатов, против которой растет и усиливается партия демократов (популяров), требовавших аграрной реформы.

В цидеровское время классовые противоречия страшно усложнились. Партия демократов не была однако социально-политически единой: на левом фланге ее находились неимущие слои римских граждан и мелкие ремесленники, торговцы и т. п.; далее мелкие земельные собственники, а на ее правом фланге — крупные (относительно) промышленники (из «новых людей»), земельные спекулянты, откупщики, поставщики, директора компаний, банкиры и пр. денежная и торговая «аристократия». В цидеровское время трудно говорить и о единой сенатской партии: наряду с остатками старой земельной аристократии образовалось сильное ядро бюрократии; в сенат входили и «плутократы».

Полководец Марий осуществляет военную диктатуру, опираясь на демократическую партию (88 г. древней эры), а вслед за ним Сулла (82 г.) становится диктатором, как вождь сенатской партии (оптиматов), как глава реакции. Политическая борьба, перемежающаяся взрывами гражданской войны и заговоров, все усиливаясь и усложняясь, приводит к крушению республики и объявлению монархии (в 30 г. древней эры).

Рост политического влияния «демократии» усиливал политическое значение ораторского слова.

Отсюда — расцвет красноречия (а затем и его теории — Цицерон, Квинтилиан и др.), главным образом совпавший с эпохой крайнего усложнения политической и общественной жизни и внешнего могущества республики во II и I веках древней эры. Непрерывная борьба партий, социальных группировок, переходящая в гражданскую войну, — диктатуры, заговоры, восстания, политические комбинации, — все это необычайно заострило внимание на ораторской речи, как средстве политической борьбы.

Развитие римского империализма, особенно с конца 2-й пунической войны (201 г.), неуклонно сопровождается развитием риторики, риторической публичной речи. Рост политических противоречий вызывает рост особого рито-

рического языка для выражения политических отношений, языка как системы особых приемов или средств воздействия на аудиторию. Развитие политики было и развитием риторики. Известная агитация Катона — едва ли не отда империалистической агитации вообще — против Карфагена была одною из первых страниц в известной нам истории римской агитации. Развитие риторики, именно так называемого азиатского стиля, с его патетикой, театральными эффектами, декламацией и пр., отражало факт вовлечения в политику все новых слоев римского общества; этот риторический язык развивался как политический язык античной «демократии». Сами римляне констатировали этот факт появления и развития особого ораторского языка, особых чистораторских «новых приемов», которые служили и на судебной и на общеполитической трибуне. Цицерон в «Бруте» писал:

«Сервий Гальба, без сомнения, первый из латинских ораторов стал употреблять известные исключительно ораторские и как бы узаконенные приемы, а именно он уклонялся от темы ради красоты речи, доставляя удовольствие слушателям, производил на них впечатление, прибегая к преувеличению, и пользовался выражениями сожаления и общими местами».¹ Известно также, что Гальба ввел и театральные жесты в качестве средств ораторского воздействия.

Младший современник Гальбы — Гай Гракх, которого Цицерон считал «самым гениальным и красноречивым из своих сограждан», был тоже азиатистом, хотя более умеренным. Важно отметить особое внимание Гая Гракха, направленное на голосовое и жестикуляторно-мимическое оформление речи. Плутарх сообщает, что Г. Гракх говорил двигаясь, ходя и при этом обнажая плечо. Цицерон (и затем Квинтилиан) подчеркивают, что Г. Гракх модулировал движения голоса в зависимости от смыслового движения своей речи.

Сам Цицерон — политический глашатай интересов «новых людей», торгово-денежной «аристократии» (сословия всадни-

¹ Ciceronis, v. 1, p. II, «Brutus», § 82, стр. 216.

ков) — с величайшей энергией использовал на практике богатейшую риторическую рецептуру.

Цицероновские речи против Катилины (63 г. древней эры) — великолепный пример того, как использовал «отец отечества» свой «могущественный» риторический язык в защиту своего политического дела. Объединившийся в минуту опасности с сенатской партией, умеренный демократ Цицерон обрушился на Катилину от имени не класса, не сословия и не партии, а всего отечества («родина говорит»), как на бандита, а не политика. Все стилиевые средства были развернуты на поддержку этой основной тезы, потому что дискредитировать противника в создавшейся острой и сложной политической обстановке было важнее всего. Цицерон опасался сочувствия демократии к Катилине и обошел почти полностью скользкую плоскость принципиально-политического спора, чтобы постараться дисквалифицировать противника. Отсюда необычайная роль развернутого приема «ad hominem», сложной сети инсинуаций, пафосной маскировки подлинной своей позиции — этих центральных усилий цицероновского красноречья. Истинный смысл позиции Цицерона — опасение и противодействие грозящей социальной революции — оказался столь искусно замаскированным «цветами красноречия», что во всех речах против Катилины можно найти разве только следующую прямую и откровенную политическую фразу: «Неужели они не сознают (катилинарцы, В. Г.), что они, едва только достигши высшей власти, предмета их вождельств, будут вынуждены уступить ее какому-нибудь беглому рабу или гладиатору». (Вторая речь против Катилины 9 ноября 63 г.)¹

Для иллюстрации сложнейшей риторической организации речей Цицерона, как и оставшейся непревзойденной в истории ораторства, достаточно напомнить хотя бы вступление первой речи против Катилины, произнесенной в сенате, экстренно созванном Цицероном-консулом 8 ноября 63 г. древней эры; на заседании присутствовал Катилина, который был членом

¹ Цицерон. «Полное собрание речей», т. I, 1901 г., стр. 683. Подчеркнуто мною.

сената; после этой речи Цицерона Катилина спешно скрылся из Рима.

«Когда же, наконец, Катилина, перестанешь ты злоупотреблять нашим долготерпением? Когда прекратится оскорбительная безнаказанность твоих безумных происков? Когда положишь ты предел своей необузданной, надменной отваге? Палатин охраняется ночной стражей, по городу расставлены караулы, среди граждан тревога, друзья отечества озабоченно совещаются, сенат заседает в укрепленном месте, на лице всех окружающих тебя выражение гнева, — а тебе все это ничего не говорит? Ты не замечаешь, что твои замыслы обнаружены, что твой заговор уже раскрыт перед всеми этими сенаторами? Ты все еще считаешь неизвестным кому-либо из нас, что ты делал в прошлую, что в запрошлую ночь, где ты был, кого созывал, какое принял решение?»

Что за времена, что за нравы! Все знает сенат, все видит консул; а этот человек еще жив... Да и только ли он жив? Нет, он приходит в сенат, участвует в общественном совещании, своими глазами намечает на убийство каждого из нас. А мы тем временем, мы, люди дела, считаем свой долг перед государством исполненным, если нам удалось избегнуть его преступных ударов...»

Первый же период весьма характерен для риторики Цицерона; трехчлен (тройной риторический вопрос) с единоначатием, ритмико-синтаксическим параллелизмом, симметрией избыточных эпитетов, имеющих «украшающий» — по Аристотелю — характер («необузданная, надменная отвага» и т. п.). Сентенция («что за времена...») сменяется антитезой, а последняя — вопросно-ответным ходом, реализующим усиление смысла антитезы («нет, он приходит в сенат...»); вопросно-ответный ход замыкается усилением первого члена антитезы («А мы тем временем...») с полуиронической вставкой («мы, люди дела...»), и т. д. Возникает двойное инверсированное противопоставление людей порядка (консул, сенат, люди дела) и Катилины — их врага. Чрезвычайная густота риторических «приемов» налицо уже в начале речи. Так построена вся речь.

Богатство риторической фразеологии достигалось использованием различных стиливых пластов: «Грубый» язык брани на ряду с торжественной или сентиментальной («поэтической») фразеологией, и каламбурная игра словами, острословие на ряду с четкой формально-логической аргументацией. Широчайшее пользование синонимобразными выражениями создавало иллюзию смысловой густоты и эмоциональную перенапряженность речи.

Цицероновский период, обычно сложного строения, с упорядоченными клаузулами (конечными слогами фраз), поддерживавшими ритм, — был основным ритмико-синтаксическим элементом речи. Громадная конструктивная роль этого элемента обнаруживалась полностью в процессе «декламации». Голосовые и интонационные средства, имевшие для риторики Цицерона вообще колоссальное значение, были прежде всего средствами реализации периодического строения речи.

К голосовым средствам присоединялись приемы актерской игры — к «крику», о котором писал сам Цицерон, присоединялись жесты трагического актера и иногда даже слезы.

Цицерон говорил от имени всего римского народа, даже от имени всей Италии с тем большим пафосом, чем яснее выступала его измена демократическим принципам. В эпоху гражданской войны и диктатуры 88—78 годов Цицерон примыкал к группе «умеренных», не поддерживая Марка и не сочувствуя Сулле. Цезаризм, угрожавший гибели республике, которая переживала глубокий кризис, был опасностью справа, — с точки зрения Цицерона; натиск низших неимущих слоев «демократии», грозивших социальной революцией, угрожал буржуазно-аристократической республике слева. И этой «левой» опасности (которую он усмотрел в заговоре Катилины) Цицерон боялся гораздо больше, чем «правой». Отсюда — риторика политического оппортунизма у Цицерона, демократическая фразеология, прикрывающая интересы «финансовой аристократии». Но иногда эти интересы получали более прямое выражение. Когда в 69 году Цицерон был избран в эдилы, он произносит речи, прославляющие банкиров и ростовщиков, в качестве сторонника полководца Гнея

Помпея, которого старается соединить с сенатской партией против Юлия Цезаря—стремящегося к единоличной диктатуре, и против Клодия — вождя крайних демократов.

Именно речь Цицерона за назначение Помпея полководцем в Азию (Помпей был ставленником римских финансистов) особенно характерна своей идеологической откровенностью. Обращаясь к аудитории, Цицерон говорил о «смысле войны»: «...Откупщики, степенные и почтенные люди, свои денежные операции и капиталы перенесли в эту провинцию, а их интересы сами по себе заслуживают внимания с вашей стороны; действительно, если мы по справедливости в казенных сборах всегда видели артерии нашего государства, то мы столь же справедливо можем назвать то сословие, которое ими заведывает, залогом существования прочих. Но кроме того члены других сословий (т. е. «всадники», В. Г.), люди предприимчивые и деятельные, отчасти сами занимаются денежными операциями в Азии и поэтому, как отсутствующие, имеют право на ваше участие, отчасти же поместили большие капиталы в этой провинции... Следует твердо помнить хоть то, чему нас научила эта самая Азия и этот самый Митридат в начале азиатской войны, благо урок этот обошелся нам очень дорого: когда в ту пору множество граждан потеряло в Азии большие капиталы, в Риме платежи были приостановлены, и все курсы пали. Иначе и быть не может; немисливо, чтобы в одном государстве многие граждане потеряли свое имущество, не вовлекая в свою гибель и массы других лиц. Оградите же от этой опасности наше государство...»

Когда же, воспользовавшись политическими затруднениями, Катилина организовал заговор, опираясь, главным образом, на общественные «низы», Цицерон решительно стал на сторону сенатской партии и ликвидировал заговор, добившись казни оставшихся в Риме заговорщиков, что особенно возмутило «демократическую» партию.

Со стороны господствующих классов, живших под угрозой социальной революции, было вполне естественным стремлением поставить ораторство на службу своим классовым интересам, закрепить его за собою. Отсюда — открытые правительствен-

ные вмешательства в риторические дела, в борьбу ораторских направлений (стилей) — азиатского и аттического (архаического). Так, например, в 92 году древней эры был издан эдикт о закрытии латинских ораторских школ, которые, как известно, были рассадниками азиатизма (риторами были по преимуществу греки, профессионалы-педагоги) — ораторского направления демократии. Общедоступному школьному ораторству было противопоставлено аттическое, основанное на изучении греческого языка и на филологических штудиях, доступных по вполне понятным причинам лишь «избранным». Таким путем была сделана попытка решительно закрепить риторику и ораторство, как могучую общественную силу, за господствующим классом, и попытка лишить демократию ораторского воспитания.¹

А. Геллий сообщает, что в консульстве К. Фанния Страбона и М. Валерия Мессалы сенат определил по донесению претора Помпония, чтобы последний «для пользы республики» «выслал из Рима» риторов и философов. Потом, спустя некоторое время (72 года, ибо цензорский указ состоялся в 602 году ab Urbe cond.) после этого сенатского определения, цензоры Гн. Д. Энобарб и Л. Лиц. Красс издали указ, в котором констатировалось, что «молодые люди целые дни просиживают» в школах риторов, что этот «обычай» противен традиционным устоям воспитания («предки наши установили, — чему детям учиться и в какие ходить школы»), и что эта «новость» противна «благочестию» и т. д. (*Noctes Atticae*, lib. XV, Cap. XI).

Возникшее вместе с римской буржуазией ораторство, как политическая функция, теоретически питалось в основном греческими риторическими штудиями. Отставание практики от теории (если не считать блестящих работ Цицерона

¹ См. о законах, касающихся римского ораторства и риторов у Ф. Зеллинского («Художественная проза и ее судьба» в Сборн. статей «Из жизни идей») Моммсена («Римская история»), Цицерона («De oratore» III, 24, § 93 сл. Светония («De claribus rhetoribus», I), Авла Геллия («Noctes Atticae», кн. XV, 11, — есть плохой русский перевод 1787 г.), у Тацита («Dialogus...» 30) и т. д. Этот материал ярчайшим образом показывает, какой первостепенной силой было ораторство в общественной жизни Рима и как государство с ним считалось.

по истории и теории ораторства, свидетельствующих о глубоком знакомстве с греческой наукой) было отчасти компенсировано трудом Квинтилиана и лишь тогда, когда ораторство уже сыграло свою роль. Старые греческие споры воскресают под пером великого ритора и педагога.

Марк Фабий Квинтилиан — в своих знаменитых «Ораторских наставлениях» («*Institutio oratoria*», изд. в 96 г. новой эры, в год смерти автора), — определяя риторику, дает краткий обзор существовавших ранее определений. Он решительно возражает против великого множества формально-технологических толкований риторики, не оставляющих места для утверждения за нею необходимой благонамеренности и добродетели.

Указав, что Феодор Гадарейский определил риторику, как «изобретателя, судью и осведомителя насчет подобающего снаряжения (наряда) речи сообразно с расчетом, что в каждом случае может быть убедительным, в делах общественных», — Квинтилиан замечает, что и Корнелий Цельс определяет цель риторики — «говорить убедительнее в сомнительных общественных делах». «Оратор ищет (домогается) только подобия истины». «Ибо не созвание прввоты является наградой, а победа в споре». Так говорит Корнелий Цельс. Греки же определяют риторику подчас как «искусство обмана»¹.

¹ Вот это место, не попавшее вовсе — по неведомой причине — так же, как и многие другие места, в русский перевод труда Квинтилиана ак. Никольского. («Квинтилиана двенадцать книг риторических наставлений». Изд. Академией Спб. 1834 г. Перевод не только не полон, но и неудовлетворителен по языку). — *Cautius Theodorus Gadareus, ut jam ad eos veniamus, qui artem quidem esse eam sed non virtutem putaverunt. Ita enim di it... «Ars inventrix et indicatrix et nuntiatrix decenti ornatu secundum mentionem eius, quod in quoque potest sumi persuasibile, in materia civili. Itemque Cornelius Celsus, qui finem rhetorices ait «dicere persuasibiliter in dubia civili materia». Quibus sunt non dissimiles, qui ab aliis traduntur... Quidam eam neque vim neque scientiam neque artem putaverunt (как характерна эта разногласия! В. Г.), sed Critolaus usum dicendi (nam hoc τριβή significat), Athenaeus fallendi artem». (стр. 87—88) ...Corn. Celsi «haec verba sunt: «Orator simile tantum vero petit». Deinde paulo post: «Non enim bona conscientia sed victoria litigantis est praemium» (стр. 89). — *Quintiliani Institutionis oratoriae V. I, lib. II, cap. XV, изд. Teubn. Lips. 1884.**

Отмежевавшись от подобных воззрений, Квинтилиан не удовлетворился и аристотелевым определением риторики — не только потому, что считал его слишком широким и неопределенным (убеждает не только оратор; с другой стороны — оратор не всегда убеждает), но и в силу того, что проблема нахождения способов убеждения оторвана от проблемы выражения, без чего нет ораторской речи. («...nihil nisi inventionem complectitur, quae sine elocutione non est oratio»)¹.

Квинтилиан останавливается на определении: риторика есть знание (умение) хорошо и добропорядочно говорить («rhetoricen esse bene dicendi scientia»)². Это определение Квинтилиан выставляет на защиту риторики против всех тех, «кто имеет обыкновение жестоко восставать против нее». Он посвящает в книге II главу XVI доказательствам полезности риторики (An utilis) главу XX доказательствам добропорядочности риторики (An virtus), при чем ссылается на Цицерона (См. «De oratore», lib. III, 55), у которого Красс утверждает, что «красноречие — одна из величайших доблестей» («Est enim eloquentia una quaedam de summis virtutibus»)³. Наконец, в главе I (книги XII), под названием: «Невозможно быть оратором, не будучи добропорядочным человеком» («Non posse oratorem esse nisi virum bonum») Квинтилиан старательно обосновывает это положение, настаивая на определении оратора, данным М. Катонем: — добродетельный человек, искусный в речи (vir bonus dicendipertitus)⁴. Таким образом Квинтилиан защищает риторику и оратора, при помощи утверждения моральных качеств, к ним предъявляемым (bene dicendi; vir bonus). Вместе с тем ссылками на исторические факты он демонстрировал положительную, полезную социальную роль, которую сыграло ораторство.

¹ Op. cit., стр. 87.

² Op. cit., стр. 90. Очень сомнительно, можно ли перевести здесь «scientia» как «наука», ибо последней, как объективной системы знания (а не субъективного умения, понимания) соответствуют термины «disciplina» и «doctrina».

³ Op. cit., Lib. II, Cap. XX (стр. 101).

⁴ Op. cit., Vol II, Lib. XII cap. I (стр. 238).

торство, — Цицерон в борьбе с Катилиной и т. п.¹ Эти ссылки не оставляют уже никаких неясностей. Что означает реально этот язык моральных категорий? Идеологизацию ораторства, как социально-политической силы, поставленной на службу господствующему строю, господствующим классам. «Хорошо» (*bene*) и «полезно» (*utile*) — выражают здесь одно и то же. Но кому служит, *cui prodest..?* Такой вопрос у Квинтилиана, конечно, встать не мог. Он удивился бы и ответил: нравственности, отечеству, истине, народу... Но объективно Квинтилиан и М. Катон, этот первый оратор римского империализма, отец капиталистической агитации, вкладывали чрезвычайно определенное социально классовое политическое содержание в понятие *vir bonus*. Требование добропорядочности, т. е. своего рода идеологической выдержанности, явилось таким образом обязательной предпосылкой риторики и оратора. Цицерон никогда не согласился бы признать за своим классовым политическим врагом Катилиной высокого звания оратора, как Демосфен отрицал ораторские достоинства Эсхина. Для Демосфена знаменитый оратор Эсхин был «пустым болтуном» и словесным шулером, потому что «искусство приятного изложения» и «щегольства красноречием» недостаточно для оратора.² В полемическом задоре Демосфен ниспровергает даже это «искусство приятного изложения», т. е. словесно-выразительный метод Эсхина: «...Если бы обвинителем был Эак, Радамант и Минос, а не такой пустой болтун, площадный крикун, дрянной писаришка, то я думаю и тот бы не стал расточать такие высокопарные слова и не кричал бы словно в трагедии: «о, земля и солнце и добродетель» и тому подобное...».³

Очень четкое осознание политической природы ораторского слова удерживается у римских писателей и в позднейшую эпоху, императорскую, когда, по выражению Тацита, императорская власть «смирив красноречие, как и все другое»

¹ См. *Op. cit.*, vol. I, Lib. II, Cap. II (стр. 91).

² Демосфен «Речь о гекке», § 280. Цит. по переводу Нейлссва, Спб., 1887 стр. 104.

³ *Op. cit.*, § 127, стр. 48.

(«*maxima principis disciplina ipsam quoque eloquentiam sicut omnia depacaverat*»).¹ Другими словами, когда ораторство утратило под собою социальную почву в меру ликвидации открытых политических форм классовой борьбы.

Внешне-политическая борьба громадного напряжения со страшным врагом (Карфагеном) и внутренняя интенсивнейшая борьба партий, за которой стояли сложные классовые противоречия, отразились на характере всей культуры республиканского Рима. Не раз указывалось, что римская культура характеризуется не столько достижениями в области искусства или философии, сколько преимущественной разработкой конкретных форм сложной государственной и общественной организации, из чего вырастают наука о праве, военное дело, ораторство и т. п. Весь общественный строй и все его публичные институты, все направление общественной жизни и ее потребности — с неизбежностью выдвинули на первый план именно те «искусства», о которых говорил Цицерон. Очень любопытно, что литература — проза и даже поэзия — развивалась под влиянием ораторских принципов и оказалась по отношению к ораторству как бы производным фактом речевой культуры; даже история, как полунаучный жанр, отразила на себе глубокое влияние ораторской речевой культуры. При отсутствии массового воздействия печатного слова (тогда неизвестного), роль которого в новое время громадна (и к которому в наши дни надо присоединить еще и кино и радио) — именно ораторство осуществляло почти монополю задачу агитационного воздействия, «обработки» общественного мнения во всех республиканских учреждениях: в народном собрании, на форуме, в сенате, в суде, перед войском (военная агитация в Риме становится весьма могущественной со времени диктатуры демократа Марция — начало I века).

Политический принципат одного лица, как выражение диктатуры земельных и пр. магнатов, постепенно ликвидировал «демократические» институты республиканских времен. Авто-

¹ P. Cornelii Taciti, «*Dialogus de oratoribus*», Lips.—В., 1914, конец § 38.

номные коллегии, партийные клубы, дебаты на массовых собраниях, устный состязательный процесс перед выборными судьями, — наконец даже сенат, — все это было обречено. Буйный форум был закрыт. В сенате императорский конь в качестве первоприсутствующего в очень малой степени стимулировал ораторство. Политическая речь превращается в эпидейктическую — торжественную и «поучительную». Детально разрабатываются ее виды и подвиды (царские речи приветственные и прощальные, поздравительные, благодарственные речи по поводу событий семейной жизни и т. п.)¹. Технические ораторские средства приобретают значение самоцели. Ораторское действие превращается в спектакль или в бытовой ритуал. Ораторская речь — в изящную словесность, украшение, *hors d'oeuvre*. Из орудия партийно-политической борьбы она становится прославлением божественного величия императорской власти или способом школьного речевого воспитания и обучения или принадлежностью бытовых обрядов.

Естественно, что поэзия отодвигает ораторство на задворки.

Тацит в своем рассуждении «О причинах упадка красноречия» говорит об этом ясно, хотя устами верноподданного собеседника, всячески подчеркивает преимущества монархического строя, при котором царствует «благоразумие подчиненных», утихли политические бои, а вместо ораторства буйных республиканских времен процветает художественная литература — поэзия. Слава ораторская уже невозможна более, зато открыта слава литературная. Это звучит как утешение с оттенком горечи.

«Мы (риторы) говорили не о вещах безмятежных и спокойных, которые радуют честностью и скромностью, напротив, великое и замечательное красноречие — это месть своеволия, как глупцы называют свободу, спутник восстаний, возбуждение необузданного народа, без послушания, без строгости, непокорное, буйное и дерзкое, не имеющее места в благоустроенном обществе. Получили ли мы ораторов Лакедемонян или Критян?

¹ Сравн. у греков трактат «Об эпидейктической речи Мевандра (конец III в. новой эры). Volkmann'a Rhetor., 314—361 стр. и т. д.

В этих государствах господствовали строжайшая дисциплина и строжайшие законы. Точно так же не знали мы о красноречии ни Македонян, ни Персов, или какого-либо другого народа, который управлялся твердою властью. Родос же, а в особенности Афиняне, породили множество ораторов, — афиняне, у которых все было во власти народа, невежд, и все, так сказать, зависело от всех. И в нашем государстве, пока заблуждались, пока не изнурили себя партиями, и разногласиями и враждою, пока никакого не было на форуме мира, никакого согласия в сенате, никакой меры в суждениях, никакого уважения к вышестоящим, никаких границ у начальников, — возникало могучее красноречие, точно так же как непаханное поле дает красивейшие травы»¹.

И далее Тацит констатирует, что большие ораторы появляются лишь в таком обществе и в те эпохи, когда они нужны и поскольку нужны. «Верьте, уважаемые друзья и, сколько нужно, одинокие (в красноречии) люди, если бы вы родились в предшествовавшие века, или те, которым мы удивляемся, родились в наше время... то вам досталась бы их великая ораторская слава, а тем напротив не хазило бы размаха и средств (*modus et temperamentum defuisset*)². Следовательно, ораторская речь есть функция определенного политического строя. Спор за и против ораторства есть спор о социально-политическом строе. Вот прямой вывод из суждений Тацита.

Они с предельной ясностью для писателя античной общественной формации устанавливают точку зрения на ораторскую речь и ее историческую роль и судьбу.

В соответствии с установившимся взглядом на ораторскую речь, мы и в позднейших латинских риториках — уже IV в. нашей эры — находим такое, напр., определение риторики у Сульпиция Виктора в его «Ораторских наставлениях»: «Риторика есть, как определяют некоторые, умение (*scientia*) хорошо говорить. Но это определение столь же неправильно,

¹ Op. cit., § 40.

² Op. cit., § 41.

сколь и неполно... (sed haec definitio parum recta, quia parum plena). Гораздо удобнее определить следующим образом: риторика есть умение хорошо говорить по политическим (относящимся к государству) вопросам (...in quaestione civile)¹.

Античная риторика по своему твердо знала, чего она хотела. Поэтому мы видим, что величайшие образцы риторических построений — риторика Аристотеля, Цицерона или Квинтилиана, от которых ведут свою родословную все риторики, представляют собой пропаганду и защиту — иногда резко полемическую — конкретных теоретических выводов из ораторской практики в реальной исторической обстановке.

С другой стороны — у Квинтилиана в особенности — сказано естественное стремление подвести итоги громадному историческому опыту, завершавшему свой круг развития вместе со всем античным обществом. Именно в этом следует искать объяснения «воли» к догматическому теоретизированию. Эпоха Квинтилиана для латинского ораторства — это время начинающегося эпитопства и декаданса, время не столько ораторов, сколько риторов, не ораторских систем, а «риторик».

У Аристотеля — современника Демосфена, Эхина, Исократы — несмотря на принципиальную теоретичность его «Риторики», гораздо ощутительнее голоса живой и злободневной борьбы ораторских направлений. Борьба с горгианством за ораторски-действенный стиль, война против поэтических штампов и «декламации», за конкретизацию ораторского слова, против надвигающегося декаданса с его литературностью — орнаментализмом и «холодностью», — все это породило и заполнило третью часть риторики.

С этой точки зрения получают истинный смысл принципиальных вопросов такие, на первый взгляд узко-технические моменты, как «сложные слова» (темноцветный, узкодорожный...), как *eryteton organa*, как «далекая» метафора и т. д. Озабоченный проблемой дифференциации явлений, становления «стиля» именно в его ораторской функции, — Аристотель обнаруживает литературность указанных выше явлений,

¹ «Rhetores latini minores», ed. C. Halm. Lips. 1863 — Sulp. «Victoris Institutiones oratoriae», стр. 313.

в которых он видит причину «холодности», необедительности ораторского слова.

«...Так как поэты, трактуя об обыденных предметах, как казалось, приобретали себе славу своим стилем, то сначала создался поэтический стиль, как например у Горгия. И теперь еще многие необразованные люди полагают, что именно такие люди выражаются всего изящнее». Для Аристотеля горгианское направление в ораторском стиле это — метафорический, ритмизованный язык, — литературно-условный, эстетически-замкнутый, слишком «поэтический»; для ораторства это фальшивый неадекватный язык. Выразительность этого «стиля» как ораторского, делового, Аристотеля не удовлетворяет. И поэтому он заявляет: «На самом же деле это не так, и стиль в ораторской речи и в поэзии совершенно различен, как это доказывают факты...» Настаивая на разграничении «стилей» по их функции, Аристотель с поразительной четкостью указывает на выразительную роль элементов: «Вот почему произведения Алкидаманта (ученика Горгия) кажутся холодными: он употребляет эпитеты не как приправу, а как кушанье, так они у него часты, преувеличены и бросаются в глаза...» (стр. 158).

Критическая острота и точность высказываний у Аристотеля изумительны. Туманным и абстрактным теоретизированием «под знаком вечности» — здесь нет места. Перед нами живые имена и конкретные факты. Исследование ведется по линии дифференциации явлений, уяснения ораторских позиций сегодняшнего дня.

Великие риторические системы были всегда отражением конкретной ораторской практики и попыткой осмысления и утверждения ее принципов. Точно так же, как военно-теоретические работы по стратегии осмыслили, «кодифицировали» стратегическую работу великих полководцев — Жюмани — Наполеона или Шлихтинг — Мольтке Старшего. Понять ход мыслей Аристотеля, Цицерона, Гермагора, Дионисия Галикарнасского или Диодора Сицилийского, одеть их историческую роль можно только исходя из анализа ораторских принципов, породивших эти суждения.

Между тем античные имена были освящены в веках, их работа, теория и практика навсегда признаны образцовыми. Они приобрели универсальное значение одновременно с забвением их исторического реального смысла.

Так вошел в риторику, а оттуда в историю ораторской речи нормативно-догматический оценочный момент, и притом совершенно неправомерно, уже в силу полнейшего отрыва выразительных форм от идеологического содержания. Позади маячил идеал Цицероновской или Демосфеновской речи, и все последующие ораторы — любого времени — расценивались с точки зрения соответствия с канонизованными нормами.

Схоластические штудии «средневековья» и «нового времени» стерли почти до основания реальный рельеф античного ораторства и риторики. Эпоха феодализма переработала по своему античное наследие.

Точка зрения на ораторскую речь регрессивно переместилась, так как изменялась ее функция. Но суд над риторикой продолжался — в новых формах.

С IV в. наступил процесс «обратного развития» античного мира. Капитализм не удался по целому ряду серьезнейших и сложнейших причин — внешних и внутренних.¹ Постепенно надвигался глубочайший социальный поворот: вспять к натуральному хозяйству от сложных и развитых форм менового денежного хозяйства, поворот, сопровождавшийся политическими катастрофами. Отражением этого перехода был величайший идеологический кризис, глубокие идеологические потрясения и сдвиги, которые в свою очередь ускорили процесс «обратного развития». Это было время, когда идеология принимала религиозную форму, теологизировалась. Распространением христианства реаги-

¹ «Римские пролетарии стали не наемными рабочими, а праздничной чернью, «стои» стоявшей на более низком нравственном уровне, чем даже «белые бедняки» (poor whites) Южн. Шт. Северн. Америки, а вместе с тем сложился и расцвел ве капиталистический способ производства, а рабский». (К. Маркс и Ф. Энгельс, «Письма», 1928, стр. 281; письмо К. Маркса в ред. «Отеч. Записок», 1877).

вало античное общество на постигшую ее социально-экономическую и политическую катастрофу.¹

Представления о природе, о человеке, об обществе, о политике, об искусстве теологизировались. Теология вытесняла все. Религиозная борьба становилась господствующей формой выражения классовой борьбы.

Морально-теологический суд над старой риторикой совершил в IV в. Аврелий Августин, блестящий писатель и, в частности, теоретик ораторской речи. Не менее резко, чем Платон, поставил Августин вопрос об истинном и ложном красноречии. Если в свете платоновской метафизики возможно истинное постижение путем воспоминания (интуиции) при созерцании подобия вечных идей, — явлений чувственного мира, — то с августиновой точки зрения познание истины — это познание бога и служение ему через религиозное озарение и очищение — отрешение от мирских дел и помыслов.

Поэтому светская, мирская риторика — ложь, и служение ей — это служение дьяволу.

Платон восставал против господствующей политической теории и практики, а поэтому и против принципов ораторства; Августин восстал против того же самого, но при этом осудил государство и политику вообще, противопоставив им религиозное служение — спасение души.

В «Исповеди» Августин объясняет, почему он бросил десятилетнее преподавание риторики (в Милане). Он понял, что он «продавал за деньги, увлеченный страстями, искусство победоносной болтовни, бесхитростно учил словесным

¹ Ф. Энгельс писал о религии: «В основе этих неправильных представлений о природе, о строении самого человека, о духах, волшебных силах и т. д. лежит по большей части лишь отрицательно-экономическое (*nur negativ Oekonomisches*). Низкое экономическое развитие доисторического периода имело в качестве своего дополнения, а порой даже в качестве условия и даже в качестве причины, ложные представления о природе» (К. Маркс и Ф. Энгельс, «Письма», 1928 г., стр. 345). Регрессивное экономическое развитие повлекло теологизацию сознания «в качестве своего дополнения», но, конечно, гораздо сложнее, чем в первобытном обществе.

хитростям» «торговал словами», записывая «кафедру лжи» «на торжище суетной болтовни».¹ Идеологический кризис — обращение к христианству (384 г.) раскрыл ему глаза. Это была особая форма социального протеста.

Августин протестует против красноречия, как орудия лжи, насилия и обогащения. Он особенно подчеркивает культ формы, выразительных средств, фетишизацию слова «как такового» — этот зловещий признак загнивания. Заботятся о силе выражения, не заботясь о социальной справедливости и пользе выражаемого. «...Мне ставили в подражание таких людей, которых порицали и смущали, когда они о своих неплохих делах выражались с примесью варваризмов и солецизмов, и с другой стороны — хвалили и прославляли их, если они о своих порочных вожделениях говорили увлекательной украшенной правильной речью... Если кто-нибудь из преподающих фонетику произнес бы, против правил грамматики, без придыхания первый слог слова «*homo*», то он подвергся бы большим взысканиям, чем если бы вопреки заповедям — возненавидел бы человека, будучи человеком».²

«Ложному» и «продажному» универсальному ораторству Августин — в «Христианской науке» (*De doctrina christiana*) противопоставил «истинное» красноречие, которое «служит богу», сознательно и строго подчиненное определенному религиозному мировоззрению. Ораторская наука — риторика — пужна для того, чтобы вооружить «истинное» красноречие против «ложного». «Ибо если посредством риторического искусства убеждаются и в истине и во лжи (*per artem rhetoricam et vera suadentur et falsa*), — кто отважится сказать, что безоружная истина должна твердо стоять в своих защитниках против лжецов, тогда как последние, пытающиеся убеждать в лживых вещах, конечно, знают, как вступлением

¹ *Patrologiae t. XXXII, S. Aurelii Augustini Opera omnia, t. I 1841, Confessionum lib. IV, cap. II § 02 (стр. 693); lib. IX, cap. V, § 13. (стр. 769); lib. IX, cap. II, § 4 (стр. 765); lib. IX, cap. II, § 2 (стр. 765)*

² *Op. cit., lib. I, cap. XVIII, § 28 (стр. 673) и § 29 (стр. 674).*

сделать слушателя или благожелательным, или нападающим, или кротким»...¹

Таким образом Августин восстал против безыдейной формальной риторики (какой она и была в ту эпоху), осудил господствующее ораторство, как враждебную социальную силу, и противопоставил им риторику как «служанку теологии» — по формуле феодализма, признаки которого уже настигали на Европу.

На долгие века публичная речь сделалась выражением господствовавших религиозных форм общественного сознания, отодвинувших относительно высокоразвитые политические формы классовой борьбы в античном обществе времен расцвета. Историческая ирония, беспощадно отомстившая Августину, заключалась именно в том, что он оказался одним из основоположников той риторики, которая сделалась «кафедрой лжи» — объективной, а зачастую и субъективной — орудием принуждения, подавления и обмана в руках безраздельно господствовавшего класса; той риторики, которая с самого начала обтывила себя твордом и глашатаем идеологических фикций, искаженно отражавших социально-экономические основы общества феодальной формации. Классовая «правда» стала божественной ложью.

И та же самая историческая ирония торжествовала снова, когда в эпоху расцвета городов, поднявшейся торгово-денежной буржуазии и новых колоссальных идеологических сдвигов, Джироламо Савонарола (конец XV в.) — искренний католик, социальный утопист-протестант, если не революционер, и великий оратор, — обрушился с гневной филиппикой против нечестивого и лживого красноречия князей церкви и их прислужников, того красноречия, которое с величайшей откровенностью — эта откровенность ужасала Савонаролу — служило интересам «сильных мира сего». «Поди в Рим, пройди весь христианский мир: в домах самых первых прелатов и самых высших начальников только и раз-

¹ *Patrologiae*, t. XXXIV, S. Aur. Augustini Opera omni., t. III, pars I De doctrina christiana, lib. IV, cap. II, § 3 (стр. 89).

говор, что о поэзии, да об ораторском искусстве. Поди и посмотри: ты увидишь их с книгами гуманитарного характера в руках, учащимися по Виргилию, Горацию и Цицерону, как управлять душами...» (Из проповеди на псалом «Сколь благ», Рождественский пост 1493 г.).¹

Ирония торжествовала вдвойне, когда, обрушиваясь на искусство «как управлять душами», Савонарола учительльно ставил в пример благочестиво-правдивую проповедь давно прошедших времен, которая аскету Савонароле казалась отрешенной от мирской суеты. На самом деле различие заключалось в том, что обнажились классовые корни («высоких») теологических форм идеологии. Резкие ноты классово-политического языка — ибо политика уже громко заявляла о себе — стали откровенно врываться в словесную литургию духовных ораторов. Теологические смыслы стали прозрачными — они легко переводились на политический язык.

Эпоха побеждавшего и победившего капитализма, как и следовало ожидать, рассуждая чисто теоретически, — воспроизвела на новой основе политическую публичную речь и вместе с нею античные суждения об ораторстве, принципиальные споры вокруг него. Суд над ораторской речью продолжается. Обвинителем выступает Иммануил Кант, что особенно примечательно, если вспомнить его общественную и философскую позицию.

«Красноречие, поскольку под ним понимают искусство убеждать, т. е. обманывать путем красивой иллюзии (как *ars oratoria*), и не только как красоту речи (изящество и стиль), это диалектика, которая заимствует от поэзии лишь столько, сколько ей нужно для того, чтобы до решения привлечь слушателей на сторону оратора и, таким образом, в его интересах лишить слушателей свободы; следовательно его нельзя рекомендовать ни для судебных дел, ни для кафедр.»²

¹ Паскале Виллари. «Дж. Савонарола и его время», т. II, перев. Бережкова, 1913, стр. 215.

² И. Кант, «Критика способности суждения», § 53, перев. Н. Соколова, Спб., 1898, стр. 203.

Красноречие обнаруживает, по мнению Канта, «признаки искусства заговаривать и обманом склонять к интересам кого бы то ни было». Канта пугают риторические «ухищрения». «Коварному» красноречию противопоставлена поэзия, в которой «все дело ведется честно и открыто; она говорит, что имеет в виду дать только интересную игру воображения и притом в формальном соответствии с законами рассудка она вовсе не имеет в виду путем чувственного образа заставить врасплох и запутать рассудок». Не то ораторство.

«Я должен сознаться, что красивое стихотворение всегда доставляет мне чисто художественное наслаждение, тогда как чтение речей римского народа или теперешних ораторов парламента и церковных проповедников у меня всегда соединяется с неприятным чувством, с каким то порицанием этого коварного искусства, которое в серьезных делах умеет распоряжаться людьми, как машинами, склоняя их к тому суждению, которое при спокойном размышлении должно утратить для них всякое значение. Изящество и красота речи (а вместе это риторика) относятся к изящным искусствам, а искусство красноречия (*ars oratoria*) как искусство пользоваться слабостями людей для своих целей (пусть даже эти цели будут хорошо обдуманы или действительно хороши, сколько им угодно), отнюдь недостойно уважения, Как в Афинах, так и в Риме оно поднялось до своей высшей ступени в то время, когда эти государства спешили уже навстречу своей гибели, а истинно-патриотический образ мышления уже угас».¹

«Оратор»... замечает Кант — «хотя и дает нечто, что он обещал, а именно интересную игру воображения, но он не исполняет чего-то такого, что им было обещано, т. е. того, что было его настоящим замыслом, а именно целесообразной деятельности рассудка...»²

Голоса формальной софистической риторики и борющихся против нее Платона и Аристотеля, затем Тацита,

¹ Там же, стр. 204.

² Там же, § 51, стр. 196.

Августина, Савонаролы и других вновь ожили в словах великого буржуазного философа. Различая, по установившейся традиции, риторику и *ars oratoria* — ораторское искусство — и разумея под первую формально-эстетическую теорию языкового выражения — стилистику и композицию, Кант направляет огонь на ораторство, «которое в серьезных делах умеет распоряжаться людьми как машинами», Кант не одобряет ораторской деятельности, имея в виду именно Цицероновское определение, что оратор *docet, movet et delectat*.¹ Ораторская речь представляется актом организованного насилия над слушателями, поскольку появляются приемы ораторского воздействия.

Но что это за приемы?

Когда мы читаем, например, у Дионисия Галикарнасского, что «высшее красноречие в политических прениях близко подходит к природе, а природа требует, чтобы слово повиновалось мысли, а не мысль слову. Не знаю, к чему могут служить эти украшения, сценическая декламация, все эти мелочи для политика, говорящего о войне и мире, или для частного человека, защищающего свою жизнь в суде. Напротив того, знаю, что они могут повредить...» — когда мы читаем это, мы помним, что автор был главным теоретиком «аттицизма», того самого, с которым боролся умеренный «азианист» Цицерон. Шла борьба вокруг ораторского метода. Языковой орнамент (амплификации, фигурность речи и т. п.) и декламация, как средства эмоциональной «экспрессивности» — ораторского внушения, лексический отбор и т. д. вот что находилось на поверхности этой борьбы, которая была социальной борьбой за аудиторию. Победа «аттицизма» была победой сената над форумом, победой цезаризма над демократией.

Чего же боится, чем недоволен Кант? Оставаясь на почве кантианской концепции и выражаясь ее языком, можно сказать: он видит в ораторстве ущерб «целесообраз-

¹ Ciceronis «De optime genere»... 1, 3; «Orator», 29, 101, «De Oratore», II, 27, 115.

ной деятельности рассудка». В противоположность «поэзии» ораторская речь лжива: претендуя на власть над «практическим разумом», она обманывает его при помощи «игры воображения». Такова роль парламентских ораторов. Следовательно Кант заподозрил агитационную функцию ораторства, осудил ораторскую речь как орудие феодально-буржуазной, равно как античной политики. Демагогические цели, которые преследуют ораторство, не соответствуют «целесообразной деятельности рассудка». Другими словами, ораторское, т. е. политическое освоение действительности — есть искаженное, заведомо искаженное освоение. Ораторское выражение есть «обман всех». Но здесь имелась и другая сторона. Внимательнейшим образом следивший за ходом Великой французской революции кенигсбергский философ не мог, конечно, не увидеть огромной революционной функции ораторства. Роль ораторства в грандиозной борьбе классов и партий не могла не обеспокоить творца «категорического императива». Эта роль не предвещала ничего утешительного. Она устрашала и беспокоила. Бурное цветение ораторства — симптом политических бурь и «падений» общества, его «гибели».

И Кант подал голос за поэзию, которая казалась ему более кабинетным делом, — невинной и развлекательной «игрой воображения».

В сущности рассуждения Канта воспроизводили суждения Платона, хотя философски более осторожно, а также суждения Тацита в его «Диалоге».

Спустя некоторое время после Канта обвинительный акт сформулировал Маколей — видный буржуазно-парламентский практик и реакционный историк, типичная во многих отношениях фигура для победоносного торгово-промышленного английского капитала эпохи расцвета. Позиция, занятая Маколеем в чартистском вопросе, как нельзя лучше характеризует реакционность его либерализма. Достаточно напомнить, что Маколей протестовал в парламенте против смягчения участи осужденных чартистов, за которых заступился молодой Дизраэли.

Еще в 1824 году в статье «Об афинских ораторах» Маколей писал: «Ораторство надо ценить по законам, отличным от тех, какие прилагаются к другим произведениям. Истина составляет предмет философии и истории... Достоинство поэзии в ее своеобразнейших формах, — все-таки состоит в ее истине — истине, переданной пониманию не прямо словами, но окольным путем, посредством вымышленных сочетаний, служащих ей проводниками. Только одно ораторство имеет целью не истину, а убеждение... Оратор, который исчерпывает всю философскую сторону вопроса, показывает все прелести слога, но не производит эффекта на слушателей, может быть великим критиком, великим государственным человеком, великим писателем вообще, но он не оратор. Как скоро он не попал в цель, то не составляет разницы, слишком ли высоко или слишком низко он метил.»¹

Успех ораторства — в «мгновенном действии». Цель оратора — «непосредственное убеждение и уверение», его задача заставить врасплох. «Слушатели так быстро увлекались от пункта к пункту, что не могли заметить всех ложных выводов, встречавшихся на пути; они не успевали распутать софизмов...»² Так обстояло дело в Афинах, где красноречие расцвело в эпоху падения политического могущества республики, и Демосфен был одним из числа ловких профессиональных «политических кондотьеров».

Не то в буржуазной Англии, где «осталось мало того, что я называю собственно ораторством». «Полная свобода печати в Англии» способствовала перемене ораторской установки: ораторы «заботятся не столько о немногих слушателях, сколько о бесчисленных читателях», «обращаются не столько и слушателям, сколько к стенографам»³.

В этих по законам буржуазно-парламентской логики построенных рассуждениях верно только одно: цель оратора — непосредственное убеждение. Но почему обман «лож-

¹ Маколей, Полн. собр. соч., 1862 г., т. IV, стр. 367 сл.

² Там же, стр. 367.

³ Там же, стр. 368.

ных выводов» — привилегия только непосредственного убеждения оратора, почему опосредственное через печать убеждение «свободно от софизмов», не потому ли, что на лог в газету, существование которого уже само по себе блестяще комментировало «полную свободу печати», страховал от распространения вредных и опасных «софизмов»? Не потому ли, что в 1824 году печатное слово находилось в безраздельном распоряжении дворянско-буржуазных партий и печать служила естественным рупором для дворянско-буржуазных ораторов, а ораторское митинговое слово представлялось неблагонадежным так как выходило из уст мелкобуржуазной и пролетарской демократии, — той самой, которую ненавидел Маколей? Заслуживает внимания макалеевское противопоставление «немногих слушателей» и «бесчисленных читателей» — типичный буржуазно-ораторский «софизм» с демократическим запахом. Кто эти «немногочисленные слушатели», перед которыми выступают «наши законодатели, наши кандидаты... наши адвокаты»? Это члены законодательных палат, члены суда, цензовики-избиратели — аудитория отборная, «наша». Но кто «бесчисленные слушатели»? Легко сообразить, если вспомнить тиражи и стоимость газет, всеобщее обнищание, степень распространения грамотности среди действительно бесчисленных народных масс. Маколей прав, что буржуазное ораторство не массовое (массовым оно делалось только во время буржуазных революций). Но через десяток лет Маколей уже смог неопровержимо убедиться, как мало соответствовало действительности утверждение, что в Англии «мало осталось того, что я называю собственно ораторством». Агитация чартистов имела аудитории в 100—200 тысяч человек (демонстрации и митинги чартистов в Ньюкастле, Манчестере, Бирмингеме и т. д. в 1838 и сл. годах).

Таким образом макалеевское (платоновское) обвинение ораторства, что оно «имеет целью не истину, а убеждение», верно именно в той мере, в какой на самом деле буржуазно-капиталистическая парламентская речь (и буржуазно-античная ораторская речь) были равнодушны или объективно далеки от истины. Но противопоставление (как и у Канта)

ораторству поэзии, философии, истории — выдает глубокое и, фигурально выражаясь, инстинктивное недоверие к ораторству, как организующему фактору, как речевому жанру, осваивающему наиболее острые и откровенные — политические формы классовой борьбы в развитом классовом обществе. После ораторов говорят уже маузеры... Для буржуазии характерно по крайней мере моральное сознание, что политика связана с обманом, принуждением и подавлением, и что если это зло, то необходимое и неизбежное впрямь до нравственного самоусовершенствования человеческого рода. Ораторская речь — орудие борьбы в числе других, включая, скажем, шпионаж и провокацию. Цель оправдывает средства, когда политическое зло служит защите и утверждению своего классового господства. Более того — тогда оно уже не зло, а просто целесообразность. Но средства — обоюдоострое оружие, и если они попадают в руки врага, то становятся вредоносными. Даже недиалектическое ограниченное понимание политики всегда заставляло буржуазию опасаться, как бы на поле, засеянном зёрнами «истинной цивилизации», не оказались в час жатвы созревшие драконы.

DjVu – библиотека сайта
www.biografia.ru

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Не сказки сказывай небыва-
лые, но говори человеческие
речи о человеческих делах.

Аристофан.

Догматы всех религий пред-
ставляют собою в действитель-
ности только фразы .

Феликс Ле-Дантек.

В тысячелетних спорах об ораторстве и риторике есть две поучительных черты: это во-первых страстные и упорные нападки, повторяющиеся в основном без изменения на протяжении всей истории, и во-вторых бесплодность споров—теоретическая и практическая. Ораторская речь ничуть не менялась от того, что о ней говорили. Даже всемогущие римские консулы не были в состоянии своими декретами «исправить» ее или же изгнать.

Судили ораторскую речь, не понимая, что судят политическую форму классовой борьбы, что ораторские принципы суть политические принципы, что суд над ораторской речью есть суд над данной классовой политикой. Но политика есть высшая форма социально-классовой борьбы, и научно-достоверная полно и всесторонне развитая политическая теория, как теория классовой борьбы, есть продукт высокоразвитого общества: он дан в идеологии пролетариата как «класса для себя» (марксизм-ленинизм) и подготовлен всем ходом развития капитализма.

«Политика» созревает тогда, когда исторически полно развиваются те действительные отношения людей, необхо-

димо возникающие в общественном процессе, которые отражаются этим сложным понятием.¹

Искажающие политические представления, непонимание (или неправильное понимание) действительных процессов, приводили, в частности, к «идеологическому воззрению» (выражение Ф. Энгельса) и на ораторскую речь. Риторика и споры вокруг нее — блестящая демонстрация «представлений о ложных или призрачных побудительных силах».

В античном обществе была политика, но не было — и не могло быть — классовой политики, осознанной как таковая.

Была ораторская речь, но не было — и не могло быть — адекватного осознания ее, как функции классовой политики, как формы классовой борьбы.

Когда Демосфен говорил, что славу оратора создает направление его политики, он констатировал эмпирически достоверный для него факт, что ораторство служит политике, но дальше этого греческая мысль пойти не могла. Когда Цицерон и Тацит утверждали за ораторской речью принадлежность к определенному социально-политическому строю, они утверждали эмпирически достоверные факты, но уже в выводах из них диаметрально расходились: Цицерон считал ораторство функцией благоустроенного общества, а Тацит наоборот. Они не могли теоретически подняться над признанием господствующих политических условий, как абсолютных и совершенных — Цицерон с республиканской, а Тацит с монархической точки зрения. Они говорили об ораторской речи с точки зрения своих политических пред-

¹ К. Маркс писал Вейдемейеру: Что касается меня, то мне не принадлежит ни заслуга открытия классов в современном обществе, ни заслуга открытия их борьбы между собою. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы, а буржуазные экономисты — экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего: 1) что существование классов связано лишь с определенными историческими формами борьбы развивающегося производства, 2) что классовая борьба неизбежно ведет к диктатуре пролетариата, 3) что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов... (К. Маркс и Ф. Энгельс, «Письма», 1928, стр. 62).

ставлений, идеологически, а не о тех действительных общественных отношениях, которые объясняют ораторскую речь. Так рассуждали о ней и впоследствии.

Если политика полагалась как самостоятельная сила с абсолютным движением, управляемым теми или иными принципами, то дело сводилось к борьбе идей, которые «изобретались» философами, историками, теологами, политиками и т. д., поскольку шло такое «разделение труда». За каждой областью идеологического труда закреплялось представление самостоятельной реальной силы. Но именно античная риторика определялась как наука изобретения и обработки выражения мыслей.¹ Академическая философия устами Платона как раз протестовала против ораторского вольномыслия, настаивая на том, чтобы оратор питался истинами, найденными философией, если он не хочет быть обманщиком и льстецом. Августин настаивал на теологической истине.

Смущало «изобретение мыслей» оратором, потому что социальная практика поквзывала, что ораторство близко затрагивает материально-жизненные интересы, оратор «влияет» на общественную жизнь, говоря точно, потому что ораторская речь — острая форма классовой борьбы. Со стороны Платона и Августина мы видим стремление обуздать в лице ораторской речи политику, подчинить ее философии или теологии, т. е. надстройке более «воздушной». Ведь открытая политика начинает формироваться вместе с буржуазией. Антично-буржуазная философия софистов — создательница риторики — в соответствии со своей гносеологией и этикой полагала под «изобретением мыслей» именно политические принципы и аргументы; термин изобретение (или нахождение) не есть лишь простое наименование технического процесса изобретения, — это глубокое указание на характер содержания, на то, что оно служит материалом убеждения соответственно практическому интересу оратора и может быть поэтому любым (нет объективной истины). В этом — критерий

¹ См. Phycydides II, 60. Isocrates IV, 9; V, 94. Dionysius Galicarn. De Isocrate iudicium и др.

выбора «мыслей». Завтра оратор будет защищать то, что сегодня отвергает, если это выгодно. Поэтому риторы учили доказывать и опровергать одно и то же с одинаковым успехом. Откровенный (или завуалированный) цинизм политических, и следовательно ораторских, принципов был буржуазно-классовым цинизмом, которым оставалось или возмущаться или примиряться с ним путем замысловатых оправданий.

Риторика, трактовавшая эмпирически, как делать речь и как ее преподносить в зависимости от условий, полагала за элементами ораторского выражения — словами, аргументами — имманентную, в них самих заключенную силу, вызываемую к действию ораторским искусством. В них видела риторика универсальную способность создавать убеждения. Это была своеобразная магия слов. Отсюда — формально-технологический характер античных риторик. Ораторская речь — состязательное действие, орудие спора, а цель спора победа. На суде защитительная речь — «апология» (спор с обвинителем), или обвинительная — «категория» (спор с защитником). В народном собрании ораторская речь — «протропе» или «апотропе», т. е. или уговаривает или отговаривает от чего-либо. Судебный спор был конкретнее оформлен, стоял (как надстройка) ближе к экономике. Поэтому риторика всего пристальнее занималась судебной речью.

Универсальная рецептура технических ораторских средств, классификация ораторских ходов и аргументов и условий их применения предлагались в абстрагированном виде от конкретного идейного содержания, которое вообще в риториках фигурировало в качестве парадигм, т. е. опять-таки формально — без реального отношения к объективной действительности. Античная риторика была теорией ораторских дебютов, подобно руководству шахматных дебютов. Задана победа и даны условия борьбы в абстрактном формальном плане.

Риторические построения отразили преувеличенные представления о могуществе ораторского слова. Эти представления восходят несомненно к знаменитому мифу об Орфее.

Однако подобные фантастические представления, которые находились в соответствии с тенденциями к обожествлению слова (и числа), отражали реальные отношения и характер социальной природы публичной речи.

Принципы риторики — это переодетые политические принципы. Слабая (сравнительно) дифференциация надстроек и низкий уровень науки об обществе отразились на характере риторики — это политическая теория и в то же время часть философии (логики) и часть лингвистики, и часть психологии. Риторика — идеологическое построение многократного сложного отражения. Не было социально-экономических предпосылок для появления теории классовой борьбы. Метафорически выражаясь, риторика была суррогатом политической теории в античном обществе, мистифицированной политикой.

В меру объективных возможностей античная риторика сделала все, что могла. Феодальное общество переработало и извратило ее результаты в соответствии со своей производственной основой. Политическое содержание было утрачено и заменено теологическим. Точнее, старое содержание стало формой для нового, которое в качестве системы идеологических фикций («бессмыслицы») должно было быть внутренне согласованным, организованным в мыслительно речевом плане. Для этого нужны были — формально-логические речевые формы, а они-то и предлагались риторикой. Августину казалось, что он призван вдохнуть в риторику истинное содержание. На самом деле античная политика, как идеология, заменилась теологией. Но в IV веке еще стояло античное общество (деградация развивалась медленно), а ранее христианство было последним, упадочным, но широким и внушительным движением протеста, отразившим безвыходные социально-экономические и политические противоречия.¹ Именно IV век был временем расцвета рели-

¹ Ф. Энгельс говорит о христианах как о «партии переворота». «Она подкопалась под религию и все основы государства; она как раз отрицала, что императорская воля представляет высший закон; у нее не было отечества; она была интернациональна.. Она долго занима-

гиозного ораторства, обрабатывавшего общественное мнение на языке религиозно-церковной символики.

Здесь мы сталкиваемся с первоклассными ораторами-агитаторами, с Василием Великим, Иоанном Златоустом, Григорием Богословом. Известна история ссылки Иоанна Златоуста константинопольским императором Аркадием за противоправительственную агитационную деятельность.

Помимо вопросов религиозной догматики и символики, речь с церковной кафедры так или иначе затрагивала разнообразнейшие темы, имевшие прямой общественно-политический смысл. Проповедник откликался на все запросы общественной жизни, протестуяще трактуя такие явления как, напр., ростовщичество, игравшее огромную социальную роль. Церковная агитация и пропаганда широко затрагивала вопросы политики и быта.

Августин канонизировал эту ораторскую практику, используя достижения «языческой» риторики (до Августина связь с этой риторикой отвергалась — пока христианство было движением «низов»).

Развитие христианского красноречия пошло под знаком использования античных риторических учений. В основу была положена цicerоновская теория трех стилей (простого — низкого, среднего и высокого) и трех родов ораторства: совещательного, политического в специальном смысле, панегирического, торжественного, т. е. «похвальные» речи, и судебного. Августин переработал эту теорию трех стилей, а в качестве жанровой ориентации духовными ораторами были использованы роды совещательный и панегирический. Пафос морального совершенствования, идея смирения и терпения и религиозная догматика заменили политику в жанре «учительного слова». Древняя проповедь на греческой почве развивалась в двух широких поджанровых образованиях: «учительных слов» («огласительных») и «похвальных слов»

лась подземной тайной работой... Эта партия переворота, известная под именем христиан, и в войске имела много сторонников» (Энгельс — Введение к «Борьбе классов во Франции». К. Маркс, Собрание соч. Маркса и Энгельса, т. III, 1921, стр. 23—24).

(торжественных, праздничных). Характер стиля и композиции того и другого рода проповеди так определен одним церковным писателем: «Область первого — ум и воля, область второго — чувство и воображение. Первый есть как бы проповедническая проза, второй — проповедническая поэзия, основные элементы которой драма и лирика». (Здесь существенно указание на связь торжественного рода с церковными песнопениями, например у Иоанна Дамаскина).¹ Все великие проповедники IV века прошли языческую светскую школу, где ораторское образование занимало едва ли не центральное место. Так, Григорий Богослов и Василий Великий (IV в.), греки по национальности, получили образование в Афинах, обучались красноречию у азианиста Имерия. Почти все значительные ораторы-проповедники созревшего христианства отправлялись от традиции ораторского азианизма. Впрочем, Иоанн Златоуст (IV в.) учился у крайнего архаиста Ливания. Но, как замечают исследователи, все они значительно сглаживали манеру учителей. Это «сглаживание» не было, однако, эпигонским использованием старых систем, а было переработкой их в связи с новой функцией ораторства.

Под «сглаживанием» нужно понимать процесс смещения и окаменения выразительных средств старой политической идеологии, которыми еще пользуется новая — теологическая, постепенно сменяющая первую. Такой же процесс наблюдается в эпоху Кромвелевской революции, когда английская буржуазия агитирует библейским церковным «языком», т. е. языком феодализма, в эпоху чартизма, когда пролетариат нередко еще агитирует «языком», лозунгами буржуазии и т. п.

Но когда утверждается господство феодальной формации, теологический язык монополизирует публичную речь. Общественные институты класса гегемона — церковь и ее филиация — университет — определили социальную «площадку» для ораторства. Письменно-канцелярский процесс средневекового судопроизводства долгое время не оставлял места для публичной речи.

¹ Архиеп. Антоний, «Из христианской проповеди», Изд. 2. Спб. 1895, стр. 308 сл.

При этом разрушается естественная коммуникативная база публичной речи в виде общераспространенных языков (т. е. языков античной буржуазии) — греческого и латинского, из которых последний получил широчайшее распространение в результате мировой экспансии римского империализма. В силу идиотических условий жизни, создаваемых производством — ограниченным и замкнутым натуральным хозяйством, падением государственности, городов, — феодализм ознаменовывается языковой деградацией. Как установил в своих работах А. П. Якубинский, основной языковой категорией для феодализма является поместный говор, как для капитализма — «национальный» язык. Классовое всевластие феодалов характеризуется ревнивым обереганием монополии идеологического творчества, навязанного разобщенной эксплуатируемой массе. Но и помимо этого самая возможность создания классовой идеологии феодализма неразрывно связана с необходимостью общей для господствующего класса фонетической, лексической и грамматической системы. Такой системой стала готовая латынь — язык церкви и науки, — и следовательно оказались вовсе разобщенными формальные системы речи, как бытовой коммуникации, и речи, как формы идеологии. Классовый язык феодализма формально замкнутый, отгороженный латынью, был анациональным в том смысле, что не существовало национальных форм, потому что не было тех реальных экономических связей и отношений, которые создали национальную форму вообще. Перевод Лютером библии на немецкий язык был подвигом уже поднявшей голову буржуазии, которая вторглась этим в формальную крепость феодальной идеологии, чтобы овладеть ее содержанием, сделать ее национальной по форме. Лютер вручал немцам евангелие, которое католицизм вообще не рекомендовал для чтения.

Итак, публичная речь была втиснута в рамки церковной и академической латыни, т. е. коммуникативное действие ее и возможность овладения ею чрезвычайно ограничены узким социальным полем. Это было внешним выражением классовой монополии на публичную речь, поскольку в ней, в условиях феодализма, вставала необходимость, как в орудии классовой

борьбы и господства. Публичная речь встречала препятствие в языковой разобщенности людей — прямом следствии натурального хозяйства, слабости и ограниченности общественных связей.

Ведь феодальная латынь была не причиной, а следствием разобщенности, ее противоречивым в известной мере выражением. Публичная речь в минимальной степени обладала качеством всеобщности, но именно это качество является конституирующим. Публичная речь и ее высшая форма — ораторская речь — в развитой стадии — детище капитализма. Для феодализма в его классической «чистой» форме публичная речь вообще не характерна. Лишь городские условия, развитие обмена создают предпосылки для ее развития, конституируют аудиторию и оратора. Организация высшей школы в городских центрах (университеты — с XII в. — не зависящие от местных сеньеров) открывает возможность для развития лекторской и диспутивной речи.

Теологическая мотивация и интерпретация всех сторон бытия (литература, наука, философия — это только *ancilla religionis* — служанка религии) — создавала единый речевой жанр универсального значения. Но античная ораторская речь была политическим жанром (поэтому-то Цицерон и раздражал страстно верующего феодального социалиста Савонаролу), а риторика — политической теорией. А так как политики в открытой развитой форме классический феодализм почти не знал, а риторика стала формальной неподвижной частью схоластического богословия, — то это значит, что ораторской речи в строгом смысле слова при феодализме почти не существовало.

Для нее не было социально-экономических предпосылок. «Средние века присоединили к богословию и подчинили ему все прочие формы идеологии: философию, политику, юриспруденцию. Вследствие этого всякое общественное и политическое движение вынуждено было принимать религиозную форму» (Ф. Энгельс).¹ Основной категорией публичной речи была

¹ Ф. Энгельс, «Л. Фейербах», М., 1918, стр. 71.

лекция - проповедь, содержанием которой в основном являлись теологические фикции. Публичная речь была ораторской только по форме¹. Здесь таится разгадка неоднократно констатированного в литературе факта поразительной неподвижности, безжизненности и трафаретности средневековой церковной и академической речи, разгадка того обстоятельства, что IV век был кульминационным пунктом христианского ораторства (на греческой почве)². Заслуживает глубокого внимания, что средневековые риторики (напр. Bonaventura — *Ars concinnandi*, XIII в. и др.) покорно повторяли Августина, переведшего риторику с политического «языка» на теологический, что гомилию, как форму церковной речи (проповеди) установил еще Ориген, — а самый термин гомиластики, т. е. теории церковной речи, возник только в XVIII веке. Глубоко знаменательно, что новая теория церковной речи — продукт реформации (XVI век), и ее основы заложил сам Лютер — крупнейший оратор-агитатор эпохи обостренных классовых противоречий и классовых схваток. Лютер, как оратор, нанес первый сокрушительный удар феодальной речи. Буржуазия возрождает риторику — сначала на теологической почве — и вооружается ею для классовых боев. Ораторская речь как бы пробуждается от долгой летаргии.³

¹ О XIV веке Виктор Леклер замечает: «Всякая речь это почти проповедь. Говорить это значит проповедывать. Искусство проповеди есть все искусство говорения». Victor Leclere, «Histoire litteraire», т. XXIV, р. р. 414—415.

² «Не трудно будет прийти к выводу, что средневековое красноречие не могло обладать творческой силой истинного искусства, что оно должно было оставаться на почве чистой риторики, жить одной внешней формой. Оратору не было места в государственной жизни; политического красноречия почти не существовало...» (А. Г. Тимофеев «Очерки по истории красноречия» СПб., 1899, стр. 66).

³ В. И. Ленин писал об исторической природе и роли теологических представлений:

«Бог есть (исторически и житейски) прежде всего комплекс идей, порожденных тупой придавленностью человека и внешней природой и классовым гнетом, — идей, закрепляющих эту придавленность, усыпляющих классовую борьбу. Было время в истории, когда, несмотря на такое происхождение и такое действительное значение идеи бога,

Пиэтизм (XVIII век) вновь нанес весьма ощутительный удар феодальной риторике, потребовав раскрепощения личной инициативы церковного оратора. Бунт личности докатился до риторики в виде требования свободы вдохновения.¹

Вполне разъясняется и пафос пародирования схоластической речи, напр., у Раблэ («Гаргантюа и Пантагрюэль»). Это был удар по одному из самых уязвимых мест — по мертвой форме, по чучелу ораторской речи с содержанием не только иллюзорным по отношению к действительности, но и утратившим свои внутренние формально-логические связи и расчленения и притом выраженных безграмотной смесью французского и латинского языка. Такая смесь была действительным уделом ораторов феодализма. Но издевательство над латынью (оратор коверкает латинские слова и фразы) было покушением на латинский язык, как язык класса, освященный торжественностью при помощи церкви и служивший высоким атрибутом важной идеологической акции.

Публичная речь феодализма, этого «общества веры» могла до известной степени выступать в роли заклинательной магической речи. Тертуллиановская формула «credo quia absurdum est» должна быть отнесена не только к религиозным догматам, но и к публичной речи. Публичная речь была тесно связана с религиозным обрядом, была как бы продолжением латинской молитвы, жреческим языком, который вовсе не нужно было понимать логически. Большую внушающую роль играла форма ораторского действия, ораторствование как обряд. Можно было с успехом агитировать даже на языке, незнакомом аудитории.

Я имею в виду одного из величайших феодальных ораторов, Бернарда Клервосского (1091—1153), который, агитируя за второй крестовый поход, совершил с этой целью поездку по Рейну. Слушание и созерцание оратора, его голос, жесты, мимика,

борьба демократии и пролетариата шла в форме борьбы одной религиозной идеи против другой. Но это время давно прошло». (Письмо М. Горькому. Декабрь, 1913 г., «Ленинск (Сборник)», 1, стр. 150).

¹ Пиэтизм своими опасными «крайностями» вызвал отпор, напр., Лоренц Мозгейм, «Anweisung erbaulich zu predigen», 1763 г.

черты лица доводили до экстатического восторга слушателей, не понимавших, а угадывавших значение слов оратора.¹

Здесь мы выходим за пределы ораторской речи, ораторских речевых проблем. Но этот парадоксально-функциональный эффект по существу соответствовал особенностям психоидеологии феодального общества, видевшего чертей и слушавшего ангелов.

Дело в том, что «действительность провозглашается не такой, как она есть, а как другая действительность». Но теологический мистицизм выступает в облачении сложнейших формально-логических спекуляций. При этом «условие делается обусловленным, определяющее — определяемым, производящее — продуктом своего продукта». «Факт... берется не как таковой, а как мистический результат». Фразы, заключенные в кавычки, принадлежат К. Марксу, критиковавшему философию государственного права Гегеля, «асю мистику философии права и гегелевской философии вообще.»² Но если у Гегеля отношения «становятся на голову» тем, что «предпосылкой, т. е. субъектом» «делается идея», а предикатом «действительные различия», факты, отношения, причем «идея субъективируется», а «действительные субъекты» становятся «объективными моментами идеи», — то по сравнению с логическим мистицизмом Гегеля средневековый теологический мистицизм значительно больший произвол. «Обыкновенная эмпирия» щедро населяется фантазмами; ораторы оперируют иллюзорными фактами, иллюзорными связями и отношениями. Связи отношения не открываются в самих явлениях, а изобретаются, вымышляются. Поэтому все особенности стиля являются «продуктами мистицизма». Марксовский пример с выражением «таким образом» у Гегеля, благодаря которому создается иллюзия дедуцированности, — является типичным синтаксическим ходом средневековой речи.

¹ Vacandard, «Vie de S.-Bernard, abbé de Clairvaux» P. 1895, 2 v.; Ивановский, «Мистика и схоластика XI-XII вв.» М. 1897, и др.

² К. Маркс, «Критика философии госуд. права Гегеля» (Маркс и Энгельс, Сочин. т. 1, Гиз, 1929, стр. 538 и сл.). Эта работа представляет глубокий специальный интерес для лингвиста.

Риторика феодализма характеризуется стабильностью форм и канонизаторскими тенденциями.

Традиция и подробная регламентация обязательных неподвижных схем ораторского мышления и выражения отражали общую авторитарность идеологии и строгую социальную иерархию — несвободу — средневекового общества. Проповедь (и академическая речь) строилась так, что основанием ее оказывались общие места (*loci communes*). Частные понятия дедуцировались и подгонялись под «общее место». Опираясь на цитату проповедник жонглировал логическими приемами, посредством которых общее понятие (из темы речи) раскладывалось на частные видовые понятия. Эти понятия сопоставлялись по формальным признакам, а не по реальным отношениям.

Связи и закономерности действительности не вскрывались, а выдумывались согласно «интересу» теологии.

Игра общими понятиями, формально-логическими фигурами, метафорическими смыслами, игра значениями слов, антитезами, обильное цитирование (аргументация авторитетами), обязательное включение латинских фраз (если речь не произносилась по-латыни), — все это характеризовало схоластическую речь, — и не только церковную и академическую, но и судебную, возникшую как социально-оформившееся явление (в связи с изменениями процессуальных условий) на историческом склоне феодализма.¹ Мы достаточно знаем о характере судебных

¹ Научная (академическая) средневековая речь культивировалась в университетах, обслуживая «диспутации», как средство учебной практики и обмена научными выводами и достижениями, а главное — как средство пропаганды идей. В университетах диспуты устраивались обычно по субботам. Диспуты были не только средством проверки и пропаганды идей, но и ареной упражнения в искусстве спора, в ораторской ловкости. Самые головоломные уловки, самые коварные силлогизмы пускались в ход чтобы победить противника. Страсти на этих ученых диспутах накалялись до того, что приходилось отгораживать барьером кафедры главных ораторов во избежание потасовки. Техника формально-логических доказательств была разработана до виртуозности так же, как способность держать в памяти множество только что выслушанных чужих аргументов, которые оратор должен тут же последовательно опровергнуть. Так, знаменитый францисканец Дунс

речей XIV и последующих веков по Франции (а Франция была «центром феодализма в средние века, родиной объединенной сословной монархии со времен Возрождения» — Ф. Энгельс) и можем констатировать поразительную консервативную силу средневековых схоластических форм мышления и речи, отражавших хозяйственную неподвижность и сложную социальную иерархию феодального общества.

Парижский Парламент, высший судебный институт, был непосредственной почвой, рождавшей судебных ораторов. Записи судебных речей начались не ранее 1367 года. Однако эти протокольные записи не содержат текста самих речей, но только резюме с фиксацией основных аргументов оратора. Впрочем, сохранились от XV века и тексты знаменитых речей. Речи произносились в Парламенте по общему правилу на французском, а не на латинском языке (*gallicus sermo*, гальское наречие, из говора Иль-де-Франса превращалось уже во французский «национальный» язык); это было знаменем времени. Потребности разрушали традицию. Лишь в торжественных процессах, разбиравшихся в присутствии Двора и высоких особ — французских и иностранных — адвокаты говорили на латинском языке. Равным образом латынь оставалась привилегией церковников, выступавших нередко на процессах в качестве представителей сторон.¹

По этим речам можно видеть, как конкретный предмет речи отрывался отвлеченными метафизическими рассуждениями, «о б щ и м и м е с т а м и», от реальных связей и отношений. «Общее место» выставлялось, как тезис, в виде цитаты (обычно из священных текстов или античных писателей). Далее шли в развитие этого тезиса символические выражения, как материал аргументации, которая строилась на силлогизмах

Скот в 1304 г. на диспуте в Париже выслушал и опроверг около 200 выставленных против него «сильных аргументов».

¹ Адвокаты были в значительной мере творцами французской публичной речи, ее представителями и защитниками. Адвокат Лемэстр говорил: «Адвокаты не должны произносить речи иначе как по-французски, *quod fit propter excellenciam linguae gallicanae*». (Delachena, *Histoire des avocats au Parlement de Paris*, 1300 — 1609, P. 1885, стр. 237).

и иллюстрировалась множеством разнообразнейших цитат из древних авторов и церковных авторитетов. Конкретно-частные особенности дела, личность обвиняемого, как члена общества, его психология, материальная сторона процесса, социальная обстановка, — все это решительно заслонялось общими отвлеченно-далекими метафизическими построениями, допускаящими в качестве аргументов такие цитаты и ссылки, как например разговоры Люцифера с Архангелом Михаилом.¹ Зато громадное внимание уделялось стройности формально-логической структуры речи, чередованию тезисов и их доказательств, следовательному распределению цитат и примеров, симметричности их и т. п. Тема речи раскрывалась мистическими символами, причудливо-далекими по смыслу друг от друга. При этом элементы правового и политического мышления чрезвычайно слабо пробиваются сквозь теологическую толщу. Три источника познания, три авторитетных опоры питали речи: 1) библия и отцы церкви, 2) Юстинианов кодекс, 3) античные писатели — поэты, историки, философы, из ораторов — Цицерон.

Методом чисто-формальных аналогий сталкивались и связывались реальные отношения и предметы, чрезвычайно слабо дифференцированные, с иллюзорными причинами и основаниями и мимо дедуцировались выводы. Здесь открывался широкое пространство для каламбурического столкновения смыслов. Так, например, знаменитый адвокат Робер (Robert) в 1600 г. в заседании Парижского Парламента, на котором

¹ См., например, чрезвычайно характерные речи сторон на слушавшемся в королевском присутствии процессе герцога Бургундского, убившего герцога Орлеанского (в 1408 г.); ученого монаха Жана Пти — защитника обвиняемого и, с другой стороны, адвоката П. Кузино и канцлера герцога Бургундского Пьера Л'Орфевера («Chroniques d'engerrand de Monestrelét entièrement refondue sur les manuscrits... par J. A. Buchon, Tome 1, P. 1826.

Речь Ж. Пти — гл. XXXIX, стр. 241-324; речь П. Кузино — гл. XLVII, стр. 357-434; речь П. Л'Орфевера — гл. XLVIII, стр. 434-447. Речь сказаны и изданы на латинском языке. Литературу историко-биографич. см. Chevalier, «Repertoire de sources du moyen âge», Biobibliographie; см. также «Histoire et Regne de Charles VI par m-lle De Lussan (v. I-IX), p. 1754 и др.

присутствовали король Генрих IV и его гость герцог Савойский, произнес речь в качестве представителя интересов булочника Белланже. Между прочим, адвокат аргументировал так: «Копье Ахилла, как известно, могло исцелять раны, нанесенные им же самим, а поэтому только решение Парламента, обсуждающего дело под председательством нового Ахилла (имеется в виду Ахилл де-Гарле, президент Парламента) может исцелить раны, нанесенные булочнику прежним приговором (булочника обвинили в убийстве по доносу матери убитого и скалечили пытками, а потом отыскались настоящие убийцы).¹

Другой знаменитый адвокат XVII в. — Клод Готье (Готье-ла-Гель), выпустивший том своих речей в 1662 г. (второй том вышел после его смерти в 1669 г.) и больно задетый Расином в комедии *les Plaideurs*, где пародировалось судебное красноречие, — выступил в 1646 г. с речью в защиту графа Шабо; объясняя отсутствие графини де Роан, Готье сказал:

«Господа, между шестью различными разрядами, которые последователи Платона установили для злых демонов, они нашли, что демоны последнего разряда именуются избегающими света и что эти демоны более коварны и вредоносны, чем другие. «*Omni-formibus imaginibus abundant*», сказал Порфир в своей книге «*De sacrificiis, prodigiorumque machinis maxime fallunt*». Нет сомнения, что демон лжи и клеветы, который доставил повод для этого процесса, который создал этот призрачный фантом и этот образ волшебства, есть демон этого шестого разряда. Он злобен, но труслив и робок. Священные заклинания Правосудия его приведут в замешательство тем же самым способом, что и жрецы Египта, которые силою своих таинственных слов их заклинаят и прогоняют...» и т. д.²

Способ выражения Готье весьма мало отличен от способа выражения адвокатов XV века, но у последних мы найдем,

¹ Sainte-Beuve, «Port-Royal», P. 5 ed., 1888, t. 1, стр. 64-72.

² Munier Jolain, «Les époques de l'éloquence judiciaire en France», P. 1888, Ch. 1, Claude Gaultier, стр. 17—18.

конечно, более «чистый» метод. 4 января 1470 года Парламент рассматривал процесс парижского и буржского университетов, затеянный первым против своего буржского конкурента, основанного в 1464 г. папской буллой и утвержденного грамотой Людовика XI. Парижский университет, поддержанный муниципалитетом и герцогом Д'Анжерским, выступил на защиту своей монополии. Мишон, адвокат Парижского университета, требовал закрытия университета в Бурже на том основании, что размножение университетов не может не вызвать «ереси и возмущения» и что парижский университет терпит от конкурента двойкий ущерб — моральный и материальный, защищая монополию Парижа ссылками на скрижали Моисея и жезл Аарона.

Что же касается речи Арто (Artaud), адвоката Буржского университета, то французский ученый Делашеналь вспомнил по этому поводу стих из комедии Расина: «Адвокат, а! Дойдем до потопа...» — и заметил, что Арто «поднялся по ту сторону потопа». «Первородный грех доставил ему главный аргумент». Свою речь Арто разделил на три части. Первую посвятил доказательствам права Буржа на университет, а вторую и третью — опровержению противной стороны. Как повествует запись, в качестве первого аргумента Арто привел, что человеческая природа вследствие первородного греха испорчена в четырех отношениях: 1) интеллектом, ибо кто пребывает в почете, тот не рассуждает; 2) волей, ибо добровольно возжелал запрещенных вещей; 3) речью, ибо, когда бог спросил Адама, — Что ты сделал? — тот не признал своего греха, но ответил: «Женщина, которую ты мне дал, сама меня обманула» (библия), наконец 4) плотью, ибо она наслаждалась связью. И за это человеческая природа была наказана: 1) невежеством, ибо, как сказал философ, душа первоначально чистая доска, на которой ничего не изображено (имеется в виду Аристотель, «О душе»); 2) несправедливостью, ибо натура человека склонна ко злу; 3) косностью речи (*ineloquentia*), ибо, «господи, не умею сказать» (цитата из Иеремии); 4) бедностью, ибо «в поте лица добудешь хлеб свой» (библия). Но бог дал противоядие в науках: 1) спекулятивную теорию,

2) этику, 3) логику, 4) механику.¹ Далее следует подробная классификация наук. Так обосновывалось желание буржского университета иметь 4 факультета. Остановившись на тезисе, что все сущее стремится к совершенству и к совершенству высшему — к знанию, оратор вспоминает имена Цицерона, Саллюстия, Овидия, Сенеки, а говоря об авторитете короля цитирует Гомера. Арто отказывается видеть что-либо необычное в сосуществовании многих университетов. Что есть более обычное, чем контрастные и конфликтные интересы? Они существуют всюду: в христианстве, где есть две церкви, римская и галликанская, и везде в природе — ночь и день, холод и жара, добро и зло... Наконец, странное сопоставление с Моисеевыми таблицами и жезлом Аарона неточно, ибо мы видим в Писании, что трон Соломона стоял на двух больших основаниях, из которых одно символизирует дворянство, а другое — духовенство (клир) — две опоры монархии. Отсюда вывод правомерности и целесообразности существования буржского университета на ряду с парижским.²

Когда ставился — еще в XVI веке, — Гийомом дю-Варом (в статье «О французском красноречии и причинах, почему оно остается на низком уровне») — вопрос о состоянии судебного ораторства, то с необычайной четкостью указывалось на зависимость от красноречия политического, которое «очень поздно» развивается во Франции и влияние которого «до сих пор почти равнялось нулю». Вот причина превосходства судебных речей греков и римлян.

К этому остается прибавить, что не влияние политического ораторства определяет характер судебных речей, а наличие политических условий и предпосылок определяют развитие судебного ораторства, которое является частью ораторства политического.

Развитие политического общества было необходимым и всеобъемлющим условием возрождения и развития публичной ораторской речи.

¹ Delachenal, «Histoire des avocats au Parlement de Paris 1300—1600» p. 1885, архивн. матер., стр. 435 и сл.

² Delachenal, op. cit., стр. 251—258.

Огромная сила традиции тяготела над идеологическими формами, которые не поспевали за нуждами общественного развития.

Переживания средневековья упорно коренились в ораторских формах.

Буржуазный ораторский стиль не мог по самой своей природе полностью изжить феодальные элементы в публичной речи. Они вошли в буржуазную риторику, как ее архаическая часть. На это были серьезные социальные причины.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Интерес является могучим чародеем, который меняет форму всех предметов в глазах всех тварей земных.

Гельвеций.

Подобно тому, как в античном мире (Афины, Рим) политический жанр публичной — ораторской — речи возникает и развивается в качестве одного из сильнейших выражений и орудий классовой борьбы в условиях античной социально-экономической формации, ораторская речь возрождается на иной значительно расширенной и воспроизведенной социальной базе в историческую эпоху формирования и торжества «третьего сословия». Ораторская речь получает огромное развитие по мере роста буржуазии — сперва как революционного класса и в последующую эпоху — захвата буржуазией политической власти и утверждения как класса гегемона, — еще продолжающего борьбу с влиятельными остатками феодально-дворянского помещичьего класса и уже начавшего спор отчасти с мелкобуржуазной демократией и — главным образом — с пролетариатом, как классом антагонистом.

В эту эпоху получает классическую завершенную форму буржуазный ораторский стиль в виде так называемого «парламентского красноречия» и его особой филиации — судебного красноречия (речи сторон в уголовном состязательном процессе). Если основной категорией публичной речи феодализма была теологическая — церковная — речь (ее филиация — диспутьно-академическая речь), то для капитализма основная категория — политическая, парламентская речь (ее филиация — судебная речь). Развитие так называемого национального общелитературного языка подвело широкую языковую базу под публичную политическую речь.

Политический язык буржуазии и его ораторская форма имели свою историческую судьбу. Они прошли свой круг развития вместе со всей идеологией буржуазии — от разгрома феодализма до наших дней.

В. И. Ленин в статье «Фальшивые речи о свободе» писал: «Пережив три года диктатуры пролетариата, мы в праве сказать, что самым ходким и популярным возражением против нее является во всем свете ссылка на нарушение свободы и равенства. Вся буржуазная пресса всех стран, вплоть до прессы мелкобуржуазных демократов, т. е. социал-демократов и социалистов, в том числе Каутского, Гильфердинга, Мартова, Чернова, Лонгэ и т. д. и т. п. громит большевиков именно за нарушение свободы и равенства. С точки зрения теоретической это совершенно понятно. Пусть припомнит читатель знаменитые, полные сарказма, слова Маркса в «Капитале».

«Сфера обращения или обмена товаров, в рамках которых осуществляется купля и продажа рабочей силы, есть настоящий Эдем прирожденных прав человека. Здесь господствуют только свобода, равенство, собственность и Бентам». («Капитал», том I, отдел второй, конец главы четвертой, русск. изд. 1920 г., стр. 152).

«Эти полные сарказма слова исполнены глубочайшего историко-философского содержания. Их надо сопоставить с популярными разъяснениями того же вопроса Энгельсом в его «Анти-Дюринге», в особенности со словами Энгельса, что равенство есть предрассудок или глупость, поскольку это понятие не сводится к уничтожению классов. Уничтожение феодализма и его следов, введение основ буржуазного (можно с полным правом сказать: буржуазно-демократического) порядка заняло целую эпоху всемирной истории. И лозунгами этой всемирно-исторической эпохи были неизбежно свобода, равенство, собственность и Бентам. Уничтожение капитализма и его следов, введение основ коммунистического порядка составляет содержание начавшейся теперь новой эпохи всемирной истории. И лозунгами нашей эпохи неизбежно являются и должны быть: уничтожение классов; диктатура про-

летариата для осуществления этой цели; беспощадное разоблачение мелкобуржуазных демократических предрассудков насчет свободы и равенства, беспощадная борьба с этими предрассудками. Кто не понял этого, тот ничего не понял в вопросах о диктатуре пролетариата, о советской власти, о коренных основах Коммунистического Интернационала». ¹

Эта цитата вводит нас в самое существо проблемы буржуазного ораторства. Указанные неизбежные лозунги — это характернейшие сгустки буржуазного ораторского стиля. В них запечатлелось его лицо. История лозунгов свобода, равенство, братство и собственность — не только история политического языка буржуазии, но и в частности (и в особенности) история ораторского стиля эпохи капитализма.

Эта история есть часть истории политической борьбы. Эта история начинается в недрах феодального общества (феодално-бюрократической монархии) и теснейшим образом связана с историей парламентаризма. Но что такое парламентаризм?

«Парламентаризм далеко не есть абсолютный продукт демократического развития, прогресса рода человеческого и тому подобных прекрасных вещей, а является, вернее сказать, определенной исторической формой классового господства буржуазии и, что представляет лишь другую сторону этого господства, ее борьбы с феодализмом. Буржуазный парламентаризм сохраняет свое жизненное начало лишь до тех пор, пока продолжается конфликт между буржуазией и феодализмом. Как только потухает живительный огонь этой борьбы, парламентаризм с буржуазной точки зрения теряет свою историческую цель. Но за последнюю четверть века общей тенденцией политического развития в капиталистических странах является компромисс между буржуазией и феодализмом. Продуктом и выражением этого компромисса служит затирание различия между вигами и ториями в Англии, между республиканцами и клерикально-монархической знатью во Франции. В Германии компромисс стоял уже у колыбели классового освобож-

¹ В. И. Ленин. Сочинения, 2 изд., т. XXV, стр. 469 сл.

дения буржуазии, заглушив первый же его росток — мартовскую революцию, — и заранее искалечив немецкий парламентаризм, обрек его на призрачное существование полумертвого убудка... Пока продолжается классовая борьба между буржуазией и феодальной монархией, ее естественным выражением является открытая партийная борьба в парламенте. Напротив, на почве созревшего компромисса буржуазная партийная борьба в парламенте бесполезна. Столкновения интересов между различными группами господствующей буржуазно-феодальной реакции разрешаются уже не парламентской борьбой, а в форме тайных сделок за кулисами парламента. То, что осталось от открытой буржуазной парламентской борьбы, это уже не борьба классов и партий, а в лучшем случае, в отсталых странах, в роде Австрии, лишь национальная склока лиц и их групп, принимающая в парламенте форму скандалов и потасовок.

С отмиранием буржуазной партийной борьбы исчезают ее естественные органы: выдающиеся парламентские личности, большие ораторы и большие речи. Словесная борьба, как парламентское средство, представляется, вообще говоря, целесообразной лишь для той боевой партии, которая имеет опору в народе. Парламентская речь по существу обращена всегда «за пределы парламента». С точки зрения закулисных сделок, как нормального средства разрешать столкновения интересов на почве буржуазно-феодального компромисса, словесные турниры бесплодны, даже нецелесообразны. Отсюда — брющажные буржуазных партий по поводу «многоглаголания» в рейхстаге, отсюда — парализующее, расслабляющее чувство собственной бесполезности, лежащее свинцовою тяжестью на всех словесных выступлениях буржуазных партий и превращающее рейхстаг в тоскливейшую духовную пустыню». (Р. Люксембург).¹

Но, с другой стороны, если для капиталистического общества парламентаризм потерял былое содержание, то для

¹ Р. Люксембург, Избранные сочинения, 1930 г., т. I, ч. II, стр. 125 — 128.

подымающегося рабочего класса он стал — в легальных условиях — одним из сильнейших средств классовой борьбы.

Парламент является ареной столкновения в легальных условиях представителей пролетариата с буржуазией и легальной трибуной пролетариата.

Социально-исторические условия зарождения и развития парламентаризма, «введения основ буржуазного порядка» определили становление буржуазного ораторского стиля, а затем, по мере формирования пролетариата, как класса «для себя», и развитие в условиях парламентаризма пролетарского ораторского стиля в качестве антипода.

История генеральных штатов во Франции и затем революции 1789 года с ее представительными учреждениями и политическими клубами дает богатейший материал для изучения буржуазного ораторского стиля в первой стадии его развития — как выражения борьбы с феодализмом.

Уже Генеральные штаты 1484 года представляли все области Франции и все сословия. Крестьянство впервые приняло участие в выборах, протянув руку бюргерству, вышедшему на политическую арену еще 182 года назад — в 1302 году. Так началось политическое формирование третьего сословия. Но о буржуазном ораторском стиле, само собою, говорить еще нельзя, — буржуазия еще класс «в себе», идея «третьего сословия» — еще исторический зародыш.

Феодальные черты характеризуют и речь канцлера Гильома де-Рошфора, который щедро цитировал Юлия Цезаря и Пифагора, Ювенала и Платона, Августа и Соломона, Цицерона и св. Людовика и т. д., и речь Жана-де-Рели, парижского депутата, профессора теологии и доктора Сорбонны, который столь же много ссылался на авторитеты и говорил при помощи смеси латинского и французского языка по законам схоластического искусства.¹

¹ Две речи де-Рели (Jehan de Rely—1430 — 1494) были опубликованы немного времени спустя после сессии. Они приведены в Собрании Mayer'a (Collection Mayer, t. IX, p. 273 — 404). На латинский язык переведены Масселаном.

Но, напр., речи Масселэна, руанского депутата, и в особенности бургундского депутата Филиппа По (Pot) сеньера де ля Рош, свидетельствуют о новом политическом языке. Филипп По резко и прямо заговорил о королевской власти, подчеркнув ее зависимость от народного представительства, которое, по его мнению, является носителем высшей власти. Вот пример:

«Как показывает история и как это мы узнаем у наших предков, суверенный народ вначале сам избирал себе королей, *suffragio populi regum domini reges fuisse creatos*; он избирал на царство наиболее добропорядочных и способных людей. В этих выборах правителей, *eligendo rectores*, народ сообразовался только с собственной пользой. Король создается для народа, а не народ для короля. В противном случае — государь, вместо того, чтобы быть добрым пастырем, становится волком, пожирающим своих овец. Разве мы не читали постоянно, что государство есть дело народа, *rem publicam rem populi esse*. Если же государство принадлежит народу, то почему он будет пренебрегать и не заботиться о своем достоинии...»

«Мы согласились уже прежде всего, монсеньеры, что государство есть дело народа и народом передается королям, и что те, которые пользуются властью без согласия народа, считаются (*sont réputés*) тиранами и узурпаторами. Когда король не может управлять сам, государственная власть (*la chose publique*) возвращается к народу — ее дарителю, *huius rei donatorem...*» и т. д.¹

Дело шло об опеке над малолетним Карлом VIII, который сладко засыпал на королевском троне во время заседаний Генеральных штатов, — предоставить ли ее безраздельно принцам крови или ограничить власть последних. Под впечатлением речи По штаты постановили ввести в регентский совет 12 представителей, в том числе и самого По. Потря-

¹ Цит по книге Ch. Aubertin'a, «L'éloquence politique et parlementaire en France avant — 1789»; P. 1882 (стр. 117 — 118). Там же см. библиографич. и пр. указания. Ф. По, род. в 1428 г., ум. в 1494 губернатором Бургундии.

сенные ораторским искусством бургундского депутата члены Генеральных штатов говорили о нем: «это уста Цицерона» (*C'est la Bouche de Cicéron*).

Но что такое народ и государство, «принадлежащее народу»? Следует иметь в виду, что в те времена «сословия гражданского общества и сословия в политическом смысле были тождественны, так как гражданское общество было политическим обществом.. Тождество гражданских и политических сословий было выражением тождества гражданского и политического общества... Их (сословий) законодательная деятельность, их вотиrowание налогов для империи представляли собою лишь особенную форму их всеобщего политического значения... Их сословие было их государством. Отношение к империи было лишь договорным отношением между этими различными государствами и нацией, ибо политическое государство, в отличие от гражданского общества, было ничем иным, как представительством нации. Нация была *point d'honneur*, политической идеей по преимуществу...» (К. Маркс).¹

Это во-первых. Во-вторых уже началось то историческое развитие, которое «привело к превращению политических сословий в социальные сословия... Собственный процесс превращения политических сословий в социальные совершался в абсолютной монархии... Бюрократия представляла идею единства государства против разнообразных государств в государстве». Происходил постепенный отрыв «политической жизни от гражданской жизни». ² Государство абстрагировалось.

Бюрократия, «воплощавшая в себе принцип абсолютной правительственной власти», в качестве «мнимого государства рядом с реальным государством» «борется против корпораций, как всякое следствие борется против своих предпосылок». ³ «Бюрократия имеет в своем обладании, на правах частной собственности, государство... Всеобщий дух бюрократии есть

¹ «Критика философии государственн. права Гегеля», Сочин. К. Маркса и Ф. Энгельса, Гиз, 1929, т. I, стр. 592.

² Там же, стр. 600.

³ Там же, стр. 566.

тайна, таинство... Явный дух государства, также и умонастроение государства, представляется поэтому бюрократии и предательством по отношению к ее тайне. Авторитет есть поэтому принцип ее знания и обоготворение авторитета есть ее умонастроение...»¹

Таковы исходные точки для уяснения, в частности, ораторства Ф. По. Народ — это сословия с их иерархией, противопоставляемые бюрократическому всевластию, монархической бюрократии как самостоятельной силе. Оратор разоблачает ее «авторитет» и «тайну». Он провозглашает, что «государство — дело народа», выставляя *argumenta ad hominem*, а не *ad regem* или *ad deum*, как напр. это сделал де-Рошфор. Поскольку «демократия есть сущность всякого государственного устройства... она относится ко всем другим формам государственного устройства, как род относится к своим видам...»² Ф. По как раз громогласно формулировал требование этой сущности, но, конечно, на своем политическом языке: «Не народ для короля, а король для народа». Ведь осуществление буржуазной демократии как формы государственного устройства — историческое создание уже развитого капитализма. Эпоха Ф. По исторически неизбежно обладала «определенной особой формой государства», формой весьма далекой еще от буржуазной демократии.

Та теория конституционной монархии, с которой в сущности выступил Ф. По, была высшим выражением демократической идеи для XV века. Протест против наследственной монархии и неограниченной монархической власти был протестом против последствий отрыва политической жизни от гражданской, протестом привилегированного сословия против самостоятельной силы абсолютной монархии, как силы бюрократической, против зазнавшихся верховных приказчиков.

Что же касается «народа», то Ф. По говорил о нем (а не о своем сословии) ровно постольку, поскольку тот еще почти

¹ Там же, стр. 568.

² Там же, стр. 554.

безмолвствовал политически, не заявлял о своих особых правах.

«Народ» заговорил политическим языком в Генеральных штатах 1614 г.

Созванные во время регентства Марии Медичи Генеральные штаты стали ареной ораторских боев феодального дворянского класса с «третьим сословием», предъявившим политические требования. Городская буржуазия и крестьянство выступили как единая сила, как «народ». Речи Саварона, депутата Оверни, и в особенности Роберта Мирона, председателя третьего сословия (которое заседало отдельно), представителя парижской буржуазии, — были политическим голосом «народа». Знаменитый инцидент, ознаменовавший политическую рознь сословий, возник в связи с речью Саварона, взявшего на себя доклад на щекотливую и большую бюджетную тему о пенсиях Двора. Эта речь вызвала бурю. Саварон почти открыто заявил, что дворянская служба и честь покупаются ценою денег. «Итак, правильно ли — спрашивал Саварон, что ваше величество предоставляет ежегодно 5.600.000 ливров — сумму, до которой поднялась уже смета пенсий и которую вынимают из вашей казны (дословно: сундуков). Существуют большие и могущественные государства, которые не имеют таких доходов, какие вы даете вашим поданным, чтобы купить их преданность. Если бы эта сумма была употреблена на помощь вашему народу, — не имел ли бы он основания благословлять ваше королевское величие? Служить королю ценою денег — не значит ли это игнорировать и презирать законы природы, бога и королевства? Не значит ли это утверждать, что вашему величеству никто не может служить кроме этих пенсионеров...» И далее оратор развернул картину народной нищеты в выражениях, взволновавших, по словам французского исследователя, даже «наиболее привыкших к энергичным публичным сетованиям»¹.

«Что сказали бы вы, государь, если бы вы увидели в ваших краях Шенне и Оверни людей, которые щиплют траву напо-

¹ Aubertin, op. cit., стр. 162.

добие скота. Это нововведение, эта неслыханная нищета в вашем государстве не произведет ли в вашей королевской душе достойного вашего величества желания помочь столь огромному бедствию...»¹

Это был откровенный язык материальных интересов и классовых противоречий.

Речью Саварона возмущались особенно за предсказывание революции, как следствия народной нищеты: «Дай бог, — воскликнул Саварон, — чтобы я оказался плохим пророком». Но Роберт Мирон нашел и более точный, и более угрожающий язык: «Если ваше величество не примет соответствующих мер, то следует опасаться, чтобы отчаяние не привело бедствующего народа к сознанию, что солдат — не что иное как крестьянин, посвящий оружие; что когда виноградарь возьмется за аркебуз, то, будучи сам паковальней, он не сделается молотом. И если каждый станет солдатом, то больше не будет рабочих; горожане, дворянство, духовенство, князья и более высокие особы умрут с голоду». ² Заслуживает глубокого внимания необычайная для эпохи высокая политическая выразительность ораторского языка Р. Мирона. Это политический язык будущего, рожденный в момент обострения общественных противоречий, когда, срывая идеологическую пелену, оратор показывает голую действительность и прозревает ход ее развития.

Необходимость смягчить впечатление от ораторского выступления Саварона на привилегии дворянства продиктовала выступление одного парижского депутата (*president de Mesmes lieutenant — civil*), посланного на примирение с аристократией. Оратор, между прочим, сказал: «Существует три разряда (сословия) братьев, детей одной общей матери Франции. Первый, составляющий духовенство, достиг благословения Якова и Ревекки; он получил право первородства. Второму, представляющему знать, достались феодальные владения (*fiefs*), графства и другие высокие звания короны; младшему или

¹ Aubertin, op. cit., стр. 161 — 162 (Col. Mayer, t. XVI, p. 198 — 202).

² Aubertin, op. cit., стр. 168 (Collect. Mayer, t. XVI, p. 87, 90 — 91; t. XVII, p. 92).

третьему, который и есть третье сословие, выпали на доле, судебные должности. Духовенство, следовательно — старшее дворянство — моложе, третье же сословие — самое младшее. Согласно такому взгляду, третье сословие неизменно признает господ аристократов, как возвышающихся несколькими ступенями выше; оно оказывает то уважение и почет, которые принадлежат этому сословию. Но и дворянство также должно признавать третье сословие своим братом (*comme son frère*) и не презирать до такой степени, чтобы считать ни за что. К тому же в частных семействах нередко хорошо чувствуют, как первенцы разваливают семью, и как младшие восстанавливают ее благополучие...»¹

Однако, эта речь лишь усугубила раздражение дворянства. В торжественной речи к королю ответил обнаглевшей буржуазии дворянский представитель барон Сенесей (*Senesey*):

«Они сравнивают ваше государство с семьею, состоящей из трех братьев: они говорят, что духовенство — старшее, мы — моложе, а они — младшие... До какого жалкого состояния мы опустились, если слова эти справедливы! И как? Такое множество выдающихся заслуг, уводящих к незапамятным временам, так много чести и благородства, переданных дворянству по наследству и заслуженных его тяжкими трудами и его верностью, — должны ли они вместо того, чтобы возвысить дворянство, столь унижить его, что дворянство оказалось с чернью в наиболее тесном сорте общества, какой только бывает между людьми, который есть братство (*fraternité*). И неудовлетворенные тем, что они называют себя нашими братьями, они приписывают себе восстановление государства, к которому — Франция прекрасно знает — они никоим образом не причастны. Вынесите же решение, государь, и заявлением, исполненным справедливости заставьте их признать то отличие, которое по рождению существует между нами и ими»²

¹ Aubertin, op. cit., стр. 162 — 163 (Col. Mayer, p. 223 — 224).

² Aubertin, op. cit., стр. 164 («Procès-verbal de la noblesse», Séance du 26 nov. 1614).

Как сообщает Флоримон Рапан, дежурат «третьего сословия» (оставивший дневник сессии), — по выходе от короля дежураты дворянского собрания, возбужденные речью их председателя Сенесея, кричали: «Мы не желаем никакого братства между третьим сословием и нами. Мы не хотим, чтобы дети сапожников и вегошников (Savetiers) нас называли братьями: между нами и ими такая же разница, как между господином и слугою» (entre le maître et le valet).¹

Приведенный материал настолько ярок и характерен, что объясняет сам себя. Генеральные штаты 1789 года были в ораторском отношении воспроизводством на расширительной основе сессии 1614 года. Более того, Учредительное собрание, в которое превратились Генеральные штаты, в основном лишь последовательно усугубило, революционизировало стиль речей «третьего сословия» в соответствии с историческим моментом. То обстоятельство, что собрание 1789 года не удалось разогнать, как собрание 1614 года, нашло себе соответствующее ораторское выражение. Ораторский натиск Ф. По 1484 г. на монархическую бюрократию был помножен на буржуазную атаку феодальных привилегий дворянского класса 1614 г., и результат возведен в небывало высокую степень всемирно-исторического значения. Были найдены исторически верные слова. Урок языка поспешил преподать королю Людовику XVI его камергер граф Лианкур, сообщив о взятии Бастилии. — Но ведь это же бунт! — воскликнул Лювик. — Нет, государь, это революция, — поправил Лианкур.

Но гораздо важнее, что Сизс поправил и уточнил буржуазных ораторов 1614 г. — Саварона и др. — своей знаменитой ораторской формулой: — Чем было третье сословие? Ничем. Чем должно оно стать? Всем. — Это был самый верный политически откровенный лозунг революции. Равным образом Мирабо в качестве буржуазного трибуна, чья ораторская слава приближалась к славе Цицерона, усугубил аргументацию Ф. По, когда после королевского внушения Генеральным

¹ Aubertin, op. cit., стр. 165 («Col. Mayer», t. XVII, p. 3—4).

штатам (23 июня 1789 г.) с предложением разойтись и собраться каждому сословию отдельно, — он произнес знаменитые слова: «Кто предписывает вам законы? Ваш уполномоченный. Тот, кому, напротив, от нас следует получать законы, так как мы обладаем бесспорными политическими правами...» И когда церемониймейстер, маркиз Де Дрё-Брезе, предложил исполнить приказ короля, Мирабо ему ответил: «Подите и скажите вашему господину, что мы здесь по воле народа и уступим только силе штыков».

Это был уже откровенный политический язык классовой борьбы, всеми фразеологическими средствами обнажающий реальную расстановку сил и революционную позицию «третьего сословия».

Буржуазные ораторы 1614 года смогли и сумели противопоставить сословно-мистической и традиционно-авторитарной фразеологии феодалов (Сенесей аргументировал защиту дворянства типичными для своего класса охранительными смыслами — ссылкой на предание, бывшие подвиги и заслуги дворянства, и фактом рождения, первородством, гордым «*nous sommes nés*») политические выражения реальных фактов — действительных общественных отношений с их действительными материальными противоречиями. Буржуазные ораторы 1614 г. вышли уже из рамок сословно-средневековой ограниченности, заговорив о народе, как о нации, и о Франции, как об «общей матери». Более того, в высшей степени характерны недоумение и возмущение, которыми встретило дворянство слово «братство». Как подчеркнул Сенесей, это слово было в высшей степени неуместным и оскорбительным, потому что говорило ему о кровном родстве, о семейных связях, покушалось на господство отграниченности и разделения внутри общества, на сословность. Это слово было страшным покушением на средние века. «Сословие не только базируется на разделении внутри общества, как на господствующем законе, оно также отделяет человека от его всеобщей сущности, оно делает его животным, непосредственно совпадающим со своей определенностью. Средние века представляют собою животный период в истории человечества, чело-

веческую зоологию». (К. Маркс).¹ Между тем лозунг «братство» был ораторским выражением общественного стремления сословную политику заменить общегосударственной политикой, стремления буржуазии (не отделившейся еще от «народа», массы) дать себе политическое бытие. Это был удар по наследственному дворянству уже именно потому, что «это последнее не является сословием среди других сословий, а в нем одном находит свое осуществление сословный принцип гражданского общества как действительно социальный, и, следовательно, политический принцип. Наследственное дворянство есть сословие по преимуществу».² Выступая против дворянства, как господствующего класса, буржуазия говорила от имени всего общества.

В примирительной речи, в которой буржуазный оратор повидному из тактических соображений отдал дань средневековой фразеологии о первородстве (с характерным привлечением библейского материала) и пр., однако содержится сравнение государства с семьей, где младшие члены реально значат больше, чем старшие, ибо полезнее последних. Если сопоставить это место с речью Р. Мирона, в которой он подчеркнул, что без рабочих рук высокие особы умрут с голоду, то аргументация в пользу «третьего сословия» материальными интересами всего общества станет совершенно ясной.

Лозунг «братства», на который дворянство в 1614 году дало недвусмысленный ответ, в революцию 1789—94 г., разрастался в триединую формулу: «свобода, равенство и братство», лозунг буржуазной демократии. Этот политический лозунг получает с развитием революции свое дополнение — «Французская республика, — единая и неделимая», как это значится например на бланках Парижской коммуны 1793 г. Другим дополнением является «патриотизм» и «всеобщее благо». Эти и подобные им другие дополнения также служат

¹ «Критика философии государственного права Гегеля», Сочин. т. I, стр. 602.

² Там же, стр. 639.

выраженном всеобщего участия в политическом государстве, утверждения его целостности в противовес отъединенности и раздельности сословного бытия, — осуществления политики, национальной по форме и буржуазно-классовой по содержанию.

Все красноречие ораторов Великой французской революции было направлено на развитие и выяснение политических принципов, выраженных этими лозунгами.

Когда антагонизм классов достигает высшего предела и переходящему классу и торжество нового общественного строя, тогда мы наблюдаем необычайный расцвет ораторства, потому что ораторская речь — одно из наиболее действенных выражений и в то же время одно из сильнейших идеологических орудий общественной борьбы.

Вытеснение феодальных производственных отношений побеждающим капитализмом ознаменовалось колоссальным взрывом 1789 года, когда под напором революционных сил пала крепостнически-бюрократическая монархия, а вместе с нею рухнуло все старое общество. Революционная роль буржуазии оказалась огромной и конечно подготовленной ходом общественного развития. Ломка хозяйственных и политических устоев сопровождалась идеологическим переворотом, проходившим под знаком освобождения «всесильного человеческого разума» от гнета феодальных представлений, традиций и авторитетов. Создавалась новая наука, новое искусство, новая философия, новая политика — и с ними, конечно, новые пред-
рассудки.

Вместо авторитета священного писания, отцов церкви и светил схоластической науки, идейными вдохновителями ораторов стали энциклопедисты, Монтескье, Мабли, в особенности Руссо. Они влияли непосредственно своими сочинениями и через великое множество памфлетических брошюр, столь характерных для Франции XVIII века. Революция подготавливалась и экономически и идейно. Буржуазная агитация и пропаганда не родились в 1789 году. Но к 1789 году все было готово для ее необычайного расцвета. Совершенно иные

предпосылки представились здесь для ораторской речи — предпосылки нового капиталистического строя.

Новый характер производства, повлекший за собою рост и усложнение городской жизни, объединение на почве производственных отношений и развития обмена человеческих масс и крушение сословных и всяческих местных границ, смягчение черт «провинциализма» и «идиотизма» замкнутой жизни, революционное вовлечение в политику новых многочисленных слоев населения, бывших доселе тупым и покорным стадом, пасомым духовными пастырями, — вот какого рода предпосылки следует учесть, чтобы понять развитие буржуазного ораторского стиля. Небывалого размаха агитация и пропаганда, порожденные буржуазной революцией и предреволюционным брожением, — нашли себе реализацию в значительной мере именно в форме ораторской речи.¹ В высшей степени знаменателен и тот факт, что до 1789 года не существовали политические газеты. Характерно, что литература и публицистика той эпохи отмечены яркими чертами агитационно-ораторского языка (Демулен, Марат и др.). По сравнению с ораторской речью (и публицистикой) художественная литература играет третьестепенную роль.

Чтобы понять особенности ораторского стиля, созданного буржуазной революцией, нужно иметь в виду то обстоятельство, о котором писал Маркс: «Революционный класс уже по одному тому, что он противопоставит некоторому классу, выступает не как класс, а как представитель всего общества: он является как вся масса общества, в противоположность единственному господствующему классу». Так выступала и буржуазия в 1789 году, провозгласившая «уничтожение деспотизма», «права человека и гражданина», «верховенство народа», «естественный закон» и заклеившая «подлое рабство».

Это было красноречие высокого героического пафоса.

«При всем характеризующем буржуазное общество отсутствии героизма оно нуждалось в героизме, самопожертвовании,

¹ Политический анализ печатной агитации и пропаганды Великой французской революции дан в основном в работе Г. Кунова «Борьба классов и партий...», однако далеко не удовлетворительно.

терроре, гражданской войне и битве народов, чтобы появиться на свет. И для гладиаторов буржуазного строя классически строгие традиции римской республики давали те идеалы, те художественные формы и средства самообмана, в которых они нуждались, чтобы скрыть от самих себя буржуазно-ограниченное содержание своей борьбы и поддерживать свой энтузиазм на высоте великой исторической трагедии» (К. Маркса).¹

То, чего не мог понять Лансон, что казалось трезвым буржуа мертвой риторикой,— собственные имена Брута, Цезаря, Демосфена, Катилины, Мариа, Лизандра, Фемистокла и т. п., классические фразы типа: «Катилина у ворот», цитаты из Фукидида, Плутарха или Цицерона,— все это было языком ораторской перифразы и аналогий. Перифраза же и аналогия оказались средством «поднятия» темы: это был путь восхождения на эмоциональные высоты. Античный исторический материал со своей внебытовой окраской в словесно-смысловом плане был окружен ореолом высокой эмоциональности, пафоса у ораторов революции, как библейская речь в устах проповедника. История античных демократий была политической библией для буржуазных ораторов. Политическая героиня древних республиканцев была выбрана как отправная точка для аналогий с современностью, как заражающий пример. Здесь открывается глубокое значение метода ораторской перифразы. Она сталкивала в сознании два смысловых ряда— современный и исторический— так, что политическое мышление двигалось путем аналогий, поднимавших осмысление действительности на необходимую в известной мере иллюзорную высоту. Аналогия обязывала, а это и нужно было оратору. Не привожу примеров — их сколько угодно.²

¹ «Восемнадцатое Брюмера Луи Бонапарта», соч. т. III, 1921 г., стр. 136.

² См. напр. в труде Aulard'a «Les orateurs de la Revolution»— L'Assemblée Constituante»,—1 t. «La Législative et la Convention»—1 et 2 t. t., P., 1906, 2 ed.

Есть сильно сокращенный (притом законченный на жирондистах) и места, особенно в передаче речей, плохой перевод Борисовича: «Ораторы революции», 1907 г., в двух томах.

В античном мире узнавали себя. Сквозь политическую пустыню средних веков протягивали руку к живой политике. Биографии Плутарха читались с захватывающим интересом, как современная литература.

Указывалось (в частности и Оларом), что материал античных имен, примеров, аналогий, сравнений был подсказан ораторам школой, ибо в системе школьного образования он играл немалую роль, подсказан образцами классического ораторства через «школьную библию» — «Сопсионе». Но помимо того, что это указание ничего еще не говорит о причине использования античного материала в революционной агитации, забывают о традиции адвокатской речи. Античный материал бывал в ораторской речи задолго до ораторов революции. После изобретения книгопечатания адвокатам сделался доступным материал античных авторов, который они, по законам средневековой риторики, втаскивали в речи — огромными дозами и без всякого разбора — в виде авторитарных цитат и ссылок, щеголяя эрудицией.¹ Ораторскими «гладиаторами буржуазного строя» были преимущественно адвокаты — Робеспьер, Дантон, Верньо и др. Им оставалось заново использовать ораторскую традицию путем переоценки ценностей. Старое содержание стало формой для нового содержания — и притом вторично.

Широчайшее использование античного материала дало повод Мирабо ораторски виртуозно «обыграть» его проницательным разоблачением смысловой условности и гиперболичности. Речь 26 сент. 1789 года, произнесенную в защиту предложенного Неккером чрезвычайного налога на собственников и насыщенную пафосом и метафорической экспрессией, Мирабо закончил такими словами:

«Берегитесь медлить, — несчастье никогда не ждет. Господа, по поводу смешного положения Палэ-Рояля, по поводу ничтожной всышки, которой только воображение слабоумных или преступные замыслы недобросовестных людей могли

¹ См. об этом, напр., Fournel, «Histoire des avocats au Parlement et du barreau de Paris».. t. II, P. 1813 (стр. 263—4)

придать какое-либо значение, вы слышали эти неистовые слова: Катилина у ворот Рима, а мы рассуждаем. А вокруг нас не было, между тем, ни Катилины, ни опасности, ни заговоров, ни Рима... Нынче же вы находитесь на краю банкротства, чудовищного банкротства; оно грозит поглотить вас, ваше имущество, вашу честь... А вы рассуждаете».

Мирабо обыграл фразу, произнесенную Гупиль де-Префельном по поводу проекта распустить Учредительное Собрание и назначить новые выборы¹.

Ввод античного материала ярко характеризует буржуазно-революционную риторику, тот «романтический» язык, о котором писал П. Лафарг: «В революционный период безмерное увлечение прилагательными, сообщающими языку образность, сравнениями, метафорами и антитезами развивалось без всяких преград; при содействии дурного вкуса оно создало напыщенный слог, подобный ужасно напыщенному многословию, перешедшему во времена Пегрония из Азии в Афины»...

«Чтобы судить, насколько этот язык, уснащенный прилагательными, метафорами и антитезами, был чужд языку XVIII века, достаточно вспомнить жалобы Вольтера... возмущенного иносказательными выражениями, как: «зажечь факел восстания»²...

Однако нельзя отделяться вкусовой оценкой (здесь Лафарг странным образом сближается с Лансоном) и верно подмеченные факты объяснить просто тем, что этот «романтический язык» адресовался литературно-невоспитанной толпе.

Перифраза, метафора, сравнение и проч. средства иносказательности были необходимыми и неизбежными средствами идеалистического выражения действительности. Ведь в них-то и запечатлелся тот языковой пафос, с которым буржуазия добывала себе победу и шла к господству. Политический язык буржуазии выражал ее понимание политических задач и событий, ее понимание революции, ее политические иллюзии.

¹ Aulard, Les Orat. Rev. «L'Assemblée Constituante».

² П. Лафарг, «Язык и революция», Academia, 1930, стр. 91—92, 95.

Что такое метафора? Это старое содержание, ставшее формой нового содержания. Метафорический стиль — неадекватный способ выражения, в той именно степени, в какой метафоризация является методом, а не технической традицией или техническим способом выражения.

Так называемый «пышный слог» или пышная фраза, т. е. стилевой орнамент — не что иное, как иллюзорная, чисто словесная конкретизация общих смыслов, идеалистическая игра со смыслами. И если принципы, если политическая идеология расходится с политической действительностью, то пышная фраза неизбежна.

Она призвана заполнить пропасть между мечтой и действительностью. Она культивируется, становится виртуозной.

Слово, эмансипированное от дела, обрастает иллюзиями самостоятельного могущества. На помощь пышной фразе приходит ораторский голос и жест, образ оратора. Поведение оратора театрализуется. Так возникает «ораторская декламация», как стиль. Признаки ее — двусмысленность, метафоричность, общие места, густая эмоциональная окраска (орнаментализм).

Сравнение буржуазно-революционного стиля с азианизмом плодотворно в том отношении, что как азианизм, стиль «ораторской декламации», сделался в Риме политическим языком демократии, формой ее идеологического зрения (по терминологии Энгельса), точно так же и здесь неадекватное выражение политического бытия, как нового содержания, запечатлелось в «романтическом» языке. Цицерон был ораторским патроном французской революции, да и буржуазии вообще. Равным образом «декламационный» язык Августина с его «*conzettii*» и пр., отражавший переломный кризис социальной жизни, может быть с тем же основанием назван «романтическим» по сравнению «с классическим», «чистым и ясным» языком даже еще Сенеки. Встреча нового содержания со старым «романтизирует» язык, взрывает его и переделывает. Однако языковой «романтизм» бывает разным. Он может быть выражением движущих общественных сил и тормозящих, атакующих и охраняющих. Он является рево-

люционным и контрреволюционным в зависимости от того, какое отношение к общественному развитию он выражает. «Романтический» язык Шатобриана был протестом против революции, выражал непонимание, неприятие новой действительности, социального сдвига. «Романтический» язык буржуазии был революционным языком в той мере и до той поры, пока она боролась, за новый путь развития, с феодализмом и его остатками; он сделался реакционным лишь только буржуазия столкнулась с пролетариатом. «Мифология» революционная становилась «мифологией» контрреволюционной. Риторика буржуазно-революционная превращалась в риторику контрреволюционную.

Оппортунизм, родившийся вместе с буржуазией, как неизбежное проявление ее классового бытия и мышления, нашел себе выражение и в языковой политике и в ораторском стиле. Буржуазная риторика не только сокрушала феодально-дворянскую риторику, но и примирялась с нею и заимствовалась от нее.

Монархию, религию, титулы и т. п. принадлежности старого режима буржуазия не столько выкорчевывала, сколько приспособляла к служению своим интересам и сама приспособлялась. Буржуазия шла к власти богатой и влиятельной. Ей было что терять в старом мире. Старый мир был ей нужен для противодействия пролетариату, для охраны классового господства. «Уважение» к традициям, к унаследованным точкам зрения и формам встречает нас и в ораторской практике.

Дантон, сломивший технические каноны старой риторики, изменивший словарь и риторический синтаксис, — скандализовал академиков и любителей «хорошего тона». Его упрекали за «беспорядок» и «грубость». Дантоновское требование говорить «ясно и без напыщенности» можно уяснить себе только путем сравнения с ораторской традицией. Дантон революционизировал язык опорой не на литературную, а на буржуазно-революционную якобинскую фразеологию. Характерно, что Дантон не писал речей — он импровизировал в противоположность почти всей ораторской традиции того времени. Отсюда шла «грубоватость» его красноречия (по выражению

критиков) и начиналась ломка риторических правил построения речи. Письменно-литературный язык был цитаделью феодально-дворянского способа выражения, который культивировался — с начала XVII в. — в ассамблеях и салонах — с центром в отеле Рамбулье. Это был язык господствующего класса эпохи абсолютной монархии, язык сословной ограниченности, исключительности. В идеале он стремился к полной разобщенности с «неблагородным» языком. Евфемизмы, как путь синонимических замен, перифрастичность, лексический отбор, наконец даже фонетические особенности были средствами языковой политики. Ее целью было — разобщить, отъединить язык идеологии от «обыкновенного разговорного языка», поскольку язык, как система средств коммуникации, стал принимать всеобщий характер — французского языка. Академия была научным и организационным штабом классовой языковой политики.

Вольтер писал в «Философском словаре»: «Благородство языка нарушают не неправильности речи высшего общества, а страсть посредственных писателей говорить о значительных вещах обыкновенным разговорным языком». Дю-Беллей уточнил, что это значит: «..они считали, что хорошо писать можно только на языке, непонятном простому народу. Неудивительно поэтому следующие знаменательные слова: «Я не сомневаюсь в том, что у нас будет скоро, как у китайцев, два языка: один язык разговорный, а другой — письменный». (Диур)¹. Предвиденье оправдалось бы полностью, не прозойди буржуазного переворота в экономике, политике и языке. Переворот положил предел развитию этого процесса, но французский литературный язык продолжал и продолжает оставаться отличным, отроженным от разговорной речи».

¹ Цит. по книге Лафарга «Язык и революция», стр. 33, 41

² Этот речевой дуализм обозначается терминами — *la langue usuelle* — речь быденная — и *le style soutenu* — речь торжественная (художественно-литературная, ораторская и т. д.), — который создавался в XVI и XVII вв.; это *le style précieux* — септенциозный стиль, *style euphuism* — антистический стиль и т. п., воспроизводящие на новой основе речевые тенденции античного азианизма, как формы языка идеологии.

Дантон оказался одним из наиболее смелых ораторов, которые взрывали на трибуне канонизованный язык и традиционную риторику.

Предписанная размеренность и чередование частей речи с традиционным вступлением изложением и т. д. не увязывались с требованиями ораторской импровизации по конкретному, вставшему в дебатах политическому вопросу. Поэтому Дантон, избегая вступлений, мог начать свою речь с союза *и*, к великому негодованию арханстов: «И я также люблю мир, но не мир рабства»... Революционная практика требовала от оратора лаконичности, конкретности, отсутствия отступлений, несмотря на то, что старая риторика диктовала «общие места». Расположение аргументов у Дантона тоже носило свободный от предписаний старой риторики характер. Вместо сложной, последовательно построенной (Робеспьер и др.) иерархии доводов у Дантона наблюдаем внешне-беспорядочное скопление аргументов, которые однако воздействуют именно тем, что бьют в центральную смысловую точку. Все аргументы оказываются одинаково важными, необходимыми. Коснувшись одного частного тезиса речи, Дантон нередко перескакивает к другому, чтобы затем опять вернуться к первому и подкрепить его заново.

Все это, ломая традиционную композицию речи, создавало «беспорядок дружеской беседы», по удачному определению Олара. Это был новый принцип конструкции речей. О Дантоне писали: «Он поднимает все, что может подняться от одного движения» (Родерер). «Этот оратор похож на Нил — он бывает особенно прекрасен, когда выходит из берегов» (К. Демулен) ¹.

Замечательно, что даже Дантон оказался спорным оратором. Бесспорными — Мирабо и отчасти Верньо, которого, например, Олар называет великим оратором. Это как раз наиболее характерные представители стиля «ораторской декламации»,

¹ Aulard, Les Orat. Rev., La Législative et la Convention, I t. Интересно, что Дантон, очутившийся за измену революции под судом, говорил в рев. трибунале напыщенным «языком» ораторской «декламации».

этой политической латыни буржуазии. Ораторский стиль Мирабо оказался настолько пригодным для отстаивания интересов монархии Людовика XVI, что, как известно, Двор купил красноречие этого «великого трибуна». Так буквально и сказано в документе. По условиям первого договора Мирабо получал жалованье в 50 000 ливров, за что обязывался «помогать королю своими знаниями, своими силами и своим красноречием во всем, что...» и т. д.¹

Мирабо не случайно стал кумиром эпохи парламентаризма, ее величайшим оратором. Это был настоящий стец оппортунизма и соглашения, кондотьер слова, рупор закулисных влияний, герой коррупции. Больше чем кому-нибудь ему нужно было воздействовать на аудиторию. «Его красноречие, — замечает Олар, — вначале удивляло, поражало, но не убеждало. Не верили тому, что он говорит... Вот почему он впадал впопыха в декламацию. Ему хотелось дать публике хорошее о себе представление, но ему это не удавалось: слишком уж вопиюще было разногласие между его жизнью и его словами. Успех же оратора, как то совершенно справедливо замечает один древний философ, заключается в том, чтобы действительно казаться своим слушателям тем, чем желает казаться»².

Если освободить тираду Олара от излишнего психологизма, затуманивающего вопрос, то она сведется к совершенно правильному указанию, что для Мирабо центральным пунктом его ораторской работы было создание ораторской личности, ораторского «образа», идейного, психологического и даже физического.

Вот почему Мирабо так много и с таким пафосом говорил о себе. Именно для Мирабо «говорить о себе» было принудительной задачей величайшего ораторского «искусства». Это была «скользящая» тема. Но он говорил, конечно, не просто «о себе». Местоимение «я», функция которого в системе Мирабо была огромной значимости, — семантически, эмоци-

¹ Цит. по А. Матезу, «Новос о Дантоне», «Моск. Раб.», стр. 24. Подчеркнуто мною.

² Aulard, *Orat. Rev.* «L'Assemblée Constituante».

бнально выросло из совокупности всех его ораторских приемов, возникало как «я» оратора-Мирабо. Это было ораторское «я», особого эмоционально-смыслового тона, высокое «я» трибуна, народного героя, от образа которого должны были отскакивать полемические стрелы. Это «я», как название ораторского образа, оказалось могущественнее реального Мирабо.

Мирабо знал и превосходно расценивал с практической точки зрения это свое ораторское «я». Когда 21 октября 1790 г. он произносит революционную речь о трехцветном флаге и его друг реакционер Де-ля-Марк упрекает его дружески за «демогогическую» выходку, Мирабо отвечает: «Вчера я насколько не был демагогом; я был великим гражданином и быть может ловким оратором». А Ля-Марк по поводу этой речи Мирабо записал: «Уж конечно, если только не знать тайны, то невозможно было предположить, что человек, говоривший так на трибуне, находился в то же время в сношениях с Двором, заботился о восстановлении монархии»¹. Таким образом было как бы два Мирабо: один на трибуне, создаваемый ораторскими приемами,— другой вне трибуны.

Этот человек все свои силы направил на то, чтобы созданной ораторской личностью наглухо и целиком покрыть свою реальную личность, ораторской биографией заменить реальную биографию, чтобы Мирабо на трибуне заслонил Мирабо вне трибуны. И прежде всего он преображался как оратор физически. Из отзывов исследователей и современников видно, как «выросла» его внешность, как появлялись «великие жесты» и «великий голос».

«Мирабо, который говорит, это Мирабо. Говорящий Мирабо это вода, которая течет, это хлещущий вал, это блещущий огонь, это летящая птица... Это натура, которая исполняет свой закон: зрелище всегда величественное и гармоничное. Мирабо на трибуне, все его современники единодушны в этом отношении, есть нечто великолепное... Все в нем могущественно. Его жест, резкий и неровный, был полон власти.

¹ Там же.

На трибуне он очень сильно двигал плечами, как слон, который несет в битву свою вооруженную башню. Мирабо нес так свои мысли... Его голос, даже тогда, когда он бросал какое-нибудь слово со своей скамьи, имел грозный и мятежный акцент, который выделялся в ассамблее, как рыканье льва в зверинце»¹.

«На трибуне он был непоколебим. Те, кто видели его, знают, что волны бушевали вокруг него, не трогая его, и что он сам оставался господином своих страстей среди всех оскорблений»²...

Известно, что длинный ряд речей Мирабо был написан по заказу оратора разными людьми.³ Однако в ораторском оформлении — мимике, жестов, голоса, интонаций, при помощи ораторской фигуры — они делались речами Мирабо. Словесный ряд часто оказывался в подчиненной функции по отношению к другим элементам ораторства.

Ораторский образ и ораторская фигура целиком ассимилировали чужие слова.

Созерцание оратора Мирабо, его ораторской позы, игры сообщало словам агитационную силу. Стиль «ораторской декламации» предполагает оратора-декламатора, который, говоря неадекватным, искажающим действительность языком, именно поэтому должен стремиться всеми средствами к иллюзорной выразительности своей речи, создавать особую систему средств убеждения и внушения.

Так создается риторика вообще. Так создавалась буржуазная риторика, которая не могла пройти мимо театрального ораторского голоса и аффектированной ораторской позы, как средств «благовидного обмана и правдоподобной лжи». Первый оратор Жиронды Верньо, партии крупной буржуазии, ораторский стиль которого Марат определил как «тщетное фиг-

¹ Victor Hugo, «Etude sur Mirabeau» (стр. 63—65).

² E. Dumont, «Souvenir sur Mirabeau», 1832 (стр. 277 и др.). См. также материалы в «Mémoires biographiques littéraires et politiques de Mirabeau...», tome 8, P. 1835 и др. источ.

³ См. Ph. Plan, «Un collaborateur de Mirabeau... 1874 (о Рейбазе), Aulard, op. cit. и др.

лярство» (в речи 13 марта 1793 г.), как «цветистые речи» и «паразитические фразы», — был несомненно вторым патроном буржуазно-парламентского ораторства. Тень Верньо неизменно присутствует на трибуне, благословляя на ораторский подвиг всех ораторов от Ламартина до Аристиды Бриана. Олар, написавший вдохновенную апологию ораторского дарования Верньо, этого «восхитительного декламатора», как он его называет, — невольно выдал ему объективно верный ораторский паспорт. «Он отличается умением возвышать дебаты над мелочами и уродствами действительности. Он уносит умы в надземные пространства, где обыкновенно витает его мечта... Верньо умело устраняет все, что в вещах, о которых он говорит, может оставить мрачное, тривиальное или гадкое впечатление. Его талант не допускает никакой мысли, которая не была бы красива или возвышенна»...

«Но если идеи его кажутся возвышенными, то они слишком часто туманны и отвлеченны, и если слова его часто благородны, то они редко точны и верны. Он называет вещи самыми общими терминами и обозначает приличными перифразами людей и деяния, которые кажутся ему недостойными фигурировать без прикрас в его слишком красивой ораторской прозе. Должен ли он презизировать техническую деталь? Его изысканность боится этого, и в речи, например, о продовольственном вопросе (17 апреля 1793 г.) он принимает почти наивные предосторожности, когда говорит о необходимости сократить потребление говядины. «Другая мера, — говорит он, — которую я желаю вам предложить, покажется вам, быть может, смешной на первый взгляд... Какой могущественной должна была еще быть тирания классического вкуса, если такой великий человек и при таких великих обстоятельствах, в апреле 1793 г., боялся еще показаться смешным в литературном отношении»¹.

Эта цитата не нуждается в комментариях. В высшей степени характерна для Верньо эта боязнь «грубых» слов, боязнь

¹ Цит. по русск. перев. Олар, «Ораторы рев.—Закои. Собр. и Конвент» (стр. 256).

«говядины», это ораторское «паренпе» в плену у феодально-дворянской языковой политики.

От каких стилиевых принципов отиравлялся Верньо, этот «восхитительный декламатор», показано у Олара (в главе об «ораторском воспитании» Верньо) цитатами из его ранних, еще адвокатских речей¹.

В защиту девушки, обвиняемой в детоубийстве, Верньо говорит: «Меня обвиняют в том, что я заклеимила весну моей жизни, поддалась желанию стать матерью, прежде чем священные узы узаконили это желание и религия его освятила на алтаре брака. Что я говорю? Меня обвиняют не только в полной потере целомудрия, оскорблении добродетели, грехе против религии: я не только мачеха, несправедливая и жестокая, я чудовище, ужас всего человечества. Меня обвиняют в том, что я подняла смертоубийственную руку на плод своего разврата, что я погребла в скверном месте, которое едва можно назвать, и откуда его сейчас вытащили обжорливые животные, искавшие пищи в этой клоаке». В другой речи (против монахини, претендовавшей на получение наследства): «Вот что я должен вам сказать. Вы служили богу, бог вас наградит. Вы не служили миру — мир ничего для вас не предпримет. Вы ничего не сделали для вашей родины, вашей семьи — ваша родина, ваша семья ничего вам не должны. Вы трудились для небесной родины — ее сокровища будут вашим наследством»... и т. д.

Эти примеры элементарны в своей установке на ораторскую и на литературную традицию XVIII века и на цидероновский «орнамент». Очень характерны эти гиперболы, климаксы и анафоричность, ведущая к ритмико-синтаксическому параллелизму с тенденцией к равночленению фразы; так же характерно смысловое движение в кругу развернутой антитезы, которая как будто возникает из синтаксического хода (во втором примере). Это типичный материал для «декламации», каковой и были преимущественно тогдашние адвокатские

¹ Aulard, «Les Orat. Rev. La Législative et la Convention», t. I, P. 1906 (стр. 297—298 и др.).

речи,— той высокой «декламации», которая во время революции приняла на себя агитационно-политическую функцию путем переключения готовой символики в иную смысловую плоскость, но осталась на вершинах идейно-патетического «парения».

Для Робеспьера фразеологической основой служил философский язык энциклопедистов и главным образом Руссо (особенно «Общественный договор»); он «инструментовала» самые животрепещущие политические темы абстрактно-высокими и широкими смыслами философско-этического и сентиментально-психологического характера¹.

Конкретная политическая тема поднималась до сферы «общечеловеческих», «вечных» категорий смысла, окружалась аргументацией от «чистого» разума и «чистого» чувства в духе господствующей философской фразеологии. Небрежение к факту, к цифре, к реальному моменту— было принципом агитационного пафоса. Вот характерный пример из речи за всеобщее избирательное право в учредительной Ассамблее:

«Чем будет ваша декларация прав, если декреты эти останутся? Пустым звуком. Чем станет нация? Рабом, ибо свобода состоит в подчинении законам, которые нация сама

¹ Олар прав, называя Ж. Ж. Руссо «великим учителем риторики» складьяваров. Если в античном мире эпохи расцвета литература складывалась под сильнейшим влиянием ораторской формы, то в эпоху Великой Франц. революции ораторство формировалось под очевидным влиянием дидактической литературы XVIII в., идейно вооружавшей революцию. Однако именно эта литература, как политическая, была отмечена ораторскими признаками. Достаточно привести глубокое замечание Эро де-Сешеля, оратора и составителя Конституции, что «Руссо все писал для слушателя, а Бюффон для читателя». См. Pérault de Séchelles, *Visite à Buffon* (1805) или *Voyage à Montbar* (1802 г. и след. изд.). На русск. яз. см. «Бюффон перед концом жизни. Из записок Эро-Сешеля.— Пантеон иностран. словесности, перев. Н. Карамзинным, ч. II, 1818, М. Понадобилось бы целое исследование, чтобы вскрыть глубину этого замечания, сделанного еще до революции. Оно ставится еще многозначительнее, если учесть, чем оказался стиль Руссо для ораторов революции. В записках Эро де-Сешеля много интересных сравнительных замечаний о стиле Руссо и Бюффона. Впоследствии на ораторскую или риторическую природу стиля Руссо указывалось неоднократно, однако эта проблема ждет еще исследований.

себе дала, а рабство — в необходимости подчиняться чужой воле. Чем станет ваша конституция? Истинной аристократией, ибо аристократией является такой порядок, при котором одна часть граждан суверенна, а другая состоит из подчиненных. Ваша же аристократия будет наиболее несносной из всех — аристократией богачей. Все люди, рожденные и проживающие во Франции, являются членами политического общества, называемого французской нацией, иначе говоря французскими гражданами. Они являются таковыми по природе вещей и в силу первых принципов человеческого права¹.

Это был оратор амплификаций. Отсюда происходили его «рационализм» и «холодность» по выражению критиков, что не помешало ему быть первоклассным агитатором с огромной популярностью в широких массах. Олар приводит такой отзыв Бодена: «Популярности не было ни в его языке, ни в его манерах. Его речи, всегда полемические, неясные и часто растянутые, не имели ни ощутительной цели, ни поражающих выводов, ни близкого приложения, чтобы пленить толпу». «Но народу нравились именно эти достоинства и недостатки», добавляет уже Олар².

Популярность Робеспьера, как оратора, в Сент-Антуанском предместье в очень малой степени зависела от того, что он соблюдал «правила риторики» в отношении построения речи, развития доказательств, стиливых фигур и тропов (за что его иногда свисходительно хвалили ученые в укор Дантову), а в огромной мере должна быть отнесена за счет морализации и сентиментализма, как средств стиливой пагеттики, которая эмоциональным нимбом окружала политические лозунги.

Ярко выраженная ориентация на письменный литературный язык (Робеспьер писал речи) и, более того, культивирование форм так называемого «академического стиля» с упором на детальную отделку периодизованной фразы, сочетались с установкой на слово — жест широкого знания, действи-

¹ Робеспьер. Речь о всеобщем избирательном праве, Петр., 1917 г.

² Олар, «Ораторы революции—Учредительное Собрание», т. I.

ного не столько своим прямым и конкретным фразовым смыслом, сколько ореолом побочных значений, допускаемых контекстом.

Основные лозунги ораторов революции были политическим выражением буржуазного индивидуализма — «декларация прав человека и гражданина». Это означало освобождение от феодальных крепостнических пут, крушение «демократии несвободы», какими были средние века, по выражению К. Маркса, — крушение сословного строя, который стоял между индивидуумом и политическим государством.

Гражданин получал политическое бытие. «Только здесь его определение, как члена государства, как социального существа выступает как его человеческое определение». ¹

Лозунги эти были абстрактными и искажающими лозунгами в том именно смысле, что, сигнализируя завершение «процесса отрознивания политической жизни от гражданской жизни», они делали своим героем политического человека, отвлеченного, оторванного «от своего действительного положения в частной жизни». Между тем «действительный человек есть частный человек современного государственного строя». ²

Эти лозунги были выражением политического идеализма, который не замедлил обнаружиться в агитации.

«Третье сословие» говорило «общечеловеческими» словами, адресуясь к «свободному и равному» человечеству перед лицом «первых принципов человеческого права», за которым и объективно скрывалась — классовая конкретизация этих смыслов. Это было начало буржуазной «мифологии». «Первые принципы» разума и совести, устанавливающие сумму «непреложных благ», — свобода, равенство, братство, — отступают перед экономическим неравенством: «Это неравенство является необходимым или неизлечимым злом», — заявил Робеспьер в цитированной речи о всеобщем избирательном праве (в Учредит. Собрании 22 октября 1789 г.), усмотрев причину этого

¹ К. Маркс, «Критика философии»... и т. д. стр. 601.

² К. Маркс, «Критика философии»... и т. д., стр. 600—602.

неравенства в «плохих правительствах» и «в пороках испорченных обществ», — прямой и естественный вывод из идеологической установки, читавшей агитацию якобинцев.

Всеобщее избирательное право выступило как осуществление «свободы» и «равенства» и поэтому с неизбежностью в речи о всеобщем избирательном праве конкретизировалось их значение; оратор должен был сказать о материальном неравенстве и даже признать его необходимость, правда, наделив ее отрицательным моральным предикатом. Но вскоре — в плане той же политической фразеологии — было откровенно провозглашено Дантоном, что «собственность неприкосновенна».¹ Между тем Бриссо в начале революции провозгласил, что «собственность есть кража», задолго и точно предвосхитив лозунг Прудона. Таким образом, перед нами момент, когда Великая французская революция устами своих величайших ораторов выражает «буржуазно ограничительное содержание своей борьбы». Триединая формула — свобода, равенство и братство — приобрела ограничивающий и конкретизирующий ее содержание четвертый член — собственность.² Что касается Бентама, то он был уже здесь исторически предсказан.

Разгар революции, лето 1793 года (в истории агитации одна из важнейших дат) — это время, когда уже созрело выражение разоблачающей конкретизации буржуазных лозунгов, ставившихся объективно контрреволюционными, — время зарождения и развития первых существенных элементов антибуржуазного ораторского стиля, элементов высшей выразительности. Измена мелкобуржуазной партии монтаньяров «бешеным», т. е. партии городской и сельской бедноты — была тем политическим событием, которое открыло ожесточенную борьбу между

¹ Напр. в речи перед Конвентом 17 апр. 1793 г. по поводу налога на собственников: «Чем крупнее будут жертвы, тем больше уверенности в том, что собственность будет сохранена и останется неприкосновенной». (Апюдисменты). Дантон, «Избранные речи», 1924, стр. 51).

² Этот четвертый член — собственность — был декларирован на юридическом языке, как право собственности, в проекте Декларации прав, предложенной самим Робеспьером 24 апр. 1793 года и конституцией 1793 года (ст. 16, им одобренной).

вами, окончившуюся разгромом «бешеных». Замечательным ораторским проявлением этой борьбы была речь одного из вождей партии «бешеных», Жака Ру, перед Конвентом 25 июня 1793 года. Жак Ру заговорил таким политическим языком, который был воспринят — в частности Робеспьером — как покушение на конституцию и на революцию в целом. Между прочим Жак Ру сказал:

«Свобода — не что иное, как пустой призрак, когда один класс может безнаказанно морить голодом другой. Равенство — пустой признак, когда богач вследствие монополий распоряжается правом жизни и смерти себе подобных. И республика — пустой призрак, если день за днем действует контрреволюция, устанавливающая такие цены на продукты, что угнаться за ними три четверти граждан могут только обливаясь слезами.

...Неужели же собственность мошенника более священна, чем жизнь человека..

...Законы ведь жестоки по отношению к бедняку, они созданы ведь богатыми и для богатых...

...Не надо бояться ненависти богатых, т. е. злых. Не надо бояться пожертвовать политическими принципами во имя спасения народа, которое является высшим законом...»¹.

Жак Ру требовал законодательства против спекулянтов и спекулятивного ажиотажа, ограничений свободы торговли, реквизиции предметов продовольствия и т. д. При этом он подверг анализу лозунги — понятия «свобода», «равенство», «республика», которые обращаются в «пустой призрак» (во «фразу», как стали говорить позднее), если их содержание лишено той материальной конкретности, которая выражает жизненные интересы «трех четвертей граждан». Жак Ру оставался на почве этих основных лозунгов-понятий, как революционных, но требовал такого углубления, такой конкретизации их содержания, которое меняло, даже ниспровергало вложенный в них политический смысл. Вот почему Робеспьер, отвечая через три дня на речь Ж. Ру, с классовой последовательностью заявил

¹ «Annales Revolutionnaires», 1914, № 4 (стр. 547—560).

в Якобинском клубе (речь 28 июня 1793 г.), что Ж. Ру «под маской патриотизма», покушается на конституцию, на Конвент и на завоевания революции.¹

Дело в том, что основные лозунги - понятия Великой французской революции были творчеством мелкой буржуазии. Здесь надо вспомнить, что «буржуазное — по своему общественно-экономическому содержанию — освободительное движение не является таковым по его движущим силам» (В. И. Ленин).

Ораторский стиль якобинской диктатуры, монтаньяров был революционным ораторским стилем мелкой буржуазии, как главной движущей силы революции. Вождь мелкой буржуазии при всей своей революционности не мог понимать «свободу» и «равенство» как либо иначе, не мог не самообманываться их смыслом.

Но буржуазия, воспользовавшаяся объективно всеми завоеваниями революции, открывшей перед нею и для нее величайшие перспективы, подхватила и использовала революционную фразеологию мелкой буржуазии — «свободу», «равенство», «патриотизм» и пр. Буржуазия, вложившая свое классовое содержание в эти лозунги - понятия, широчайшим образом использовала их для агитации и пропаганды, для идеологического воздействия на массы. Иллюзорность и двусмысленность их абстрактного значения, питавшиеся целой системой риторики (или политической «мифологии»), затушевывали конкретное классовое содержание, что как нельзя лучше соответствовало интересам агитации и пропаганды. К самообману присоединялся обман. Эти лозунги пускались в ход всякий раз, когда нужно было, заручившись активной поддержкой широких мелкобуржуазных и пролетарских масс, бороться с влиятельными остатками феодализма, а с другой стороны, с помощью все той же мелкой буржуазии, — пледно парализовать движение пролетариата.

¹ См. Buchez et Roux, «Histoire parlementaire de la Revolution Française», t. XXVIII стр. 228 в сл.

² «Аграрные вопросы и силы революции». Собрание сочинений т. VIII, стр. 322.

По мере утверждения господства буржуазии выдвигался героический пафос разоблачающего ораторского слова, уплотнялась его политическая сущность. Если просветительная философия XVIII века обосновала (Гольбах, Даламбер и др.) лозунги «свободы», «равенства» и «братства», то она же устами Ламеттри провозглашала, что «Истина и добродетель — это вещи, имеющие ценность в той лишь степени, в какой они полезны тому, кто обладает ими... Но ведь от недостатка той или другой истины будет страдать общество и наука. Пускай,— но если я не лишу их этих выгод, то страдать от этого буду я. А для кого разум приказывает мне овладеть счастьем: для других или для себя?»¹

Эти слова — необходимая оборотная сторона той же медали, превосходный эпиграф к истории буржуазной науки и агитации. Голос буржуазии сорвался на самой высокой ноте.

Еще Бр. О'Бриен писал в газете «Защитник бедняка»:

«Теория капиталиста гласит, что он имеет право отнимать у рабочего из продукта его труда столько, сколько последний вынужден отдавать ему из боязни смерти. Если рабочий может произвести в день ценность в 30 шиллингов и прожить на 1 шиллинг, то капиталист думает, что имеет право на остающиеся 29 шиллингов. Так как только 1 шиллинг необходим для существования рабочего, то последний из опасения смерти должен отказаться от излишка в пользу капиталиста. Такова британская свобода. Эту власть грабежа и убийства в руках капиталиста называют свободой и утверждают, что рабочий столь же свободен, как и капиталист, так как он, если желает, может избавиться от грабежа — если только обречет себя на голодную смерть. Удивительная логика, благословенная свобода, счастливая, трижды счастливая страна!»²

В предисловии к переводу «Истории заговора Бабефа» Буонаротти (Лондон, 1836) О'Бриен замечает: «Одни хотели властвовать при посредстве церкви и постоянной армии. Другие хотят властвовать при посредстве денег, при помощи

¹ Lamettrie, «Discours sur le bonheur», стр. 218.

² Г. Шлютер, «Чартистское движение», Гвз, 1925 г., стр. 68.

оживого журнализма и вооруженных лавочников. Попы и штыки были орудием королевской тирании, маммон и продажная литература являются оружием для других.¹

Это был уже веский голос поднимающегося чартистского движения, когда отдельные представители радикальной интеллигенции становились — в той или иной мере — идеологами пролетариата. Со своей стороны, и первый немецкий социалистический писатель, вышедший из пролетариата, Вейтлинг, в «Гарантии гармонии и свободы» (1842) неминуемо обратился к критике основных буржуазных лозунгов.

«...Пусть кто-нибудь попробует писать в защиту бедных классов, он увидит тогда, что значит свобода — при господстве денег...» «Свобода слова, печати, промышленности, торговли, мнения и как еще они там фабрикуют эти названия — денежная система с радостью дает вам все это, в надежде этим обманом отвлечь вас от ваших интересов. Чтобы нас лучше надуть, они словом «свобода», «свободный» прикрашивают всякий обман...» (стр. 148). Таким образом Вейтлинг уже ясно указал, что буржуазия «фабрикует названия» с целью «обмана», чтобы отвлечь пролетариат от защиты его интересов. Другими словами, создает особую политическую фразеологию, но, как подчеркнули Маркс, Энгельс и Ленин, не случайную, а необходимо соответствующую классовой природе буржуазии, отражающую ее социально-экономическое бытие и политическую тактику. В том же сочинении Вейтлинг подверг анализу наряду с «свободой» и пр. лозунги — «отечества» и «демократии», исторически и логически теснейшим образом связанных с триединой формулой.²

¹ Г. Шютер, там же, стр. 67.

² Интересны и знаменательны слова К. Маркса (1844 г.), по поводу вейтлинговских «Гарантий гармонии и свободы», цитированные впоследствии Ф. Энгельсом: «Где могла бы (германская) буржуазия, включая сюда ее философов и литераторов, указать относительно эмансипации буржуазии — политической эмансипации — работу, подобную вейтлинговским «Гарантиям гармонии и свободы»? Если сравнить сухую и трусливую посредственность германской политической литературы с этим беспримерным и блестящим дебютом германских рабочих, если сравнить эти гигантские детские башмаки пролетариата

Маркс в речи «О свободе торговли» (Брюссель, 9 янв. 1848 г.) дал классический образец пролетарского разоблачающего стиля критикой знаменитых освободительных лозунгов буржуазии, ставших лозунгами охранительными:

«...Не позволяйте обманывать себя абстрактным словом свобода. Чья свобода? Это слово не означает свободы одной личности по отношению к другой. Оно означает свободу, которую капитал пользуется для угнетения рабочего. Зачем освящать свободную конкуренцию этой идеей свободы? Ведь эта идея свободы сама представляет собою продукт того порядка вещей, который основывается на свободной конкуренции. Мы показали, какого рода братство устанавливается свободной торговлей во взаимных отношениях различных классов одной и той же нации. Не более братскими свойствами отличалось бы и то братство, которое было бы создано свободной торговлей во взаимных отношениях различных наций. Только у буржуазии могла явиться мысль назвать всеобщим братством ко мopolитический вид эксплуатации»¹.

с кариковым размером стоптанных политических башмаков буржуазии, то замарашке придется предсказать в будущем фигуру атлета».

¹ К. Маркс. Речь о свободе торговли, Сочин. Маркса и Энгельса, т. V, 1929 г. (стр. 459—460). Сравни в «Ком. Манифесте»: «При современных буржуазных условиях производства под свободой понимают свободу торговли, свободу купли и продажи».

Интересно, что мелкобуржуазные и феодальные социаллисты и люди к ним близкие, — по своему, но с не меньшей энергией, обрушивались на эти формулы, усматривая в них «святая святых» буржуазной мысли и символ буржуазного господства. Критика эта по форме близко походила подчас на критику пролетарскую. Так, напр., Ф. М. Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях», в гл. VI, «Опыт о буржуа», говорит, что только слова Спенса, что «буржуа — это все», «только эти слова и осуществились из всех слов, сказанных в то время: они одни и остались». В самом деле: провозгласили вскоре после него *liberté, égalité, fraternité*. Очень хорошо-с. Что такое *liberté*? Свобода. Какая свобода? — Одинаковая свобода всем делать все, что угодно в пределах закона. Когда можно делать все, что угодно? Когда имеешь миллион. Дает ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который делает все, что угодно, а тот, с которым делают все, что угодно...» И далее Достоевский с несравненным полемическим ядом говорит о других частях формулы: о «равенстве» и «братстве». (Полн. собр. соч., изд. 4, т. III, с. 374).

Так началась грандиозная борьба с буржуазной риторикой, с «мифологией», освящающей буржуазный порядок вещей. По мере накопления и развития социальных противоречий капитализма, по мере углубления и расширения классовой борьбы пролетариата с буржуазией, покончившей с феодальными элементами или договорившейся с ними, эта борьба принимала все более решительный, острый и всеобщий характер. Буржуазно-демократические иллюзии, обманывание и самообманывание «отвлеченным словом свобода» сильнее всего идейно тормозили (и еще тормозят) борьбу пролетариата за освобождение. Именно поэтому В. И. Ленин с величайшей настойчивостью ниспровергал разоблачением знаменитую формулу, выдержавшую громадный агитационный стаж у буржуазии:

«Поменьше болтовни о «трудовой демократии», о «свободе, равенстве, братстве», о народовластии и тому подобном: сознательный рабочий и крестьянин наших дней в этих надутых фразах так же ловко отличает жульничество буржуазного интеллигента, как опытный житейски человек, глядя на безукоризненно «гладкую» физиономию и внешность «благородного человека», сразу и безошибочно определяет: по всей вероятности мошенник».¹

«Никакими фальшивыми лозунгами, никакими фетишами вроде «свобода», «равенство» нас не обманешь».²

«Спрашивайте:

— Равенство какого пола с каким полом?

— Какой нации с какой нацией?

— Какого класса с каким классом?

— Свобода от какого ига или от какого класса?

Кто говорит о политике, о демократии, свободе, о равенстве, о социализме, не ставя этих вопросов, не выдвигая их на первый план, не воюя против прятания, скрывания, загушевывания этих вопросов, — тот худший враг трудящихся».³

¹ В. И. Ленин, «Великий почин», Сочинения, изд. 1-ое, т. XVI, стр. 255.

² В. И. Ленин, речь на съезде по внешк. образам., 19 мая 1919 г., Сочинения, изд. 1-ое, т. XVI, стр. 225.

³ В. И. Ленин, «Советская власть в положении женщины», Сочинения, изд. 1-ое, т. XVI, стр. 363.

«Буржуазия выдвинула требование равенства прав всех граждан в борьбе с средневековыми крепостническими привилегиями.

..Но равны ли они по положению в общественном производстве?

Уничтожить классы — это значит поставить в с е х граждан в одинаковое отношение к средствам производства всего общества». ¹

Борьба против «прятанья, скрыванья, затушевыванья», против двусмысленности и иллюзорности, против искажающего реальные отношения и действительные факты неадекватного политического языка буржуазии, — с точки зрения проблемы ораторского стиля была и есть борьба против буржуазной риторики. А так как борьба пролетариата с буржуазией есть борьба за уничтожение классов, то борьба с буржуазной риторикой есть в то же время борьба против риторики вообще, как идеологического оружия классового господства, как «мифологии» классового общества.

DjVu — библиотека сайта
www.biografia.ru

¹ В. И. Ленин, «Либеральный профессор о равенстве», Сочинения, т. XVII, изд. 2-ое, стр. 242—3.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Чародей заговаривают змей, пауков, скорпионов и др. животных или болезни, а сочинители речей заговаривают и укрощают судей, депутатов и народную массу.

Платон. — Эстетик.

С эпохи Возрождения, открывшей античную культуру и с нею античную риторику и Цицерона — для того, чтобы по выражению Савонаролы «управлять душами», — ораторская практика и теория освобождались из-под власти теологии, извратившей их существо. Борьба буржуазии с феодализмом, возродившая политику и ораторскую речь, как форму ее проявления, сопровождалась идейным воспроизводством принципов античной риторики. Тени древнего Рима и Греции стояли у колыбели ораторской речи капиталистического общества. Но по мере экономического и политического роста буржуазия выучивалась говорить на политическом языке и создавала свою политическую теорию, свою науку об обществе. Эта наука, гораздо более достоверная и дифференцированная, нежели античная наука об обществе, говорила более адекватным языком, чем язык риторических принципов. Риторика не могла уже полноправно оставаться на роли суррогата теории политической борьбы, какой она была в античном обществе. В известной мере политическая теория продолжала все же существовать, как риторика. Но удельный вес риторических построений в науке об обществе неизмеримо снизился, по сравнению с античностью, когда заговорила политическая экономия и т. п. дисциплины. Теория ораторской речи в эпоху капитализма отрывается от риторики, унаследованной от схоластической науки, кото-

рая по существу и не могла ничего сказать об ораторской речи как о политическом жанре. Дисциплина, традиционно именовавшаяся риторикой, оставалась несравненно в большей степени связанной с риторикой средневеково-схоластической, чем с античной, и фигурировала в качестве всеобщей формально-догматической теории словесности, либо в качестве формально-догматической теории прозы в противоположность теории поэзии. Нескончаемые и бесплодные разногласия — с XVIII века — о предмете риторики, о ее границах и задачах носили философско-эстетический характер — подстать метафизическому покрову самой риторики. Ораторской речи отводилась глава — или отдел — наиболее традиционного характера из всех других отделов риторики. Здесь, приличия ради, формально пережевывался Квинтилиан, пропущенный сквозь геологический фильтр. Эта официальная риторика была сдана на попечение церковникам, филологам и эстетикам, т. е. отнесена к «воздушным» сферам культуры, как нечто отвлеченное, далекое от непосредственных практических интересов общественной жизни, от политической борьбы. Постепенно эта риторика, влачившая жалкое существование пережитка, утрачивала даже видимость права на существование. Из нее выделялись область за областью, отходя к науке о литературе, к логике, к психологии творчества, к эстетике, к лингвистике. Раздавались голоса самих филологов, например, в России харьковского профессора К. К. Фойгта в 1859 г., что риторика не имеет никакого другого предмета кроме словесного выражения, как формы, и должна быть общей формальной стилистикой. Фойгт утверждал, что ораторская речь, которая казалось бы останется бесспорным предметом риторики, на деле не может быть ее предметом, ибо ораторская речь должна естественно изучаться в той сфере знания, чье содержание она выражает¹. Фойгту не пришло только в голову, что риторика, о которой он толковал, была в последней степени пережиточной формой, идеологическим прахом когда то

¹ См. «Мысли об истинном значении и содержании риторики» К. К. Фойгта. Журнал Мин. Нар. Просвещения, 1856 г., ч. 89.

в античности — живой политической теории, от которой остался мертвый инвентарь номенклатуры. Инициатива действенной теоретической разработки вопросов ораторской речи отошла к политикам и юристам, т. е. как раз к практикам той сферы, которая рождала ораторскую речь. Они-то и ощущали потребность в теоретическом осмыслении реальной роли ораторской речи, ее социальной функции. Они, главным образом, и оказались творцами новой буржуазной риторики, именно риторики, как «идеологического воззрения» на ораторскую речь. Что касается церковников, то они — на Западе — стали перестраиваться применительно к новым риторическим нормам.

Но буржуазная риторика, как теория ораторской речи, воспроизводила на новой расширенной основе установки и основания античной риторики, которая старательно изучалась. Новые теоретики покорно повторяли основные положения, что ораторская речь рассчитана на убеждение слушателя, что она — орудие борьбы за мнения, характер ее — сугубо практический и т. д., или развивали частно-конкретные вопросы применительно к эмпирическим нуждам современной ораторской практики. Но высказывания этих теоретиков интересны именно как теоретическое осмысление своей ораторской практики, своей методологической стороной. Что касается философии, то она устами Гегеля высказала обще-принципиальную и руководящую точку зрения на ораторскую речь. Если Кант выступил как бы в роли Платона, то именно Гегель до некоторой степени сыграл в этом вопросе роль Аристотеля.

В своем «Курсе эстетики» Гегель писал:

«Ораторское искусство, с своей стороны, принадлежит к прозе по причинам практической цели, которую имеет в виду, для выполнения которой оно обязано во всем подчинять средства цели». ¹

«...Оратор обращается не только к нашему разуму; он должен производить на нас в некоторой степени убеждение.

¹ Ф. Гегель, «Курс эстетики», М. 1869, кн. II, отд. I, гл. 3, стр. 146.

А чтобы достичь этой цели, ему необходимо действовать на всего человека, на его чувствительность, воображение и пр. В самом деле основание его слов есть не просто отвлеченная идея предмета, которым он хочет заинтересовать нас, цель, к которой он сплится увлечь нас, но также большею частью какой-нибудь действительный определенный предмет... Истина... должна принимать чувственную форму и являться в живом образе. Итак, он не только должен удовлетворить рассудку строгостью своих выводов и доказательств, но и говорить нашему сердцу, возбуждать страсть, поражать воображение, он должен двигать и убеждать слушателя...»

«...Ораторская свобода в высшей степени подчинена закону сообразности с практической целью». ¹

«... У него (ораторства) есть другая цель, выше искусства, совсем посторонняя; всякая форма и развитие речи должны составлять для него только средство, самое действительное, чтобы осуществить интерес, стоящий вне искусства. В этом отношении слушатели не должны быть просто тронуты; но их движение, убеждение становится некоторым образом средством, употребленным для достижения цели, которую оратор вознамерился осуществить. Так что речь, вместо того, чтобы быть для слушателя и для оратора представлением, имеющим предмет в себе самом, есть только средство произвести в нем то или другое убеждение, ту или другую решимость, обязать его к такому или другому действию».

«...Цель поэтического создания есть только осуществление изящного и наслаждение им. Итак, цель и ее достижение находятся в самом художественном произведении, как полное в себе и через то независимое. Артистическая деятельность не есть средство для результата, поставленное вне ее; это есть цель, которая сливается с собственным своим развитием. В красноречии, напротив, искусство получает степень придаточную и пособляющую. Цель, собственно говоря, не принадлежит искусству: натура его положительная, практическая: учение, назидание, решение какого-нибудь юридического

¹ Ф. Гегель, «Курс эстетики», М. 1869, кв. II, отд. I, гл. 3, стр. 139.

случая, какого-нибудь политического вопроса и пр. Потому, когда результат предложен, дело должно случиться, решимость должна быть принята, но успех не будет единственно действием красноречия; он зависит от других условий». ¹

«По всем этим соображениям надобно искать идеи красноречия не в свободной поэтической организации художественного творения, но более в простой сообразности с целью. В самом деле, оратор должен быть очень внимателен к цели, из которой вытекает его сочинение, потом подчинить ей план со всеми частями, а это разрушает независимую свободу представления и ставит на место ее служение какой-нибудь определенной цели, не имеющей ничего артистического. Но в особенности, так как он посвящает себя практическому результату, то существенно должен принять в соображение место, где он говорит, степень образованности и понимания, нравы своих слушателей, чтобы не изменить приличия, тона в отношении лиц и местности и не потерять желаемых выгод. В этой зависимости от внешних условий и отношений ни целое, ни части не могут выйти из души, свободно артистической; должно проявиться простое согласие взаимной зависимости и сообразности с целью»... ²

Прежде всего бросается в глаза, что Гегель исходил из основных положений античной риторики. Задача оратора — убеждение.

Все средства оратора должны быть подчинены цели — склонить слушателей к выводу, решению. Он должен убеждать рассудок, двигать и поражать воображение (Гегель в точности воспроизводит цитероновскую формулу: *orator docet, movet et delectat*). Речь оратора ориентирована на определенного слушателя в определенном месте. Повторяется вристорелевское указание на ораторские средства эмоционального воздействия, однако без оговорки, важной для Аристотеля, что «в области ораторского искусства только доказательства обладают признаками, свойственными ораторскому искусству,

¹ Гегель, там же, стр. 142.

² Гегель, там же, стр. 143.

а все остальное — не что иное, как аксессуары», терпимые «вследствие нравственной испорченности слушателя». На этот счет Гегель не говорит ничего.

Далее Гегель настойчиво подчеркнул, что природа ораторского искусства «практическая: учение, назидание, решение какого-нибудь юридического случая, какого-нибудь политического вопроса».

И это указание целиком восходит к античной риторике, которая, впрочем, выражалась, как мы видели, прямее и смелее. Так, например, из определения риторики, как «умения хорошо говорить по политическим вопросам» прямо вытекает, что ораторская речь рассматривается как политический жанр языка. Этим всё сказано. И нет никакой нужды в подчеркивании «положительной практической природы» ораторского искусства. Но Гегелю нужно было объяснить ораторскую речь, исходя из принципов своей идеалистической эстетики.

Предметом искусства по Гегелю является прекрасное в себе и для себя. Искусство — это дух, свободно созерцающий свою сущность, очищенную от случайного наличного бытия, изменений последнего и внешних условий.

С этой точки зрения оказывается, что ораторское искусство собственно не искусство: «в красноречии, напротив, искусство получает степень придаточную и пособляющую». Ведь у ораторства есть «другая цель», форма и развитие речи лишь средство достижения интереса, стоящего вне искусства. Гегель очень тонко, хотя совершенно абстрактно, подметил структурные различия ораторской речи и художественного произведения (поэзии), но дал им метафизическое объяснение, исходя не из анализа социального генезиса и функции этих структурных черт, а из их имманентной природы, из их «духа»: поэзия «свободна», тогда как «ораторская свобода в высшей степени подчинена закону сообразности с практической целью» и т. п.

Определение, что ораторская речь есть речь, строящаяся сообразно с практической целью и во всем подчиняющаяся средства цели, — в сущности тавтология: объяснение только должно начаться. Но Гегель занят задачей сопоставления красноре-

чия с поэзией, как несвободы со свободой. Он видит зависимость ораторской речи «от внешних условий и отношений». Идеалистическая концепция искусства, как творения «души свободно-артистической», исключала зависимость поэзии от действительных условий и отношений общественной практики. Поэзия объявлялась изображением высшей действительности. Ораторство же пресмыкается на плоскости повседневного бытия, его случайности и внешних условий и отношений.

Отсюда вывод, что ораторство выражает искаженную истину, ибо подлинная действительность раскрывается в чистом искусстве, философии и религии.

Здесь сказалось идеологическое-высокомерие идеалиста по отношению к речевым формам, ближайшим образом выражающим общественные отношения и столкновение практических интересов. Здесь сказалась также вся сила иллюзии самостоятельного действительного бытия высоких идеологий — поэзии, философии, свободных от «внешнего интереса», от «внешних условий и отношений». Блестяще показав, что ораторство не есть «чистое искусство», Гегель выполнил самую легкую задачу, так как обоснование противного оказалось бы делом еще более безнадежным, чем обоснование поэзии как «чистого искусства».

Воззрения Гегеля на ораторскую речь оказали, после Аристотеля, огромное теоретическое влияние. Их применяли и варьировали на все лады. Прямо или косвенно, как только исследователи касались вопросов «риторического слова», они в точности исходили из выдвинутых Гегелем различий ораторства и поэзии.¹

¹ Вот примеры: Р. Майер приводит следующее определение америкальца Dobell'a: — поэзия есть выражение расположения духа по его собственным законам; риторика — по законам слушателя (R. Meyer, «Deutsche Stilistik», стр. 2). Ссылаясь на это определение, В. Виноградов пишет: «Если поэтика изучает структуру литературного произведения отрешенно от его «вишающих» и «убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к воздействию на слушателя.. то риторика, прежде всего, исследует в литературном произведении формы его построения по законам читателя». («О художественной прозе» 1930, стр. 99—100). Особенно разительно у Г. Шпета: «...Речь, лишен»

И это естественно. Гегель снова заострил проблему ораторской речи, как агитационной. Отказав ей в высоком достоинстве слова поэтического, он, однако, в противоположность Канту, отнюдь не осудил ее. Кант наговорил по ее адресу много «нефилософских», грубых, неприятно-откровенных вещей. Гегель не разрешил себе ничего подобного. Он остался под сенью «бесстрастного» философского языка. Более того, он философски санкционировал ораторскую речь, определив ее задачу и сферу существования. При этом он твердо определил, что форма и развитие речи — только средства для осуществления интереса, стоящего вне искусства, что достижению практической цели оратор должен подчинить все средства, хотя при этом «разрушается независимая природа представления», что оратор должен применяться к аудитории, чтобы «не потерять желаемых выгод», и т. д. Кроме того Гегель вменил в задачу оратора не только «удовлетворять рассудку», но «возбуждать страсть» и «говорить сердцу», т. е. пользоваться средствами эмоционального воздействия. Все это средства убеждения, которыми оратор достигает цели, «стоящей вне искусства». Но искусство — это раскрытие истины, подлинной действительности и не имеет внеположной цели. Оно — безотносительно. Ораторское же искусство служит практике, т. е. «временной и несвободной копии идеи», выражает явления «случайного наличного бытия». Оратор служит «практическому результату». Ораторское выражение зависит поэтому от «внешних условий и отношений», оно несвободно.

Тем самым ораторское выражение — форма и развитие речи — из самоцели — раскрытие истины — становится сред-

ная поэтической души, внутренней поэтической формы, не имеет и внешне подлинного поэтического вида, а лишь квази-поэтический. Это речь риторическая. Ее намерение — не поэтическое воздействие и ее строение всецело определено внешними формами: «план» на место композиции, «авантюра» на место «образа», фантазии, голая «возможность» («случай», «вероятность») на место реализуемой идеи, «мораль» и «проповедь» на место правды и т. д. («Внутренняя форма слова», М. 1927, стр. 92).

ством. Цель полагается вне искусства: «произвести то или иное убеждение».

Это были основания буржуазной риторики, выраженные на языке гегельянской философии. Фактически они означали философское оправдание действительной ораторской практики. Эта практика, говорившая политическим языком, хорошо умела пользоваться всеми возможными «средствами» для достижения «интереса», который в действительности понимался гораздо грубее и конкретнее, чем у Гегеля. Все же возможные ораторские «средства» суть все доступные «средства» ораторского воздействия, практически мыслимые. Гегель санкционировал разделение речи, как выражения подлинной действительности, и речи, как агитации (средство достижения «интереса»).

Таким образом героем ораторской речи снова как в античной риторике является не столько раскрытие истины, сколько убеждение. Поэтому и новая буржуазная риторика учит «средствам убеждения», действенным с точки зрения практического результата. Эти «средства» в системе риторики неизбежно приобретают иллюзорную самостоятельность. И так как ораторская речь есть выражение политической борьбы, которая субъективно осмысливается как борьба идей, то «средства» убеждения наделяются иллюзорным существованием в качестве некоей технической силы, которой пользуется оратор в борьбе наподобие оружия в руках воина или даже армии в распоряжении полководца. Эти «средства» или «приемы» доставляют оратору победу.

На всем протяжении истории нас встречают аналогии оратора с воином, ораторского искусства с военным делом. Ораторам свойственен взгляд на ораторское действие как на своего рода военные действия. Один из самых ярких примеров — Фердинанд Лассаль. О своей агитации за германский рабочий союз он говорил военным языком.

Он писал Родбертусу 15 окт. 1863 г.:

«Берлин должен быть моим; прежде чем пройдет еще 6 месяцев, я подвергну его осаде...»

Перед поездкой во Франкфурт на Майне (1863 г.):

«...Я должен отправиться туда и должен победить. Это мне необходимо. Все до единого человека настроены там против меня... Но я все поставлю на карту. Буду потрясать своей старой революционной гривой...»

«...Во Франкфурте я должен буду совершенно один сражаться против старья...»

После поездки:

«Я разбил прогрессистов в двухдневном бою...» и т. д.¹

Военная аналогия имеет реальные основания в полемической природе ораторской речи.

Будучи идеологическим орудием борьбы, ораторская речь рождается из конфликтных общественных отношений, из противоречий, как форма социального спора, выражение несогласия интересов. Ораторская речь структурно отражает противоречия общественной жизни. Она полностью полемична, как порождение конфликтного общения. Эта полемичность выражается в противонаправленности ораторской речи, в том, что почти любой ораторский смысл есть дуальный выпад, нападение на враждебный смысл, точку зрения, убеждение, вывод. Понять организацию ораторской речи можно, только исходя из учета идеологического плана, которому она противопоставлена.

Полемические выпады, намеки, уловки, образы, гиперболичность, ирония, умолчание и в особенности категоричность оценочных суждений, контрастная резкость формулировок, фигура антитезы и другие классические ораторские «средства» оформляют речевой контр-план, противовес, который не может быть полностью раскрыт без сопоставления обоих смысловых планов, одного как позитивного, а другого как негативного, одного как тезиса и другого — как антитезиса.

Незнание того смыслового плана, часто определенной речи, которой противопоставлена данная ораторская речь, лишает нередко возможности понять аргументацию натиска или защиты, специфичность данной ораторской структуры, — до

¹ «Lriefe von F. Lassale an Rodbertus», Jagetzow, B. 1878, стр. 45. 47 и др.

В полемическом диалоге, при споре, противоположные, во всяком случае несходные, смысловые «партии», прикрепленные каждая к своему носителю-собеседнику, так переплетаются в процессе реплицирования, реализуются столь скачкообразным и перемежающимся путем, что целостный смысл каждой из них раскрывается лишь в процессе двустороннего воздействия. Смысловое движение в своем развитии теснейшим образом связано с противоречивым смысловым движением.

Оно лишено самостоятельной последовательно целостной речевой организации, потому что каждая реплика в диалоге логически соотнобразуется с полученной и ожидаемой репликой.

Не то при монологическом споре. Здесь выступает сложная, непрерывно-целостная и планарная организация противонаправленного смысла. Оратор строит речь как длительное «одностороннее» воздействие. Но именно поэтому ораторская речь приобретает особые черты полемической экспрессии, аргументативной структуры.

В диалоге каждая реплика — немедленный ответ, удар по противной стороне, на который следует контр удар. Полемическая сила — острота спора — внешне выражается в идейном скрещении противоречивых реплик, в тесноте и частоте их столкновения, в немедленной и непосредственной речевой реакции. В этом смысле диалогический спор интензивен. Монологический спор гораздо экстензивнее. Оратор строит речь, как смысловой контр-план, целостно-противопоставленный смысловому плану противной стороны. Оратор организует движение речи, как длительно и сложно развернутую реплику, отталкиваясь от предполагаемого или наличного враждебного смысла. Но движение его речи выходит за пределы разрозненных прямых возражений, составляющих содержание поле-

торская речь первоначально из речевого действия религиозного характера — обращения жреца к «божеству», заклинаний и волхвований, причем, так как «божество» естественно молчало, то за него «договаривал» жрец; возникает «односторонний» диалог как монологическое единство реплик.

мического реплицирования и носящих более отдельный и частный характер. Как частный случай, мы наблюдаем ораторскую речь, остающуюся в пределах только расширенной реплики, например в парламентской практике. Однако для ораторской речи характерна не «голая полемика», но развитие повествования, аргументации, общих оснований и обобщающих выводов. В полемическом реплицировании обычно слиты моменты критики противной точки зрения и обоснования собственной. В ораторской речи они в известной мере дифференцируются (отсюда термины античной риторики *probatio* и *refutatio*, обозначающие композиционные части ораторской речи).

Таким образом, конструируясь в монолог, ораторская речь осложняет противонаправленность смысла в диалогической полемике. И если спор в непосредственном общении тяготеет к диалогу с его интенсивностью и быстротой обмена, то при «одностороннем» длительном воздействии — в монологе — в условиях публичного взаимодействия резко выступают явления внутримонولوجической диалогизации. Эти явления не что иное, как выражение полемической структуры ораторской речи, как признак диалогической остроты столкновения смыслов.

Но явления внутримонولوجической диалогизации имеют более глубокие корни. Диалог есть единство двусторонних реплик. Движение смысла реализуется их диалектическим столкновением. Так всякий ответ выступает как снятый вопрос. Всякий ответ есть в то же время новый вопрос, который снимается новым ответом («ответ на ответ»). Диалог есть собственная форма проявления диалектики языка, как средства общения, обнаружение сообщающего взаимодействия. Монолог — единство «односторонних» реплик (смысловых компонентов речи), и движение смысла реализуется их внутренним диалектическим развитием. Сложность монолога, как специфической формы языка идеологии, воспроизводит в новом качестве речевую структуру диалога. В известном смысле — монолог есть внутренний разговор или спор. Монолог есть снятый диалог. Диалогическому реплицированию —

вопрос — ответ, ответ — вопрос в монологе соответствует период, абзац, параграф и т. п. Внутримонологическая диалогизация композиционно обнажает монологическое «реплицирование», движение смысла в монологе. Если процесс монологизирования был процессом развития речи, как формы идеологии, то внутримонологическая диалогизация развилась как обнаружение монологического движения, в виде снятой формы диалога в монологе. Уже у древних философов и ученых (философские и пр. «диалоги») диалогизация монологической формы выражала противоречия смыслового движения в монологе, в качестве явления стиля дидактической и полемической речи, дидактической и полемической композиции. Это движение оставалось иллюзорным в той мере, в какой диалектика оставалась софистикой.

В катехизисе, как речевой композиции догматических иллюзорных смыслов, внутримонологическая диалогизация — вопросно-ответная форма изложения — была внешне-формальной заменой внутреннего смыслового движения, служила иллюзией смыслового развития с его противоречивыми расчленениями, связями и отношениями. Диалогизация была средством оживления катехизиса, как единства, — этой неподвижной иерархии понятий, соответствовавшей социальной иерархии и хозяйственной неподвижности феодального общества.

В ораторской речи внутримонологическая диалогизация выступала в качестве иллюзорного выражения смыслового развития, формального движения полемики в той мере, в какой политическое освоение действительности оставалось неадекватным. Но внутримонологическая диалогизация в сознании риториков — это «средство убеждения», как таковое; оно формализовалось, поступая в арсенал прочих риторических «средств». Лишь в диалектико-материалистическом стиле явления внутримонологической диалогизации, на ряду с другими явлениями ораторского выражения, приобретают подлинную выразительность. Они выступают здесь в своем высшем качестве средства выражения научной диалектики развития смысла, адекватного действительности.

Явления внутримонологической диалогизации в ораторской речи многообразны. Прежде всего это — риторический вопрос, который не нуждается в ответе, ибо снимает сам себя. Примеры излишни — их сколько угодно. Какова ораторски-полемическая функция риторического вопроса? По определениям риториков это средство нападения на противника или апелляции к аудитории (античные риторы скажут: «средство возбудить ненависть и сострадание»). Риторический вопрос это внутримонологическая реплика в снятом виде, сигнализирующая спор с противником или «разговор» с аудиторией. Риторическая фигура обращения близка по своей выразительной природе к риторическому вопросу; в сущности последний — частный случай фигуры обращения, но с большим смысловым весом, нежели случай формального обращения, как сигнала коммуникации.

Осложняясь, риторический вопрос конструируется в ораторской речи в вопросно-ответный ход, причем ответ на вопрос может выступить также в форме вопроса. Так возникает ряд риторических фигур, именуемых в античной риторике «гипофора», «антифофора», «ипокаталепсис». Их риторическая функция — нападение на противника для опровержения его мыслей. Оратор задает противнику вопрос и дает на него ответ или предупреждает возражение противника с целью его опровергнуть и т. п.¹ Здесь выступает уже оформленный внутримонологический диалог, как обнажение полемической диалектики. Речь драматизируется. Появляется образ противника. В ораторскую речь вводится полемическая мишень. От имени противника, который в полемической речи часто персонифицирован или назван, формулируются смыслы, подлежащие опровержению и разоблачению, и им противопоставляется с антитегической остротой выражение точки зрения говорящего. Антитеза выступает не только как композицион-

¹ Литературу — оригинальную и комментаторскую, старую и новую — относительно тропов и фигур, учение о которых подробно разработано в античной риторике в качестве существенной части последней, — смотри например, у Volkmauna, «Die Rhetorik der Griechen und Römer»... В. 1885.

ное выражение формально-логического противопоставления смыслов в монологе, («правильных» и «неправильных», «своих» и «враждебных» и т. д.), но и в качестве выражения внутренне-противоречивого движения смысла, ограждающего противоречия действительности. Антитеза — стилевое выражение застывшего момента диалектического антитезирования. Это выражение может быть в разной степени иллюзорным (софистическим), формально-логически ограниченным. Лишь диалектико-материалистический речевой метод поднимает антитезу до адекватной выразительности, преодолевая смысловую ограниченность и неподвижность, формально-логическую механистичность противоречий.

Пolemическое движение речи представляет собою снятие, хотя бы иллюзорное, тезиса противника через антитезис, полагаемый оратором. Развернутая фигура антитезы выражает становление антитезиса. Не только явления внутренней диалогизации, но и аналогия, сравнение, параллелизм и пр. суть речевые способы снятия тезиса противника через становление антитезиса: эти способы приобретают различное качество в различных стилях.¹

Снятие тезиса противника и разрешение противоречий нередко получает результирующее окончательное выражение в форме альтернативной антитезы: или — или, содержанием которой является вывод (или выводы) из аргументации оратора, из анализа положения вещей. Но эта альтернативность мнимая, ибо выбор уже дан в качестве вывода, а не задан оратором.

Выбор решения исключается всем смысловым движением речи.

Приведу теперь конкретный материал, иллюстрирующий явления внутримONOлогической диалогизации как обнаружение полемической природы ораторской речи.

В речи, произнесенной в 349 г. древней эры, Демосфен, агитируя за войну против Македонии в связи с нападением

¹ Antithesis в риторике значит вообще возражение со стороны обвиняемого, противопоставляемое обвинению, опровержение этого возражения обвинителем называется *metalepsis* — и т. п.

царя Филиппа на союзный афинянам Олиф, сказал между прочим следующее:

«Наконец, не забывайте, граждане афинские, и того, что вам дается теперь на выбор: или самим вести войну далеко отсюда, или он здесь будет воевать против вас. Если Олиф устоит, вы будете вести войну вдали отсюда и будете разорять страну неприятеля, спокойно возделывая эту землю, вам принадлежащую, вашу собственную. Наоборот, если Олиф будет захвачен Филиппом, кто задержит его движение к нам? Фивяне? Да они сами вторгнутся с ним вместе, как ни горько вам слышать это. А фокидвие? Но они без вашей помощи не способны были защитить собственную страну. Или какой другой народ... Однако, скажете вы, он сам не захочет. Всего менее вероятно, чтобы он не сделал этого тогда, когда получит к тому возможность, если он похвалится идти на нас теперь, не боясь прослыть безумцем. О том, что выгоднее для вас: воевать ли здесь, или в тех местах, я не считаю нужным и говорить»¹.

«Как же это так?», спросите вы. «Неужели ты вносишь предложение обратить зрелищные суммы на военные нужды?» — Ничуть, избави бог. Я говорю только, что нужно создать армию, что для войска нужны деньги... а вы думаете, что деньги нужно получать даром, без трудов, на празднества; в таком случае...» и т. д.².

В «Третьей филиппике», произнесенной в 341 г.:

«Пока еще судно может быть спасено, велико оно или мало, все до единого должны заботиться о нем: матросы, кормчий и другие, без различия, должны наблюдать за тем, чтобы кто-либо со злым умыслом или невольно не потопил его, но все заботы напрасны, как только море поглотит судно. Так и нам, граждане афинские, что надлежит делать, пока мы дела и неиредимы, пока владеем могущественнейшим государством, богатейшими средствами, громкой славой? На-

¹ Первая олифская речь, §§ 25—27. «Речи Демон фева», перевод Ф.

¹. Мищепко. М. 1903, стр. 9.

² Тян же, §§ 19—20, стр. 7.

верное многие из здесь сидящих давно уже хотят задать мне этот вопрос. И я дам ответ, внесу и предложение с тем, чтобы вы, если угодно, утвердили его»¹.

Дантон говорил в Конвенте 10 марта 1793 года по поводу внешнего положения республики: «Хотим ли мы свободы? Если нет, то нам всем остается погибнуть; если хотим, то все пойдем на фронт, раз это необходимо. Рассмотрим наше политическое положение... и т. д.». В речи 5 апреля 1793 г. по поводу организации Революционного трибунала: «Я спрашиваю вас, хотите ли вы избежать кровавых расправ, вызываемых народной мстью... (возгласы прерывают оратора). Если вы кроме того хотите показать себя сильными и грозными в отношении врагов народа, предлагаю дать ему трибунал»...²

Выше было замечено, что внутримONOлогическая диалогизация, т. е. явления монологического реплицирования приобретают высшую выразительность в пролетарском ораторском стиле. Характерно, что «Коммунистический манифест» был первоначально набросан в катехизической форме, несмотря на то, что этот способ изложения, казалось, был традиционно закреплён теологией. Ф. Энгельс писал К. Марксу 24 ноября 1847 г.: «Теперешняя форма не годится, потому что тут сообщаются исторические сведения. Я привезу с собой здешний, который написал я, он выполнен просто в повествовательной форме, но его надо проредактировать, потому что написан он наспех. Я начинаю: Что такое коммунизм...» и т. д.³

Но легко заметить, что повествовательная форма, которую принял «Манифест» в окончательной редакции, в высшей степени насыщена явлениями внутримONOлогической диалогизации: ввным реплицированием полемического характера и репликами скрытого типа. Наконец, каждый абзац «Манифеста» — с чрезвычайным искусством отмечает этап диалектического развития смысла; каждый абзац — внутренняя реплика, звено в столкновении и снятии прогворечий. Диалектика

¹ Там же, «Против Филиппа третья речь», §§ 69—70, стр. 177.

² Дантон, Избранные речи, 1924. (в подлин. см. Fribourg, «Discours de Danton», P. 1910).

³ К. Маркс и Ф. Энгельс, «Письма», 1928, стр. 35.

выражения, как формы, получает здесь действительное, а не иллюзорное качество или же, иначе говоря, сущность выражения обретает свойственную ей выразительную форму; выражение становится адекватным.

Из риторической «фигуры мысли» внутримONOлогическая диалогизация, в различных ее формах, превращается в диалектико-материалистическом речевом стиле в способ выразительного изложения научно освоенной действительности. Этот способ выразительно конкретизирует, расчленяя на звенья, реальное смысловое движение и заостряет действительные противоречия — отсюда его полемическая и дидактическая роль. Яркий пример исключительной роли внутримONOлогической диалогизации в ораторской речевой композиции — «Напутственная речь агитаторам» Володарского, произнесенная этим замечательным «профессиональным агитатором», как он сам себя назвал, 13 апреля 1918 года, перед слушателями агитаторских курсов при Петроградском Совете. Эта речь одновременно — анализ текущего политического момента и ораторская инструкция агитаторам, указание, о чем и как говорить, — одновременно инструктивная и агитационно-полемическая речь. Именно поэтому в ней с особенной двойной силой выступили явления внутримONOлогической диалогизации вместе с явлениями антитезирования, как основная форма выражения.

Анализ и оценка политической действительности, ее противоречий, — движущих сил пролетарской революции и сил противодействующих — даны в последовательно развернутой полемике с врагами (меньшевики и эсеры). В речи раскрывается картина спора — происходит последовательное снятие сформулированных самим оратором или цитируемых реплик противника (снятие не формальное только, а по существу) в процессе противопоставления «тезису» противника «анти-тезису» оратора. Центральная магистраль спора и главный тезис речи полемически-заостренно выражены — в финале — следующим образом:

«Меньшевики и эсеры говорят: вернитесь к хозяевам, к капиталистическому хлеву. А мы отвечаем: если вы по этому

хлеву соскучились, мы вас не держим, а для нас есть один путь: через препяствия, через ухабы, через бугры, делая ошибки, мы все таки пойдем вперед по тому пути, по которому шли, и дойдем до полной победы».

Это — заключительный полигический вывод из анализа движущих противоречий действительности, вывод, который выражен как преодоление враждебного вывода, его разоблачение и опровержение. Таким композиционно-выразительным методом построена вся речь. Приведу только один пример блестящего по точности и ясности полемического выражения хода диалектико-материалистической аргументации, организованного путем внутримONOлогической диалогизации и антитезирования.

«Буржуазная пресса, оборонческая пресса, меньшевистская пресса всюду пищет: Брестский мир — это конец России. России нанесен смертельный удар, ей больше не выжить. Мы отвечаем: безусловно, совершенно верно. Россия помещичья, буржуазная Россия, царская Россия, соглашательская Россия умерла. Но она умерла не в Бресте, а еще 25 октября, когда мы свергли Керенского. Уже тогда ваша Россия умерла. Но наша Россия, Россия Советская, трудовая, рабочая, крестьянская, не только не умерла, но, несмотря на всю тяжесть положения, в котором она находится, мы утверждаем, что она имеет возможность подняться»¹.

Социальная практика показывает, что полемический монолог при непосредственном речевом общении легко переходит в диалогическое речеведение — «разговор» оратора с аудиторией — обычно конфликтного характера, когда атмосфера накалена политической борьбой. Здесь мы имеем явления монологизирования диалогической речи, т. е. диалогическая реплика приобретает функцию монолога (вероятно генетически это сравнительно позднее и вторичное явление в развитии речи). Такой диалог обладает, конечно, качеством ораторской речи, языка идеологии. С точки зрения ораторской практики обмен диалогическими репликами — «средство» немедленной обороны или атаки; это признак крайнего обострения

¹ Володарский, «Речи». Гвз 1920.

полемики, конфликтного речевого взаимодействия. Здесь-то в особенности обнаруживается «полемическое искусство», «находчивость» оратора, проверяется владение средствами достижения «успеха», выражаясь риторическим языком.

В парламентской практике и в практике митингов, съездов и конференций ораторский диалог — частое и иногда регламентированное явление. В английском парламенте министры отвечают на вопросы, задаваемые отдельными депутатами. Уже по форме выражения — строго-традиционного характера — эти реплики носят характер публичного языка идеологии, отличный от языка бытового общения. Примеры у всех читателей газет перед глазами. Приведу образец парламентского диалога в мае 1931 г. между депутатом Остином Чемберленом и премьером Макдональдом. Консервативный депутат спросил, что думает предпринять правительство против усмотренного Чемберленом «вмешательства» СССР «во внутренние дела Британской Империи». Не удовлетворившись ответом, Чемберлен спросил:

Чемберлен: «Не следует ли понимать что Макдональд не намерен предпринимать никаких мер и не производить никакого обследования в связи с указанными сообщениями».

Макдональд: «Нет, я надеюсь, что мой distinguished друг не сделает такого вывода. Подобные сообщения тщательно изучаются с тем, чтобы в случае, если это будет целесообразно, могли быть приняты соответствующие меры».

Чемберлен: «Остается ли в силе заявление, сделанное Макдональдом и подтвержденное министром иностранных дел, что правительство не потерпит никакого вмешательства в наши внутренние дела со стороны этих организаций как в Англии, так и в любой другой части империи, и будет ли правительство поступать согласно этой декларации».

Макдональд «Да, distinguished джентльмен может всегда предполагать, что правительство является реалистическим правительством. (Знаки одобрения и пр.). (Тасс) ¹.

¹ «Известия ЦИК Союза ССР» от 16 мая 1931 г., № 133.

В английском парламенте обычны случаи, когда в беседе с министром ввязывается сторонник правительства, который в форме вопроса к министру излагает возражение оппонентам министерства, возражает возражателю. Вопросы, обращаемые к министрам, есть форма агитации и контрагитации, форма полемики между партиями. Вопрос, задаваемый правительству сторонником последнего, есть форма предупреждения и парирования возражений противника. Здесь обнажается условность речевых форм общения в парламентской функции языка, как формы политической идеологии.

Во французском парламенте допускается в известной мере перебивать оратора репликами, которые разрастаются иногда в целую ораторскую речь. Основной оратор выслушивает; затем отвечает на реплику и продолжает далее свою речь. Так, например, радикал Эррио прервал речь коммунистического депутата Марсея Кашена в заседании палаты депутатов 24 декабря 1929 года:

Эрри о: Разрешите мне вас прервать.

Кашен: Пожалуйста.

Эрри о: Вы продитировали... и т. д.

Эррио произнес небольшую полемическую речь, после чего Кашен продолжал свою, начав с ответа на речь Эррио.¹ Эта речь Кашена, в которой коммунистический депутат заданя целью опровергнуть клевету на СССР, систематически прерывалась замечаниями, возгласами и вопросами с мест, носившими одновременно характер обструкции оратору и антисоветской агитации. Обструктивная функция, осознанная или неосознанная, диалогического реплицирования в публичном собрании — ограничивается или пресекается председательской властью, управляющей порядком, организацией речевого обмена, а в буржуазно-парламентской практике управляющей нередко и дезорганизованной обмен в политических интересах «большинства» — собственным ли вмешательством, прерывающим речь оратора, или покровительственным отношением к обструктивным вмешательствам «с мест». Однако,

¹ М. Кашен, «Против клеветы на Советский Союз», ГИЗ, 1930.

полная анархия обмена — словесная драка, «галлеж», полная «свобода» в этом смысле есть полное отрицание публичного речеведения, и поэтому порядок речеведения — обмена — регламентируется на известных условиях. Так, например, публичный характер речи корректируется требованием, чтобы речь была обращена, хотя бы формально, к собранию, а не к отдельным личностям; это есть защита монологической формы обмена.

Председательствующий в Государственной Думе обращается к оратору:

Председательствующий: Член Гос. Д. Булат, я вас прошу не отвечать на вопросы, которые вам ставятся с места, из этого завязывается беседа и не получается вовсе речи, обращенной к Гос. Думе.¹

Наказ Государственной Думы не допускал обращения оратора к отдельным членам собрания.

Вернемся теперь к аналогии ораторской речи с военным делом. То, что было сказано о полемической природе ораторской речи в связи с явлениями внутримонологической диалогизации и антитезирования, должно послужить частичной иллюстрацией, какого рода речевые факты питали риторическую точку зрения. Питали убеждение, что речевые выразительные формы («фигуры словесные», «фигуры мыслей» и т. п.) существуют сами по себе, в абстрактном виде, как некие реальности, и «служат» оратору, как солдаты полководцу, «добывая» ему победу. Так культивировался фетишизм словесного выражения, в известной степени подобно товарному фетишизму. Риторика выступала как ораторская алхимия, снабжавшая оратора редепгурой политического успеха.

В переписке Цицерона имеются места, которые, несмотря на шуточный тон выражения, с необычайной яркостью демонстрируют в классической форме риторическое воззрение на слово. Рассказывая в письме из Рима к другу своему Аттику

¹ Стен. отчеты Гос. Думы, III созыв, сессия I, засед. 66, 13/V 1908 г. стр. 652.

о том, как он в присутствии Помпея и в пику Помпею произнес речь, после Красса, о политических достижениях, заслугах своего консульства, Цицерон говорит: «Этот день меня крепко соединил с Крассом...» «Я же сам — милостивые боги — как я тут растщеславился, пустил пыль в глаза новому слушателю Помпею. Если когда-нибудь с избытком послужили мне периоды, модуляции голоса, энтимемы, риторические украшения, то именно на этот раз. Что больше? — Крик! Ибо это были общие положения (*hypothesis*) о неизбежности порядка, о единодушии сословия всадников, о единстве Италии, об исчезнувших остатках заговора, о дешевизне и спокойствии жизни. Ты уже знаешь, каков в этом предмете звон моего красноречия: он был столь велик, что, скажу коротко, даже отсюда (т. е. из Афин), я думаю, был хорошо слышен...»

В другом письме к Аттику Цицерон говорит о книге своих речей: «Моя книга извела весь ящик с духами Исократы (*Isocrati myrothecium*) и даже ларчики его учеников, не оказавшись также и от аристотелевых риторических украшений (*pigmenta*)»¹.

Точка зрения Корнелия Цельса, которую я уже приводил, цитируя Квинтилиана, что «не сознание правоты, а победа в споре является наградой оратору», — была цинично-откровенным выражением объективной подоплеки всех риторических воззрений, вплоть до Гегеля и, как увидим дальше, до наших дней. Риторика подходила к слову не с познавательным критерием, а с формально-функциональным. Абстрактная функция «успеха», которая для раторов была суммированием множества частных формально-эмпирически наблюдаемых функций, определяла речевое качество. Вопрос о качестве — прежде всего это вопрос достижения «успеха». Но «успех» есть успех оратора. Аудитория — страдательная сторона; она интересуется риторикой с точки зрения чувствительной среды, на которой проверяется ораторский успех. Абстрактному оратору (оратору «вообще») противостоит абстрактная аудитория с абстрактными призна-

¹ «Ciceronis Scripta... omnia», part. III, vol. II, Lips. 1870. «Epistolarum ad Atticum», lib. I, ep. 14; lib. II, ep. I (стр. 15—16; 35).

вами, а если признаки конкретизируются, то под углом зрения корректирования ораторских средств для достижения «успеха». Знание аудитории необходимо оратору, как знание шахматной доски и условий игры шахматисту. Ораторский же «успех» есть успех индивида. Цицероновское замечание, что красноречие — путь к достижению высших ступеней почета, в сущности отражает «душу» риторики. Риторика видит и знает одного оратора. Она заботится о «единственном и его достоянии». Оратор борется с противниками, и аудитория — добыча победителя в качестве «укрошенной гидры».

Риторические споры о методе выражения носили и носят технически-формальный характер обсуждения приемов борьбы с точки зрения их тактической целесообразности. Бесчисленные «руководства» нового времени, «наставления», «советы» ораторам еще менее оригинальны, чем философские обоснования ораторской речи. И здесь они покорно повторяют античность, не уступая ей ни в количественном, ни в качественном отношении.

Вот классический образец обсуждения вопросов ораторской речи, спора о методе аргументации.

Плиний Младший, оратор-адвокат, писал Корнелию Тациту: «Как-то раз, когда мы были вместе, Регул мне сказал: — Ты считаешь нужным подробно говорить обо всем, относящемся к делу, — я же тотчас смотрю: где у него горло, чтобы схватить за него. — И в самом деле сожмет его, если верно выберет; — но ведь часто ошибаются, — отвечал я: — может статься, что то место, где ты предполагаешь горло, на самом деле — колено или лодыжка. И я, — не умеющий точно определить где горло, — поэтому все исследую (*per tento*), все испытываю, анализирую все обстоятельства дела». ¹

Таким образом, вопрос о методе аргументации разрешается с точки зрения индивидуальной сноровки оратора, как бойца, его личных качеств и убеждений, как вопрос его техники.

¹ C. Plini Caecili Secundi Epistolarum libri novem... rec. H. Keil, Lips. 1892.—Lib. I, ep. XX (стр. 18). Письма Плиния представляют вообще большой интерес для исследователя ораторской речи.

Немецкий юрист К. Миттермайер писал о судебной защитительной речи: «Изложение дела в юридической практике может быть двоякого рода. 1. Оно может содержать одну истину без всякого отношения к личному убеждению и без особенной цели достигнуть известного результата, так что излагающий говорит только о том, что он считает совершенно достоверным, имея в виду, чтобы его изложение служило для всестороннего открытия истины, как, напр., в докладах, приговорах, донесениях. 2. Излагать дело может лицо, преследующее какую-либо одностороннюю цель, желающее достигнуть известного решения и представляющее только те доказательства, которые соответствуют его цели. При изложении второго рода искусство тем более важно, что оно научает излагающего представлять лишь то, что соответствует его цели, излагать все, что может вести к ее достижению...»¹

С этими высказываниями нужно сопоставить замечание Цицерона: «Величайшее из достоинств оратора — не только сказать то, что нужно, но и не сказать того, что не нужно».²

Наивное, но характерное для буржуазного учебного мнения о «всестороннем открытии истины» в докладах, приговорах и донесениях лишь подчеркивает точку зрения на ораторское искусство, которое «научает излагающего представлять лишь то, что соответствует его цели» — Миттермайер — голос в общем хоре, он повторяет Гегеля более практическим языком. Ораторское изложение тем, что оно служит «особенной цели» и «личному убеждению» (софисты говорили откровеннее: личному интересу), уже отличается от изложения, «содержащего истину». На языке риторических рассуждений Миттермайер воспроизводит приведенное выше философское рассуждение Ламеттри, как Ламеттри — воззрения софистов. Личное убеждение или личное желание, преследование оратором его односторонней цели, — то, что речь идет об ораторе, как

¹ К. Ю. А. Миттермайер, «Руководство к судебной защите» М. 1863. стр. 143. Подчеркнуто мною В. Г.

² Ciceronis De Oratore, lib. II, § 296, стр. 128.

обособленном индивидууме, — все это является отражением действительного бытия общества всеобщей конкуренции, анархического производства, столкновения личных интересов, царства «частной инициативы», т. е. общества буржуазии, класса синдивидуалистического по преимуществу».

Понимание ораторской речи, т. е. речи, ближайшим образом выражающей политику, жизненные интересы класса, — не могло не облечься у буржуазии в одеяния индивидуализма.

Риторы капиталистического общества, как и риторы античного общества, видят общественно-классовую борьбу в ее ораторском выражении, как борьбу «всех против всех», как ораторскую дуэль индивидуальных противников, как победу и поражение личностей. Кто силен, тот и прав. Истина в победе.

Глубокий смысл аналогии риторики с военной теорией заключается в том, что риторы, как и военные специалисты эксплуатирующих классов, полагали, что они могут и должны изучать «войну как войну», военные действия, как «чистую форму», как средства победы, безотносительно к социальному содержанию войны, независимо от ее политической сущности.

Риторический техницизм остался мистифицированным продолжением политики.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Когда не можешь возразить
по существу, то отделивайся
словами.

В. Г. Гамильтон.

Парламентская риторика, как руководство для ораторской практики, появилась в классической стране парламентаризма — в Англии. В 1808 году вышла в свет небольшая книга члена палаты общин и 6. государственного секретаря Ирландии Вильяма Герарда Гамильтона (1728—1796) «Парламентская логика» (*Parliamentary logic*) — книга, замечательная и по содержанию и по исторической судьбе. Она не удостоилась в Англии признания. Официально ее замолчали, и на это были особые причины. Но в 1828 году она переводится на немецкой язык (Робертом фон Мольте, юристом-государствоведом и парламентарием); в 1872 г. выходит второе издание перевода, а в 1924 г. третье. В 1886 г. «Парламентская логика» появляется на французском языке в переводе адвоката Ж. Рейнака, предпославшего переводу вступительную статью и посвятившего перевод депутату и оратору Жюлью Ферри. Это посвящение было демонстративным: сам переводчик в посвящении указал, что он посвящает перевод Гамильтона так же, как Элиас Реньо, переведший в 1840 г. «Парламентские софизмы» И. Бенгема (под таким названием вышел французский перевод работы И. Бенгема *The Book of fallacies*, 1824), посвятил свой перевод Гарнье-Паже старшему, как «одному из лучших патриотов и республиканцев своего времени», «одному из редких ораторов дворца Бурбонов». Статья Ж. Рейнака написана как апология Гамильтона¹.

¹ *La logique parlementaire*, trad. par. J. Reinach, P. 1886.—Hamilton a l'unique discours et la logique parlementaire.

«Риторы с сорванными масками и разоблаченные «Логикой» софисты соединились, чтобы устроить против имени этого храбреца неумолимый заговор молчания, так что забвение не могло быть ни более глубоким, ни более всеобщим».

Рейнак удивляется, что работа Бентама имела успех в противоположность работе Гамильтона, и объясняет это тем, что книга Гамильтона появилась в неподходящее время борьбы англичан с Наполеоном и континентальной блокады. Появившись она позже, в 20-х годах, и ее бы встретили с вниманием и интересом. Рейнак утверждает, что бентамовская *Book of fallacies* — Книга софизмов — по существу не отличается от гамильтоновской «Логики». Что делает Бентам? Он действует как «добросовестный ученый, классифицирует, разделяя, подразделяя и приклеивая ярлычки софизмам». Гамильтон спокойно излагает различные софизмы, — Бентам их определяет и разрушает. «Когда вас атакуют, — говорит Гамильтон, — отбивайтесь тотчас посредством какого-нибудь замечания неуचितного характера о прошлом поведении или о настоящем положении нападающего. — Вот, скажет учено Бентам, софизм *ad odium* или оскорбительных колкостей, и затем устанавливает, что софизмы этого класса могут подразделяться на 7 категорий». Таким образом французский переводчик Гамильтона предпочел откровенно-дидактический практический характер риторики Гамильтона — ученому педантизму и той филистерской морализации, которой насыщена книга Бен-тама. Рейнак предпочел неприкрытую «анатомию красноречия» Гамильтона. «Когда красноречие, к вреду или на процветание государства, сделалось одним из главнейших факторов успеха партий, — анатомия красноречия, Гамильтон так называет ее, — не есть ли необходимое знание для политиков?» Для приличия Рейнак задается вопросом: «...вызывая на свет Гамильтона, стараемся ли мы для бескорыстной политики?...» И успокаивается на том, что в вопросе о красноречии «без сомнения прав» не Пол и Горгий, а Сократ и те, которые не отделяли в своих определениях оратора следующие два термина знаменитого определения Катона:

vir bonus, dicendi peritus». «Да, конечно, учась у Гамильтона, г. Клемансо может дополнить свое воспитание софиста. Но изучать Гамильтона — не есть ли эго взяться за разоблачение г. Клемансо?» Вот что, по Рейнаку, конкретно означает «стараться для бескорыстной политики». Нужно иметь в виду, что поклонник Гамбетты и издатель его речей Рейнак «разоблачает» левобуржуазного в то время оратора Клемансо с правооппортунистической буржуазно-республиканской позиции.

Итак, «Парламентские софизмы» Бентама выше ли «Логики» Гамильтона? — спрашивает Рейнак и отвечает: — «нет, по книга Бентама появилась кстати. *Nabent sua fati libelli*. «Знаменитый Гамильтон» не оставил следа, как будто вовсе не существовал, даже в «*Critical Dictionnairy of englisch Litterature*», где говорится о двадцати других Гамильтонах».

Это воскрешение и защита официально забытого неблагодарными англичанами Гамильтона, эта пропаганда его риторики на континенте, немецкие и французские переводы, — настолько знаменательный факт, что на нем необходимо было остановиться подольше. На самом деле, каково соотношение Гамильтона и Бентама и что означает предпочтение одного другому? Несомненно, самое пикантное место в достаточно откровенной статье Рейнака — это пренебрежительное отношение к труду Бентама и самое правдивое место — это указание, что Бентам по существу пересказал Гамильтона. Дело в том, что Бентам во вступлении к своему исследованию посвятил гамильтоновой «Логике» несколько страниц специально для того, чтобы подчеркнуть «контраст» между своим трудом и книжкой Гамильтона.¹ Английский философ либерализма, этот «болливый оракул ограниченного сознания буржуа», по меткому выражению К. Маркса, — Бентам констатировал, что вообще сочинения по ораторству дарят драгоценными наставлениями тех, кто хочет научиться скрывать истину.

¹ См. «The Book of fallacies, from unfinished papers» (1824) — Introduction, sect. VII: contrast between the present Work and Hamilton's «Parliamentary Logic» — The Works of Jeremy Bentham, publ. I. Bowring, Edinb. 1843. Volume II (стр. 383 — 387).

«Какие фразы и обороты фраз самым удобным способом обыгрывают ваш предмет? Какие мысли и комбинации мыслей вернее всего производят действие на тех, кто вас слушает, и склоняет их к вашим предложениям, и притом к любым предложениям?» Вопрос полезности и справедливости, подчеркивает Бентам, не ставится риторикой. Если бы риторам и представился такой вопрос, «они бы немедленно отставили его в сторону, как посторонний их предмету, точно так же, как в исследовании по военному искусству если кто-либо вздумал бы размышлять о справедливости войны». Такова точка зрения всех раторов, начиная с классической древности. Но Гамильтон превзошел по динизму всех. Наиболее развращающей книгой является его риторика. Он оказался самым безнравственным из всех тех, кто «обучают с равным самодовольством и безразличием искусству правдивого красноречия и искусству обмана» (какие почтенные и сколь знакомые нам слова!).

Что же противопоставил «искусству плута» Бентам? На это отчасти ответил уже Рейнак. Либеральный философ «привел в порядок», причесал морально-философской гребенкой — и духе английского философского номинализма — лишённую идейных прикрытий грубо эмпирическую риторику, как систему ораторских средств для «достижения интереса». Он подобающе одел, согласно требованиям идеологии полнокровного и торжествующего английского капитализма, знающего тайну истины и благоденствия, на редкость обнажённую «неприличную» систему Гамильтона.

Достаточно привести несколько выдержек из «Парламентской логики» Гамильтона, чтобы оценить откровенность ее творца. Книга Гамильтона — собрание отдельных советов оратору «на все случаи жизни». Они даны в афористической форме.

«Если ты защищаешь негодное дело, то строго следи, пока твой противник не обопрет свой тезис о слабое или порочное основание, — и тогда говори не о тезисе противника, а об этом основании».

«Если ты взялся за что, то выкладывай некоторые неприятные для тебя обстоятельства, однако оставь все же многое при

себе, чтобы обман не бросился сразу в глаза. Прибавляй в свою пользу даже другие обстоятельства — родственные, если не на самом деле, то в пределах вероятности».

«Если между различными обстоятельствами есть тебе неприятные, то пользуйся ими особенно или же умолчи о них вовсе, если это возможно, — однако же замечай их».

«Если ты в данном вопросе неправ, то используй общие всеобъемлющие выражения, потому что они двусмысленны..»
«Лучший словесный обман заключается не в двусмысленности одного отдельного слова, но в двусмысленном сочетании многих слов».

«Существенно можно обмануть выставлением ложного принципа, когда верное в одном лишь определенном смысле выдвигают как безусловно верное, или когда что-нибудь выдают как следствие известного обстоятельства, из которого однако оно не вытекает».

«Особая уловка — сомнительное толковать в качестве бесспорного тезиса, и делать заключение на основании отдельного случая, как если бы это было общее и основное правило».¹

«Покажи, что все приведенное противником ничего не доказывает, даже если бы оно было верным. Потом покажи, что это все совершенно неверно. *Reductio ad absurdum* — для большого собрания самое ясное и понятное опровержение».²

«Когда не можешь возразить по существу, то отделявайся словами».³

«Обдумай, не имеет ли слово различных значений, и не можешь ли ты с пользой для себя употреблять его то в одном, то в другом смысле. У твоего противника такой уловки допускать не следует».

¹ Цит. по немецкому изданию W. G. Hamilton «Parlamentarische Logik, Taktik und Rhetorik», Н. 1924 (стр. 44 — 46). Немецкий переводчик для удобства расширил название книги и систематизировал с немецкой аккуратностью афоризмы Гамильтона по главам, снабдив их надлежащими заголовками. Все это отсутствует в английском издании.

² Там же, стр. 22.

³ Там же, стр. 23.

«Когда дело требует употребления общих выражений, можно во многих случаях посредством расстановки слов прикрыть эту общность».

«Подыскивай средние выражения для дела, которое имеет своего защитника и своего противника». ¹

«Поразмысли заранее, какая часть твоей речи должна быть самой красивой, и привяжи ее к чему-нибудь такому, что случайно встретилось в дебатах. Приступай к этой умышленной и красивейшей части речи, делая вид, что медлишь и заикаешься. Используй сперва выражение, которое отстает за мыслями, потом уже лови настоящее выражение. Это всегда производит исключительное впечатление и создает иллюзию неожиданной вспышки гения». ²

«Если ты нападаешь на личность или на многих лиц, то ищи при этом что-нибудь такое, чтобы похвалить. Это примирит с тобою не только неспричастного свидетеля, но и затронутого тобою; это придаст тебе ореол честности и большой вес твоим замечаниям».

«Выставляй нравственный принцип там, где он меньше всего ожидается. Поп заметил, что добродетель, которая нас застаёт враслох, всегда оказывает хорошее действие».

«Существует уловка, которую однако у противника нельзя допускать, — это вмешивать в дело личные качества или притянуть нечто такое, что поведет к личному раздору. Этим внимание палаты будет отвлечено от основного вопроса обсуждения».

«Стягивай свои основные доказательства так тесно, чтобы их трудно было ухватить, или распространяй их так широко, чтобы это смутило, смотря по тому, что для тебя полезнее: первое или второе». ⁴

«Оратор должен решить, какой уклон приобретут его суждения, в каком настроении он хочет возражать — гневно ли, кротко, строго, спокойно, непреклонно или же снисходительно».

¹ Там же, стр. 54—55.

² Там же, стр. 42.

³ Там же, стр. 43.

⁴ Там же, стр. 45.

«Обдумай время, место, манеру, цель, умысел, неизбежные или возможные следствия предложения и сверх того взвесь людей, обстоятельства, различные взгляды и положения. Обследуй все это не на глаз, не поверхностно, но все тщательно взвесь».¹

«Всматривайся в основания за и против вопроса. На всякой стороне бывает хорошее и плохое; выбирай одно из них, чтобы его использовать, — другое, чтобы его опровергнуть».²

«Попробуй, нельзя ли с помощью некоторых изменений в изображении еще усилить упреки, которые ты бросаешь другим, и ослабить те, которые сделаны тебе».

«Когда недостает слова, то употреби перифразу (описательное выражение)».³

Подобного рода советы не могли не смутить Бентама. Все это вещи, которые если даже можно делать, то нельзя публично признаваться в них, ибо это «оскорбляет нравственность».

Между тем Гамильтон с ораторским блеском сформулировал на языке ораторской «техники» характернейшие черты буржуазного парламентского красноречия, свойственные и тем из ораторов, которые сами не подозревали и не подозревают, что они, как мольеровский герой, говорят этой «прозой».

«Воскрешение» Гамильтона (который конечно никогда не умирал в парламентской практике) понадобилось главным образом тем странам и в то время, где и когда развитие классово-борьбы вызывало потребность в надлежащем ораторском «вооружении». О Гамильтоне вспомнили не случайно. Откровенное руководство ораторского обмана весьма пригодились в эпоху созревшего капитализма, когда для буржуазии приблизились решительные бои с пролетариатом. Глубоко знаменательно появление Гамильтона во Франции «Третьей республики», которую целая историческая эпоха отделяет от Первой республики. Целая пропасть лежит между лозунгами

¹ Там же, стр. 9.

² Там же, стр. 10.

³ Там же, стр. 46.

Великой революции, запечатленными на бланках Парижской Коммуны 1793 г., и этими же лозунгами на фронтонах правительственных зданий Третьей республики, раздавившей революционную Парижскую Коммуны 1871 г.

С неожиданной откровенностью некоторые представители самой буржуазии, даже из правящего слоя, констатировали истинный ход вещей. Приведу только одно свидетельство, принадлежащее одному из типичных буржуазных политиков Третьей республики, министру колоний в 1898 году, Андре Лебону, который следующими словами закончил обзор внутренней политики за 100 лет с конца XVIII по конец XIX в.: «...Удаляясь от глубоких потрясений 1789 года и великих философских споров первой половины этого века, она (т. е. Франция), кажется, приучается мало-по-малу отыскивать в общественной жизни лишь искусство преследовать свои интересы под прикрытием свободы».¹

¶ Если для точности вместо слова «Франция» поставить «французскую буржуазию», то к словам Лебона нечего будет прибавить. Идеино-политическое оскудение правящего класса в эпоху империализма ярко выразилось в усиленных поисках риторики, в оживлении интереса к старым риторическим теориям, которые можно было бы с пользой для классового партийного и группового «интереса» использовать в политической борьбе буржуазных фракций между собою и главным образом против рабочего класса.

Естественно, что Рейнак предпочел практические ораторские советы Гамильтона морализирующему и классифицирующему Бентону, в философии которого буржуазия Третьей республики уже не нуждалась. Равным образом и бисмарковской Германии понадобилось переиздание перевода «Парламентской логики». Наконец буржуазная Германия 1924 года, т. е. времени открытых и решающих классовых боев, вновь выпускает Гамильтона с замечательной этикеткой рекламного характера: «Классическое руководство парламентской риторики».

¹ André Lebon «Cent ans d'histoire interieure» 1789 — 1895, P. 1898, стр. 332.

рики для парламентского оратора и газетного читателя» (Ein klassisches Handbuch der parlamentarischen Rhetorik für Parlamentsredner und Zeitungsleser). Гейдельбергское издательство, выпустившее «классическое руководство» Гамильтона, вероятно, не подозревало, какая ироническая революционизирующая сила заключена в рекламной надписи, ставшей выражением исторической правды.

Современная буржуазия не нуждается вовсе в философии Бентама, и практически — «мудрые» советы Гамильтона в трудную минуту жизни ей дороже псевдо-ученого разоблачения софизмов. Поэтому — знаменье времени — воскрешен Гамильтон, а не Бентам.

Впрочем со времени мировой войны буржуазия открыто отождествила агитацию и пропаганду с ложью и обманом. Афоризм талейрановского времени — язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли — стал слишком мягким и неточным.

Вот примеры определений пропаганды.

«Все сходится на том, что ложь и пропаганда связаны неразрывно» (Робер де-Жувенель).

«Публику нельзя убедить логикой, но можно убедить сказками» (Г. Лассвель).

«Отличительная черта пропаганды — безразличие к правде. Правда ценна постольку, поскольку она может оказать желаемое действие...» (Британская энциклопедия).¹

В сущности в маленькой книжке Гамильтона были заложены и эти определения.

В эпоху загнивания капитализма происходит резкое обнажение классовых корней идеологии вообще и политической в частности. Загнивание класса определяет его язык и направление языковой политики. Процессы, характерные и ранее для речевого стиля буржуазии, находят себе предельное выражение. Противоречия, заложенные в существе явлений, раскрываются во всей полноте.

¹ Эти и другие подобные определения смотри, например, в книге Ф. Блументаля «Политическая подготовка буржуазии к войне». Гиз, стр. 42 — 43.

Что означают советы Гамильтона или буржуазные определения пропаганды, приведенные выше, с точки зрения языковой политики? Прежде всего выразительный дуализм. Один «язык» для себя, а другой для массы, которую нужно держать в идеологическом повиновении. Когда классовая «правда» становится объективной ложью, т. е. когда существование и господство класса становится препятствием для развития общества, тогда выражение интересов этого падающего класса в предельной степени становится не выразительным и следовательно неэффективным для агитации и пропаганды. Поэтому английские тори, сражаясь с буржуазией и с ее сторонниками в среде аристократии, нередко выступали в качестве адвокатов пролетариата, чтобы опереться в своей классовой политике на сочувствие все более ускользавшей из-под их влияния массы. Они стремились найти «общий язык».

«Аристократия потрясала нищенской сумой пролетариата как знаменем, чтобы собрать вокруг себя народ. Но, последовав за нею, он тотчас же замечал на ее спине старые феодальные гербы и разбегался с громким и непочтительным смехом. Часть французских легитимистов и «Молодая Англия» разыграли эту комедию наилучшим образом («Ком. манифест»).

Противоположный случай, когда речевая выразительность жизненно-полнокровного класса буржуазии, несмотря на классовую ограниченность этой выразительности, настолько сильна, что частично, по крайней мере, выражает интересы большинства. Так, напр., ораторская практика либерального банкира Аттвуда и его соратников до поры до времени выражала политические требования и буржуазии и пролетариата (чартистского движения).

«Удаляясь от великих потрясений 1789 г.», ораторское искусство буржуазии по мере приближения решительных боев с пролетариатом все более обнажалось, как «искусство преследовать свои интересы» под прикрытием фразеологии, т. е. выражений, не адекватных действительности.

Чем больше классовые интересы буржуазии вступали в противоречие с дальнейшим развитием общества и чем более усиливалось политическое давление и идейное противодей-

ствие класса-антагониста, тем сильнее выступала потребность в риторике, как «науке убеждения», и в иллюзорной ораторской выразительности.

Потребность буржуазии в самообмане переросла все более в потребность обмана. Отсюда приведенные выше определения агитации и пропаганды.

Утверждения, что «ложь и пропаганда связаны неразрывно», говорят о том, что буржуазия неизбежно и всё более искажает действительность не только объективно, в силу ограниченности своего классового мышления, но и субъективно, т. е. и тогда, когда она сознает, что обманывает, но не обманывать не может, — опять-таки в силу своей классовой психо-идеологии и именно потому, что с действительностью становится трудно совладать. К обману обязывает ее положение.

Не все стороны действительности осваиваются буржуазией на данном этапе с одинаковой степенью искажения или достоверности. Политическая сторона действительности — одна из наиболее искажаемых сторон. И как раз здесь то вследствие почти полной утраты действительного «общего языка» с массами («публику нельзя убедить логикой») выступает специальный иллюзорный язык обмана («можно убедить сказками»). С лингвистической стороны мы имеем здесь углубление языкового дуализма буржуазного общества: отрознивания языка, как формы идеологии. Этот дуализм заложен в классовой сущности буржуазии, но пока она борется с феодализмом, пока ее интересы не обособились настолько резко, что стали в конфликтные отношения с объективными интересами общественного развития, — для буржуазии нет широкой нужды в особом и обособленном политическом языке. Но в качестве класса «для себя» буржуазия нуждается в создании специального языка, чтобы влиять на массы. Загнивающей буржуазии такой язык необходим в высокой степени.

Для буржуазии язык классовой практики — одно, а публично-политический язык принципов и лозунгов — другое. Практика одно, а освящающая ее теория — другое.

Домашняя философия — одна, а официальная — другая. Буржуазия исходит естественно из предпосылки, что «она —

все» (сравни. Сизса) и что частные интересы капиталистов всегда и безусловно не только должны соответствовать интересам всего общества, кроме бездельников и смутьянов, но и неизбежно тождественны с ними. Общественная ценность человека прежде всего определяется ценою его собственности, величина которой совпадает с общественной величиной человека: «большой» или «маленькой». Ценность неимущих людей общественно ничтожна. Такова практическая философия. Но нужен головоломный скачок, чтобы перепрыгнуть через пропасть между частными интересами буржуазии и интересами всего общества. Чем заполнить эту пропасть? В капиталистическом обществе действительный человек есть частный человек; политический человек абстрактен. Уже поэтому язык действительных интересов буржуазии, выступая как политический язык, неизбежно становится абстрактным. И так как политический язык адресуется всему обществу, а содержанием имеет интересы буржуазии, то он неизбежно становится мифологичен, и притом, чем дальше, тем больше.

Публично политический язык буржуазии так же отличается от языка «делового», как Ллойд-Джордж в качестве народного трибуна во время войны отличался от Ллойд-Джорджа — управляющего делами английской буржуазии в качестве премьера.

Роль публично-политического языка буржуазии и состоит в иллюзорном заполнении пропасти, о которой только что было сказано. Естественно, что публично-политический язык буржуазии наиболее риторичен.

Это и есть официальный политический язык. Ему противопоставит язык неофициальный, бытовой. Публичная речь — язык идеологии — резко обособляется от частного языка. Возникает глубокое противоречие между «словом и делом». Публичная речь «прикрывает» закулисные «переговоры» — кулуарные и кабинетные решения. Она призвана «прикрывать» не только противоречия действительных интересов буржуазии и всего остального общества, но и противоречия интересов различных фракций внутри буржуазии, между «национальными» группировками, между банковским и про-

мышленным капиталом, между средней и крупной буржуазией и т. д. «Прикрытие» внутриклассовых противоречий особенно важно перед лицом общего врага — класса антагониста, противдействие которому — главная задача публичной речи.

Таким образом, приведенные определения пропаганды являются признанием неадекватности, иллюзорной выразительности политического языка буржуазии, — «ложь и пропаганда связаны неразрывно». Эта иллюзорная выразительность прежде всего лишена реальной конкретизации фразового смысла. Абстрактные значения слов и застывших фразовых единств, имеющих межклассовое распространение при тенденции ко всеобщности языка, как средства коммуникации, — мнимо конкретизируются в контексте, который возникает, как общее место. Этот риторический принцип — выражение определенной языковой политики, стремящейся к срезыванию в языке острых углов действительности, к ее завуалированию словесной полисемией. Мнимую конкретизацию прекрасно охарактеризовал Жан Жорес в одной из речей в Палате депутатов по поводу правительственной декларации Клемансо: «.. Недостаточно, господа, повторять слова о социальном прогрессе и социальных реформах, слова, повторяющиеся теперь во всех сочинениях и во всех программах. Дело в том, чтобы знать, какой определенный смысл вкладывали мы в эти слова, чтобы они не походили на звуки того колокола, о котором философ сказал, что в звуках его каждый слышал ту песню, которую хотел. Надо, господа, нам объясниться».¹

Требование «объясниться» было требованием конкретизации фразового смысла, снятия двусмысленности. Между тем для буржуазии на известном этапе ее господства это требование очень мало выполнимо не только объективно, в силу ограниченности ее мышления, но и субъективно, так как оно расходится с ее политической тактикой.

Еще в XIX веке типичный немецкий буржуазный парламентарий Людвиг Бамбергер, посвятивший в своих «Воспо-

¹ Жан Жорес. «Избранные речи и статьи», СПб. 1907 г., речь в Палате депутатов 13 янв. 1906 г. (стр. 6).

минаниях» специальные страницы вопросам ораторской практики, между прочим писал: «Что касается политических речей перед народом, именно речей во время избирательной кампании, то опыт показал мне, что при говорении надо держиваться одного главного правила, и я хочу рекомендовать его начинающим ораторам: «никогда не надо пускаться в слишком большие подробности. Кто станет в народных собраниях широко и подробно обосновывать какой-нибудь вопрос, тот вряд ли будет иметь успех у публики. Здесь надо уметь наэлектризовать публику, а наэлектризовать можно лишь общими идеями, которые воздействовали бы также на чувства. Один француз республиканец как-то сказал мне: «Когда я выступаю в качестве кандидата перед крестьянами, и все еще неистовствую по поводу той десятины (Zehnten), которую сто лет назад взымало дворянство и церковь, и предостерегаю от возвращения к этому. И это всегда действует на них». ¹

Таким образом здесь сформулированы три основных признака стиля. Во-первых, «общая идея» вместо «подробностей», этот признак расшифрован Жоресом: абстрактная неопределенность, двусмысленность выражения. Во-вторых, воздействие с помощью «общих идей» на «чувство». Второе требование в завуалированно-смягченной форме является тем же, что и формула: «Публику нельзя убедить логикой, но можно убедить сказками». Это требование особых средств эмоционального воздействия, чувственного внушения. Но эмоциональный эффект речи или следствие высокой выразительности языка, его познавательной силы, т. е. адекватности, и тогда его достижение не составляет отдельного, особо оговоренного требования или же это есть требование стихийного возбуждения сознания вместо логико-познавательной реакции, и тогда ораторское слово сближается со словом заклинательным и заговорным. Требование воздействия на «чувство» — принцип стиля ораторской «декламации», героем которого является «пышная» фраза, призванная заместить действительный смысл.

¹ Ludwig Bamberger, «Erinnerungen», В. 1899, гл. III, стр. 63.

Выражение «...все еще неистовствую...» чрезвычайно характерно. Оно означает пафосную декламацию, т. е. ораторскую игру на чувствах, требование эмоционального внушения, заменяющего аргументы. Это требование, вытекающее из невозможности совладать с действительностью, предполагает оратора-актера или оратора мага-заклинателя. Чем глубже идейно-политическое бессилие, историческое банкротство данного класса или социальной группы, тем обнаженнее выступает у ораторов пафосно-заклинательная декламация, как стилевая основа.

Ее поддерживает определенная ораторская поза, возникающая в результате «театрализации» ораторского поведения на трибуне; сюда входит система мимики и жестов, голосоведение и т. д.

Риторика всегда была озабочена разработкой средств внушающей ораторской игры на пафосе.

¶ Цицерон писал об ораторе-современнике Крассе: «...Когда ты развиваешь, Красс, эти моменты в процессах, я во истину ужасаюсь. У тебя обыкновенно в глазах, в чертах лица, в принимаемых тобою позах, в жестикуляции указательного пальца обнаруживается такая сила духа, такой порыв, такая скорбь, такой поток убедительных и великолепных слов, такие натуральные мысли, такие правдивые и свежие, что мне представляется, что ты не только воспламеняешь судью, но и сам пылаешь».¹

При последовательной опоре на пафосно-заклинательную декламацию, слова в их познавательной значимости могут стать как бы лишь аккомпанементом, сопровождающим ораторскую игру.

Вынутые из нее слова оказываются логически поразительно бедными.

Именно на такого рода риторике целиком построил свое ораторское искусство А. Керенский — факт необычайно знаменательный, если только вспомнить, героем какой политики оказался этот ритор.

¹ Ciceronis «De oratore», lib. II, § 188, стр. 101.

Обмороки, полуобмороки А. Керенского, какого бы они ни были происхождения, есть факт, с которым должен считаться исследователь агитационной речи. Объективно они вошли в ораторскую систему. Они стали ораторским жестом, как и вся внешняя поза Керенского, как рука на перевязи, френч и др. аксессуары. Его ораторская система держалась не столько на словесном ряде, сколько именно на патетическом, даже истерическом, если можно так выразиться, голосе оратора. Огромную роль, кроме внешней позы, сыграл голос — интонация крика и пауза. Интересно, что характер красноречия Керенского, его ораторская тактика, настолько запечатлелась в глаза, что целый ряд лиц с большой точностью перенесли их в разнообразных высказываниях по поводу Керенского. Ограничусь тем, что без комментариев (в них нет нужды) приведу некоторые выдержки из буржуазно-дворянских источников.

«В Государственной Думе его первые дебюты показали в нем молодого, не всегда достаточно уравновешенного, но очень горячего оратора, начинавшего свои речи спокойно, но затем с появлением на его губах пены способного доходить до высших ступеней неистовства». «...Керенский, разумеется, не мог не остаться самим собою, т. е. верующим в беспредельную силу слова, и поэтому свел всю свою деятельность к речам...»

«В своих речах, к которым у Керенского была большая склонность, он несомненно играл, как актер, может быть сам того не сознавая, при чем особенную слабость он имел к амплу трагика» (т. е. пользовался трагическим пафосом, говоря языком поэтики и ригорики).

«...Мне почему-то кажется, что Керенский в юности, наверное, был большим любителем сценического искусства, играл в любительских труппах и поражал уездных барышень силою своей экспрессии». «При этом... я должен сказать, что притворства сознательного со стороны Керенского не было...» (С. И. Шидловский).¹

¹ «Воспоминания». — Февральская революция, сборн. мемуаров белогвард., Гиз, 1926, 2 изд., стр. 305 и сл.

С этими замечаниями коллеги Керенского по Гос. Думе, октябриста С. И. Шидловского, следует сопоставить мнение его другого коллеги и врага — черносотенного депутата Маркова 2-го, — высказанное с думской трибуны тем тоном циничной развязности, которым несравненно владел этот «курский соловей»:

Марков 2: «..Вот кого мне жаль, искренне жаль, это нашего думского Савонаролу — Керенского. У меня на душе беспокойно, когда наблюдаю эту словесную падающую с кафедры Госуд. Думы (голоса слева: ведь это безобразие.)».

Председатель: «Чл. Г. Д. Марков 2, прошу вас выбирать ваши выражения.

Марков 2: «Действительно, очень трудно спокойно слушать эту истерическую речь (голос слева: нахал). Очень трудно вникнуть в суть тех мыслей, которые талантливый оратор облечает в такую чересчур болезненную, больничную форму. Но все-таки постараюсь уловить некоторые проблески логического построения, которые несомненно замечаются в этой речи».¹

М. И. Смирнов (нач. штаба части Черноморского флота, которым командовал Колчак) замечает, что действие речи Керенского «через короткое время исчезало, так как слушатель забывал содержание речи, потому что смысла в ней было мало — был лишь фонтан трескучих фраз».²

Итак, пафосное внушение, «воздействие на чувство», является ничем иным, как ораторской реализацией «романтического» языка, «пышной фразы».

Третье требование или признак — составляет указание на традиционность стиля. Но почему и чем дорога традиция? Буржуазия оперирует ораторскими лозунгами своей героической поры, из революционных ставших давно реакционными. Она пользуется ими для создания иллюзии «общего языка» с массами, пользуется именно потому, что эти демо-

¹ Стеногр. отчет Гос. Думы соз. IV, IV сессия зас. 53, 9-VI-1915 г. стр. 5063.

² «Адмирал Колчак во время революции» — Февральская революция сборн. мемуаров белогвард., стр. 249.

кратические лозунги с выветрившимся мелкобуржуазно-революционным смыслом для нее безопасны.

Мелкая буржуазия всегда колебалась политически между пролетариатом и буржуазией, то увлекаясь самой радикальной фразеологией, то присоединяясь к реакции, тщетно пытаясь добиться политического господства. В наше время фашисты — наёмники монополистического капитала — привлекают к себе разоряющуюся катастрофически мелкую буржуазия при помощи таких «агитационных» приманок как например лозунг «За притесненных — против эксплуататоров», под которым выходит орган германских фашистов «Ангриф». Подобные лозунги мнимо-революционного характера призваны питать политические иллюзии недовольной мелкой буржуазии.

Абстрактный и двойственный смысл этих лозунгов давно закреплен, как выражение политических иллюзий, за классовой политикой буржуазии. Но именно эти иллюзии необходимы, так как они все еще воздействуют на мелкобуржуазные массы и даже на еще широкие отсталые слои пролетариата.

Именно эти лозунги — «демократии», «свободы», «братства», «патриотизма», «отечества», «нации» и т. п. — неизбежный инвентарь буржуазного ораторства, неизменный материал «пышной фразы». Но этого мало. Буржуазия возвращается к феодальной риторике для того, чтобы почерпнуть из нее *argumenta ad deum*, мистическое дедуцирование и символические аналогии как метод доказательства. Язык реальных связей и действительных отношений становится все «воздушнее» и «красивее», все более невесомым.

В. И. Ленин охарактеризовал сущность и проявление буржуазной агитации и, следовательно, буржуазной риторики в действии — особенно ярко в статье «Империализм и раскол социализма» (1916 г.), говоря, между прочим, о Ллойд-Джордже и о «ллойд-джорджизме», как о «прочной оборудованной системе». «.. Без масс обойтись нельзя, а массы в эпоху книгопечатанья и парламентаризма нельзя вести за собою без широко разветвленной, систематически проведенной,

прочной оборудованной системы лести, лжи, мошенничества, жонглерства модными и популярными словечками, обещания направо и налево любых реформ и любых благ рабочим, лишь бы они отказались от революционной борьбы за свержение буржуазии. Я бы назвал эту систему ллойд-джорджизмом, по имени одного из самых передовых и ловких представителей этой системы в классической стране «буржуазной рабочей партии», английского министра Ллойд-Джорджа. Первоклассный буржуазный делец и политический пройдоха, популярный оратор, умеющий говорить какие угодно революционные речи перед рабочей аудиторией... Ллойд-Джордж служит буржуазии великолепно... и служит ей именно среди рабочих, проводит ее влияние именно в пролетариате, там, где всего нужнее и всего труднее морально подчинить себе массы».¹ Естественно, что здесь-то всего нужнее поэтому риторика.

Превосходный пример — военные речи Ллойд-Джорджа. Вот образцы «декламации» крупнейшего буржуазного оратора современности:

«Я с ужасом прислушиваюсь к тому, что там (т. е. на полях сражения) происходит, и слова старой молитвы просятся на уста: «О, Иисус, не допусти злу свершиться». С миром ли пришел я к вам? Нет. И почему нет? Потому что нечистый дух вселился в души правителей великой нации. Снова в истории человечества приходится народам бороться за то, чтобы добиться, иногда чтобы только удержаться за собою те элементарные права, которые возвышают человека над животным — справедливость, свободу, честность. Если право будет повергнуто в прах в этой борьбе, цивилизация окажется отброшенной назад на целые поколения...» (Речь в Уэльсе 5 августа 1915 г.). Или: «Свыше предопределено, что трусы умрут, но после смерти наступит суд. Они сойдут в могилу опозоренные, как люди, которые своей родине, религии и всему роду человеческому ничего не отдали из того, что им было дорого. После смерти суд» (Речь. 10 ноября 1914 г.).

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. XIX, стр. 311.

Приглашая — в другой речи — рабочих поддержать войну «содействуя нам в победе свободного демократического управления...» ибо «победа Германии будет победой худшей формы самовластия» (здесь надо вспомнить аргументацию от «десятины» у Бамбергера), Ллойд Джордж патетически восклицает: «Если Германия победит, спаси, господи, рабочих...» (Речь в Ланкашире 14 июня 1915 г.).

Пример из речи на конференции углекопов Великобритании (29 июня 1915 г.): «Я видел углекопа на различных поприщах и в различных сферах деятельности. Я видел углекопа работающим, и никто лучше его не работает. Я видел его политическим деятелем — и нет никого трезвее его. Я слышал, как он пел — никто не поет приятнее его. Я видел его играющим в футбол — и тогда он становится страшным. Я видел его бастующим, — простите, что я напоминаю об этом, — и тогда с ним трудно справиться... Правительство вызывает ныне к углекопу, как к другу, — своему другу, другу нации и другу свободы всех стран мира».¹

Если оставить в стороне совершенно пародийный характер лести по адресу углекопов, более всего напоминающий речь лисицы перед вороной с сыром — из знаменитой басни, — то эти примеры свидетельствуют прежде всего о полном отрыве ораторского языка «декламации» от действительного выражения реальной политики войны. Поражает обилие притч и легенд, которыми Ллойд Джордж наряду с обращениями к небу одобрил свои военные речи. Приведу один только пример.

«Из истории (sic) вы знаете о человеке, который однажды повернулся вспять и был превращен в соляной столб; поверье в тех местах, где это случилось, говорит, что там возникло Мертвое озеро. Правда это или нет (sic), поверьте мне, если Британия повернется вспять на своем пути, она превратится в «Мертвое озеро» среди народов. Я поэтому приглашаю всех...» (Речь в Кардиффе перед рабочими 11 июня 1915 г.).²

¹ Д. Ллойд-Джордж. «Речи произнесенные за время войны». СИБ. 1916, стр. 269, 72-73, 130; 201.

² Д. Ллойд-Джордж, там же, стр. 143.

Здесь перед нами полное воспроизводство на практике метода средневековой риторики: опора на авторитет священного писания — слегка поколебленный по условиям времени («так это или не так») и лишенное действительной конкретности аналогизирование, как метод аргументации и т. п.

Чтобы публично говорить о войне, Ллойд Джорджу, как и другим буржуазным ораторам, пришлось создать целую систему смысловых «прикрытий», особый политический язык для выражения действительности, как другой действительности.

В. И. Ленин до войны, в 1913 г., писал: «...Известный либеральный шарлатан в Англии, Ллойд-Джордж, изображает себя в речах перед народом прямо революционером и чуть-чуть не социалистом, а на деле сей министр идет в политике за своим вождем Асквитом, который ни в чем не уступит консерватору».¹ Так расходится «слово» и «дело» буржуазного оратора.

Перед лицом идеологически вооруженного классового врага нельзя откровенно-материальными интересами капиталистов обосновывать перед массами целесообразность и справедливость мировой войны, ибо классовый враг — пролетариат — неопровержимо доказывает массам противное. И вот Ллойд-Джорджу пришлось прибегнуть к языку «сказок» в буквальном смысле этого слова — он декламирует о «свободе» и «спасении цивилизации», напоминает о небе и рассказывает старинные притчи и легенды. Нет никакого сомнения, что на заседаниях совета министров Ллойд-Джордж говорил другим языком, разумеется тоже буржуазно-классовым, но более интимным и откровенным, языком практических интересов, лишенным условной иносказательности, относительно более конкретным и достоверным.

Если бы язык буржуазно-классовой практики был столь же фантастичен, как язык ее агитации, то буржуазия не могла бы быть тем, чем она есть.

¹ В. И. Ленин, собрание сочинений, т. XVI, «Возраст. несоответствие», стр. 122.

Однако в языке агитации, наряду с традиционной политической «мифологией», буржуазия стремится использовать и «социалистическую» фразеологию, которую щедро поставляет на ее потребу переродившаяся мировая социал-демократия ставшая политическим аванпостом капитализма, социал-фашизмом.

«Щеголяние марксистскими фразами», т. е. «подмена марксизма либерализмом» — метод буржуазной агитации. В. И. Ленин писал об этом:

«Под прикрытием «марксистских» словечек о «воспитании» крестьян капитализмом Мартов защищает «воспитание» крестьян (революционно борющихся с дворянством) либералами (которые предавали крестьян дворянам).

Это и есть подмена марксизма либерализмом. Это и есть марксистскими фразами прикрашенный либерализм. Слова Бебеля в Магдебурге, что среди социал-демократов имеются национал-либералы, верны не только в применении к Германии.

Необходимо заметить еще, что большинство идейных вождей русского либерализма воспитывались на немецкой литературе и специально переносят в Россию брентановский и зомбартовский «марксизм», признающий «школу капитализма», но отвергающий школу революционной классовой борьбы. Вот контр-революционные либералы в России, Струве, Булгаков, Франк, Изгоев и Ко, щеголяют такими же «марксистскими» фразами».¹

Буржуазная риторика выступает здесь в своей высшей наиболее развитой форме. И таким образом еще раз подтверждается глубокое замечание «Коммунистического манифеста» о буржуазном социализме: «Своего соответствующего выражения буржуазный социализм достигает там, где он становится обнаженной риторической фигурой».

Языковая политика буржуазии, отчасти стихийная, отчасти сознательная, направлена на то, чтобы для языка агитации и

¹ В. И. Ленин. «Историч. смысл внутри парт. борьбы в России». (1911 г.), Сочинения, изд. 2, т. XV, стр. 11. Подчеркнуто Лениным.

пропаганды (его «особенность» подчеркнута вышеприведенными определениями пропаганды) использовать не только мелкобуржуазную фразеологию, но также и отдельные выразительные элементы политического языка класса антагониста. Именно формальные элементы, слова и фразеологические сплавы слов в их инертной абстракции, а не метод языкового мышления. Выразительные элементы нового содержания превращаются в несвойственную форму старого содержания (сущности). Об исторических судьбах учения К. Маркса В. И. Ленин писал: «В начале первого периода учение Маркса отнюдь не господствует. Оно — лишь одна из чрезвычайно многочисленных фракций или течений социализма. Господствуют же такие формы социализма, которые в основном родственны нашему народничеству: непонимание материалистической основы исторического движения, неумение выделить роль и значение каждого класса капиталистического общества, прикрытие буржуазной сущности демократических преобразований разными якобы социалистическими фразами о «народе», «справедливости», «праве» и т. п.»¹ Таким образом «фраза» выражает «непонимание» и «неумение» адекватно познать политическую действительность и в то же время «прикрывает» выражаемую риторической фразой «буржуазную сущность».

Дело в том, что «оппортунизм можно выразить — в терминах какой угодно доктрины, в том числе и марксизма». (В. И. Ленин).² Это значит, что термины (слова), если их брать взлоированно от развернутого речевого делостного смысла, ничего конкретного не выражают; они общи и формально-логически абстрактны. Они могут выражать различные вещи. И хотя не существует, вообще говоря, полного соответствия, совпадения между выражаемым содержанием — мыслью и речевой формой, однако метод словоупотребления зависит именно от метода мышления. Оппортунисты пользуются марксистской

¹ В. И. Ленин, Сочинения, 2 изд., т. XVI, стр. 331.

² В. И. Ленин, «Англ. споры о лев. раб. политике», т. XVI, стр. 169.

терминологией постольку, поскольку они не могут и не хотят вложить в эти термины конкретное, соответствующее действительности содержание. Недialeктическое и нематериалистическое мышление превращает во «фразу» любой лозунг уже по одному тому, что «всякая абстрактная истина становится фразой, если применять ее к любому конкретному положению» (В. И. Ленин).¹

Так возникает и явление стиля, которое В. И. Ленин называл «левой фразой» и «революционной фразой» и с которыми он вел упорную борьбу, в особенности против Л. Троцкого и контрреволюционного троцкизма в целом на всех его этапах. Эта борьба была частью широкого разоблачения В. И. Лениным буржуазного политического языка и в частности ораторского стиля, разоблачения фразы, т. е. риторики.

Риторикую Троцкого (которой последний прикрывал свою ликвидаторскую позицию в 1912—1913 гг.) В. И. Ленин с исчерпывающей полнотой вскрыл в статье «Вопрос о единстве» (Сочин. т. XVI, стр. 306); анализируя политический язык Троцкого, его «декламацию», Ленин подчеркнул, что Троцкий разговаривает с рабочими «как с детьми», запугивая и уговаривая. Указав, что «письмо в «Правду» депутата костромских рабочих Шагова (№ 22—226) чрезвычайно ясно указало, на каких условиях рабочие считают осуществимым единство социал-демократии...», Ленин пишет: «Можно подивиться, что после столь ясной и прямой постановки вопросов встречаем старые, пыльные, но совершенно бессодержательные фразы Троцкого в «Луче» № 27 (113). Ни слова по существу вопроса! Ни малейшей попытки привести точные факты и всесторонне разобрать их! Ни намек на реальные условия единства! Голые восклицания, напыщенные слова, надменные выходки по адресу неназываемых автором противников, внушительно-важные уверения, — вот весь багаж Троцкого. Не годится это, господа. Вы говорите «с рабочими» как с детьми, то страдая их ужасно грозными словами («какалы кружковщины», «чудовищная поли-

¹ В. И. Ленин, «Тяжелый, но необходимый урок», т. XXI, стр. 292.

тика,» «феодално-крепостнический период нашей партийной истории») — то «уговаривая» их, как уговаривают, не убеждая и разъясняя дела, малых ребят. Ни запугать себя, ни уговорить рабочие не дадут.» И Ленин добавляет, что рабочие «просто отмахнутся от декламации Троцкого».

Все классические атрибуты буржуазного ратора, вся сущность риторики здесь вскрыты полностью. Подобные высказывания Ленина о Троцком следует сопоставить с разоблачением «великолепной фразы» Троцкого И. В. Сталиным, сделанным в докладе на XV конференции ВКП (б) (стеногр. отчет, стр. 449). Разоблачая риторический язык, «музыкальную фразу», прикрывающие политическую сущность Троцкого, фальсификатора ленинизма, И. В. Сталин напомнил слова Ленина: «Не все то золото, что блестит. Много блеску и шуму в речах Троцкого, но содержания в них нет». — Это и есть указание на чистейшую риторику, с которой троцкизм неразлучен.

В статье «Прикрытие социал-шовинистической политики интернациональными фразами» В. И. Ленин не только конкретно и практически указал на природу «левой фразы», но и указал на адекватность слова, как на основную методологическую проблему стиля: «Как относятся политические факты к политической литературе? Политические события к политическим лозунгам? Политическая действительность к политической идеологии?»¹ Анализируя — в многочисленных статьях — политический язык, В. И. Ленин давал ответ именно на эти вопросы, имеющие «самое коренное значение».

Соответственно с этим, «революционная фраза» определяется как «повторение революционных лозунгов без учета объективных обстоятельств, при данном событии, при данном положении вещей, имеющих место. Лозунги превосходные, увлекательные, опьяняющие, — почвы под ними нет, — вот суть революционной фразы».² «Революционная фраза» это риторическое «общее место». Риторика выступает в развернутом

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. XVIII, стр. 332.

² В. И. Ленин, «О революционной фразе», т. XXII, стр. 263.

виде, со всеми своими атрибутами — убаюкивающими словами, декламацией и восклицаниями и т. п. — тем ярче, чем призрачнее содержание «фразы»: «Кто не хочет себя убаюкивать словами, декламацией, восклицаниями, тот не может не видеть, что «лозунг» революционной войны в феврале 1918 г. есть пустейшая фраза, за которой ничего реального, объективного нет. Чувство, пожелание, негодование, возмущение — вот единственное содержание этого лозунга в данный момент. А лозунг, имеющий только такое содержание, и называется революционной фразой» (В. И. Ленин).¹

«Фраза», «шумиха слов», «декламирование» — вот ленинские определения иллюзорной выразительности буржуазного и мелкобуржуазного искажающего политического языка.

Выше цитировались ленинские требования конкретизации словесно-фразового смысла, разоблачение демократических лозунгов, выдержавших огромный агитационный стаж у буржуазии. Но еще в 1899 г. В. И. Ленин подчеркнул с чрезвычайной ясностью стилевую функцию общего места: «Дело в том, что в «современной обществу» очень много различных сторон, и употребляющие это общее выражение имеют одну — одну, другой — другую сторону. Следовательно вместо выяснения рабочим понятия классовой борьбы и социализма, Р. М. только приводит туманные и сбивающие с толку «фразы».²

«Туманные и сбивающие с толку «фразы» — синоним неадекватного двусмысленного выражения, неспособствующего выяснению. Задача пролетарского политического языка — выяснение, а не затуманивание, не скрывание. Характерно, что слово «фразы» Ленин взял в кавычки, чтобы подчеркнуть мнимую выразительность, функциональное несоответствие фразы своему подлинному назначению. Фраза в кавычках — существенный признак стиля «декламации», сущность которого В. И. Ленин определил как «отмахивание

¹ В. И. Ленин, «О рев. фразе», т. XXII, стр. 262.

² В. И. Ленин. «Попытки направления в русской соц.-демократии». Сочинения, изд. 1-е, т. XX, доп. часть 1, стр. 64. Подчеркнуто мною.

от неприятной действительности»: «Отмахиваться от неприятной действительности одним восклицанием, одной декламацией есть ребячество».¹

На то, что «декламация» иллюзорно-выразительными фразами, в частности «левыми», есть прикрытые политики, враждебной интересам пролетариата, что существует особый политический язык, функция которого — скрывание — переходит в противоположность подлинной функции языка — обнаружения, выявления, — В. И. Ленин особенно резко указал в статье «Истинные интернационалисты: Каутский, Аксельрод, Мартов», 1915: «Свою защиту социал-шовинизма Аксельрод пркрывает необыкновенно щедрой фразеологией. Его брошюра годится в образец иллюстрации того, как прикрывают свои воззрения, как пользуются языком и печатным словом для сокрытия своих мыслей».²

Борьба с «фразой» есть борьба с софизмами; «фраза» — выразительная форма софизма.

«В России шовинизм прячется за фразы о «belle France» и о несчастной Бельгии (а Украина? и т. д.) или за народную ненависть к немцам к «кайзеризму». Поэтому наша безусловная обязанность — борьба с этими софизмами».³

Таким образом В. И. Ленин показал, что «фразеология» отрозненного публично-политического языка является средством политической тактики «прятания и прикрывания», т. е. обмана, главным содержанием которого является смазывание остроты классовых противоречий, а формой — парламентский способ выражения.

¹ В. И. Ленин, «Карикатура на большевизм», 1909 г., Сочинения, 2 изд., т. XIV, стр. 56.

² В. И. Ленин, Сочинения, 1-ое изд., т. XIX, доп. ч. I, стр. 552.

³ В. И. Ленин, «Письмо к Шляпникову 17/X 1914», собр. сочинений, изд. 2, т. XVIII, стр. 55.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Нет ничего более противного
духу марксизма, как фраза.

Ленин.

В речи, произнесенной 17 мая 1863 г. во Франкфурте на Майне, Ф. Лассаль задел своего противника — буржуазного экономиста, автора «Оснований политической экономии» Макса Вирта:

— ...Видите ли, господа, — наемный рабочий достоин глубокого уважения, но чего достоин наемный писака?.. (Призыв к порядку. Сильный шум и пр.).

Президент. — Я решительно прошу оратора не оскорблять личностей. На этот раз он говорил о личности.

Лассаль. — ... Я не судил о личности, а просто высказал общую сентенцию. Я не сказал, что г. Макс Вирт — наемный писака; этого наверно никто не слышал. Ссылаюсь на стенографов. Я сказал только, что наемный рабочий достоин уважения, а наемный писака кое-чего иного. Это общая сентенция. Президент не имеет права цензуровать смысл моих слов.

Президент. — ... Я прервал г. Лассалья, потому что он произнес слова «наемный писака» в связи с именем г. М. Вирта. В этом никто не сомневается и смысл этого сопоставления всем ясен, хотя, быть может, выражение было не совсем точно...

Лассаль. — Повторяю президенту, что он может цензурировать только парламентский способ выражения, но отнюдь не смысл речи (эти два слова подчеркнуты Лассалем, В. Г.). На том и основана вся свобода речи, что можно делать намеки, не объясняясь прямо, что в дозволенных парламентских выражениях можно высказывать что угодно;

на этом основана свобода речи, искусство оратора...¹

Приведенная цитата превосходно вскрывает природу парламентского языка, парламентского способа выражения. Это выражение «общее» и потому «неточное», «непрямое» и потому «намекающее». Действительность конкретна, и поэтому точное выражение должно преодолеть абстракцию словесных смыслов, должно быть максимально конкретизировано. Действительность в любом ее участке и на любом этапе многосторонне и диалектически противоречива. Конкретность выражения заключается в выразительном единстве не только различных определений, но и противоположных, а возможно полном выразительном охвате связей между отдельными предметами и явлениями. Выражение реальных соотношений между отдельными предметами и вещами есть выражение частного и общего.

«Отдельное не существует иначе, как в той связи, которая ведет к общему. Общее существует лишь в отдельном и через отдельное...» (В. И. Ленин).²

Лассаль защищался утверждением, что он высказал «общую сентенцию», что он не произнес предложения: Макс Вирт — наемный писак. Но при этом Лассаль подчеркнул, что смысл именно таков. Это означает, что оратор прикрылся отсутствием известных формальных речевых признаков установления связи общего и отдельного в данном случае. Конкретизация «общей сентенции» произошла, показателем чего явилась реакция аудитории. Но, как заметил президент, «выражение было не совсем точно». Лассаль не договорил до конца, «не объяснился прямо», — и в этом усмотрел границу своих и председательских — цензорских прав; он подчеркнул различие между «смыслом» и «способом выражения», который назван «парламентским».

Более того, Лассаль усмотрел в этом разграничении «всю свободу речи» и «искусство оратора». Лассаль был прав в том

¹ Ф. Лассаль, Сочинения, Изд. Глаголева, т. II, стр. 110—111. Подчеркнуто мною В. Г.

² «Большевик», № 5—6, 1925 г. «К вопросу о диалектике».

отношении, что он выразил действительно парламентскую точку зрения на язык: точку зрения различения «смысла» и «способа выражения». Сами председатели не раз высказывались на этот счет.

В I Государственной Думе председатель прервал депутата Аладьина (трудовика) следующей сентенцией:

Аладьин:... «Надеюсь, качавшие головами уже не качают, ибо у них нет реальной силы заставить господ министров говорить на одном языке с нами. Заставить господ министров убраться из этого зала».

Председатель: «Резкие мысли всегда допускаются, но приличный образ выражений есть необходимое условие достоинства законодательного собрания». ¹

Во II Думе председатель выступил по поводу скандальной речи черносотенного депутата Образцова со следующими объяснениями.

Председатель: ... «Когда в прошлом году вам угодно было избрать меня вашим председателем, я дал обещание, что я постараюсь раздвинуть свободу суждений до последних допустимых границ. Я считаю, что это обещание я выполнил и считаю вместе с тем, что речь члена Гос. Думы Образцова дошла до последних границ допустимости (голоса справа: «скажите пожалуйста»; Марков 2 с места: «совершенно неправильно»; голоса слева и в центре: «тише»). Я вполне понимаю чувство негдования и, может быть, разделяю чувство гадливости, которое вызывается содержанием этой речи, но я — цензор формы, а не существа, во всяком случае я цензор существа лишь в редких случаях». ²

Что означает «цензор формы» с парламентской точки зрения, хорошо иллюстрирует следующий пример из думской практики.

Милюков: «...Таким образом член Думы Гучков в этой части утверждал неправду. (Голоса: «что?») Член Думы Гучков утверждал, что прецеденты говорят в его пользу и что

¹ Стеногр. Отчеты Гос. Думы, I соз. зас. 14, 24 мая 1906 г.

² Стеногр. Отчеты Гос. Думы, II соз., зас. 72, 4-III-1911, стр. 3484.

президиум стал на точку зрения того понимания наказа, о котором он говорил. Еще раз член Думы Гучков говорит неправду». (Шум. Голоса: «длой, вон, это непарламентское выражение, вот так парламентарий, вот так кадет!» Половцев с места: «Он не кадет чгобы врать!» Шум.)

Председатель: ... «Член Г. Д. Милюков, вы позволили себе по отношению к одному из наших собратий по работе употребить однажды выражение недопустимое. Это выражение: «говорит неправду» — могло бы быть истолковано, как слово: «лгать». Я вас тогда не остановил, но вы повторили это вторично»...

Милюков: «Я хотел сказать, что утверждение Чл. Д. Гучкова не согласно с действительностью, но прямо ей противоречит». ¹

Наконец, последний пример, иллюстрирующий эту постановку вопроса о «парламентском способе выражения», совершенно аналогичен по речевой ситуации с лассалевским случаем:

Депутат III Гос. Думы кн. Голицын (полемизируя с оппонентами):

«Появление таких речей и ораторов объясняется одним простым обстоятельством, что во всяком обществе, во всяком собрании вы можете всегда рисковать встретить представителей и потомков всех трех сыновей Ноя» (Пуришкевич с места: «а один из них на трибуне»).

Председатель предложил исключить Пуришкевича за оскорбление депутата Голицына.

Пуришкевич (давая объяснения): «Который из сыновей Ноя, я не назвал. У него было три: Сим, Хам и Иафет, он мог выбрать любого. Оскорбления в данный момент кн. Голицына я не видел. Я не виноват, что он оскорбился, поняв, какой он сын». ²

¹ Стеногр. Отчеты Гос. Думы, III соз., сессия I, засед. 58, 2—VI—1908.

² Стеногр. отчеты Гос. Думы, III соз., III сессия, засед. 53, 22—II—1910 г., стр. 1974—5.

Выражаясь языком Лассалья, Голицын высказал «общую сентенцию», в которой формально нельзя было усмотреть «оскорбления», и Голицын не был остановлен; он говорил «вообще»: «во всяком собрании»... «в всех трех сыновей»... Оратор благоразумно уклонился от конкретизации выражения. Но в этом он и попался, ибо инициативу вырвал Пурпшевич, сделавший криминальный, с точки зрения парламентской этики, но тактически обычный шаг вперед по пути конкретизации смысла, и тем самым обрагил острие «сентенции» против ее автора. При этом Пурпшевич, подобно Лассалью, ссылался на отсутствие в выражении формальных признаков «преступной» конкретизации.

Итак, что же означает этот разрыв «смысла» и «способа выражения», «формы» и «содержания»? Очевидно, что Лассаль в приведенном случае лишь формально опирался на этот разрыв, он обыграл условность его наличия. Тактическая речевая формула разрыва «смысла» и «способа выражения»: «язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли» — была использована Лассалем в ее противоположном качестве: «чтобы облажить, насколько допускает «парламентский способ выражения» свои мысли»; это и значит делать намеки, не объясняясь прямо. Это значит обмануть цензуру использованием парламентского языка не как орудия прятания и скрывания «смысла» путем евфемистичности, двусмысленной неопределенности и перифрастичности выражения, а как орудия возможно более полного обнаружения. Здесь «парламентский способ выражения» выступает как бы в роли отрицания самого себя, как бы переходит в свою противоположность. И в этом Лассаль усмотрел «искусство оратора».

Различение «смысла» и «способа выражения» не имеет никакого другого смысла кроме утверждения неадекватности языка, мнимой или недостаточной конкретизации выражения. Ясно, что от «способа выражения» зависит тот или иной «смысл», и следовательно отознвание одного от другого есть пустая абстракция, возникающая в результате формализации и фетишизирования наличных выразительных средств.

Только дублетные равнозначащие формы выражения делают «смысл» независимым от «способа выражения». В парламентском стиле действительно канонизируется выбор дублетной формы, причем критерием выбора является евфемистичность замены (сравни пример с Милюковым). Но наличие действительно дублетных форм выражения — частный и редкий случай в политическом языке, и не на этих исключительных случаях основывается всеобщее явление евфемистичности парламентского стиля. Оно основывается прежде всего на абстракции словесной «синонимичности», на смысловой абстракции элементов выражения. Абстрактно взятые «синонимы», конкретизируясь в контексте речи, перестают быть равнозначащими, перестают быть «заменами». И далее то, что при одном методе конкретизации является синонимичным, — при другом методе перестает быть таковым. «В языке есть только общее», и чем выше метод конкретизации (т. е. речевой метод), тем призрачнее возможность синонимических замен. Точное выражение, строго говоря, не имеет синонимов. Отсюда — мучительные поиски «верного слова» у великих стилистов.

«Непарламентское выражение» означает: грубое, непристойное, неуместное выражение. Следовательно, «парламентское выражение» отличается противоположными признаками. Но замена парламентским выражением непарламентского есть замена одного смысла другим. Морально-эстетическая оценка освящает и предписывает определенное, то, а не иное, осмысление действительности, т. е. уводит в плен буржуазной идеологии. Морально-эстетический критерий «парламентского способа выражения» есть общераспространенный псевдоним политического критерия буржуазной благонадежности в языковой области. Этот критерий означает закрепление политического языка за буржуазией. Насколько стилиевой критерий парламентского выражения есть очевидная принадлежность буржуазной политики, прекрасно иллюстрирует инцидент с Милюковым. Враждебные парламентаризму черносотенцы-крепостники злорадствовали по поводу

того, что Милюков, вождь либеральной буржуазии, знаменосец парламентаризма, допустил нарушение формального канона парламентского выражения. Справа кричали: «Долой, вон, это непарламентское выражение, вот так парламентарий, вот так кадет». Милюков, конечно, поспешил поправиться. Этот случай еще показывает, что «парламентский способ выражения», возникнув в качестве орудия для достижения классовых интересов буржуазии, развиваясь как принцип, осмысляясь как стилевая «идея», приобретает характер всеобщей обязательной нормы с призраком самостоятельного и независимого от политики существования даже в отношении к ее творцам.

Евфемистичность настолько характерная черта буржуазного политического стиля, что В. И. Ленин, упорно и последовательно борясь с речевым методом буржуазии в различных языковых жанрах, даже в научной работе полемически заострил борьбу против «парламентского способа выражения», как евфемистического. Я имею в виду его книгу «Материализм и эмпириокритицизм», которая возмутила критиков, исповедывавших парламентскую стилевую веру, прежде всего «удивительным тоном, которым написано все сочинение», — «развязностью и некорректностью», «грубостью полемики, оскорбляющей эстетическое чувство читателя» и т. п.¹ Но открытая резкость выражения, смутившая любителей «хорошего тона», была вызовом, брошенным буржуазной речевой тактике, разоблачением стилевого лицемерия, как отражения политического лицемерия. Дело идет не о «грубости» и «корректности», а о политике с определенным классовым содержанием и ее речевом стиле.

Евфемистичность выступает как удовлетворение требования «хорошего тона». Но, становясь евфемистическим, выражение политического языка уже тем самым перестает быть равнозначным. Моральное и эстетическое требование евфемистической замены есть выражение политики, причем

¹ См. рецензии Булгакова, Ив. Ильина, Ортодокса, перепечатанные в XIII т. Сочинений, 2-ое изд., В. И. Ленина.

не только в том общем смысле, что требование евфемистичности сигнализирует процесс отроизнивания языка идеологии как «высокого» и «священного», но и в каждом конкретном случае это требование означает осознанное или неосознанное стремление выразительно срезать острые углы действительности, завуалировать, смазать ее неприятные, так или иначе, стороны. Евфемистичность политического языка буржуазии возникла как отражение ее оппортунизма, проявленного в борьбе с феодально-дворянским классом, оппортунизма, который в области языка выразился в приспособлении к феодально-дворянским выразительным нормам. Особенно ярко этот процесс запечатлелся по вполне понятным историческим причинам в английской парламентской фразеологии; примеров сколько угодно. Но с другой стороны поскольку самый оппортунизм буржуазии был следствием боязни широких масс, боязни пролетариата, заставлявшей буржуазию договариваться о компромиссе с ее классовым врагом «справа», — евфемистичность политического языка оказалась необходимым выразительным средством идеологического воздействия на массы. Защищать классовые интересы буржуазия и ее социал-демократическая, эсеровская, троцкистская и пр. и пр. агентура могла при помощи языка евфемизмов и абстракций. «Парламентский способ выражения» в качестве системы формальных норм буржуазного политического языка определил формальные границы буржуазно-демократической «свободы слова». Ведь парламентарная «свобода слова» есть свобода для буржуазного слова и несвобода для пролетарского. Если буржуазия вынуждена предоставить слово пролетарскому оратору, то во всяком случае она заключает его «свободу» в пределы, так или иначе, «парламентского способа выражения». Тогда использование парламентского выражения превращается в борьбу с парламентским выражением, в искусство «делать намеки, не объясняясь прямо». Другими словами — говорить навязанным языком, неадекватность которого становится формально-условной, т. е. неточность выражения не мешает более или менее точному пониманию сущности.

Формальная неточность выражения, которую обыграл Лас-
саль, есть следствие навязанной речевой традиции, канони-
зованных, так или иначе, норм выражения. В политическом
языке охранение, официальная защита этих норм (академии,
наказы, председательская и пр. цензура и т. п.) есть внеш-
нее выражение реакционной языковой политики, имеющей
целью охрану идеологии господствующего класса и борьбу
с идеологией эксплуатируемых классов. Парламентский язык,
как политический язык буржуазии, неадекватен действитель-
ности, которую он искажает тем больше, чем глубже раско-
лдается психоидеология класса с действительным положением
вещей. Тем реакционнее становятся нормы выражения (со-
ответственно — реакционная цензура). Между тем, чем
дальше развивается самосознание класса-антагониста, чем
определеннее оформляется его противодействующая политика,
тем острее выявляется — в условиях легальной, парла-
ментской борьбы — конфликт между обязательными рече-
выми нормами, «парламентским способом выражения» и ме-
тодом адекватного выражения, речевым стилем пролета-
риата. Тем большим диссонансом, «непарламентски» звучат
речи пролетарских ораторов. Тем прозрачнее становится ха-
рактер вынужденной ориентации на «парламентский способ
выражения», — формальная неточность, условность вы-
ражения. Так «парламентский способ выражения» из орудия
буржуазно-классового господства становится — в условиях
легальной борьбы — орудием противодействия буржуазии,
выступая в качестве «эзоповского», в известной мере, языка,
для того, чтобы через голову парламента, вообще поверх
цензурных рогаток, вести агитацию в массах. В зависимости
от конкретных исторических условий, от тактических задач,
связанных с особенностями расстановки классовых сил в дан-
ной стране, определяется мера и характер использования
«эзоповского» способа выражения, сущность которого в том
и заключается, что неадекватность выражения более или
менее легко корректируется воспринимающими речью. Легко
угадываются пути конкретизации смысла, связи и отноше-
ния, формально не выраженные. Речь дополняется слушате-

лями (или читателями), но сделать достоверным процесс осмысления недосказанного зависит во многом от искусства оратора.

В этом состоит отчасти речевая проблема революционной агитации в цензурных условиях. Именно об этом, применительно к условиям русского царизма, писал В. И. Ленин:

«Возразят, может быть; выставлять лозунг республики, как пароль всей избирательной кампании, значит исключать возможность легально вести ее, значит несерьезно относиться к признанию важности и необходимости легальной работы. Такое возражение было бы софизмом, достойным ликвидаторов. Нельзя говорить легально о республике (за исключением Думской трибуны, с которой можно и должно, оставаясь вполне на почве легальности, вести республиканскую пропаганду), — по можно писать и говорить в защиту демократизма так, чтобы не делать ни малейшей поправки идеям примиримости демократизма с монархией, — так, чтобы опровергать и высмеивать либеральных и народнических монархистов, — так, чтобы читатель и слушатель уяснили себе связь именно монархии, как монархии с бесправием и произволом в России. О, русский человек прошел многовековую школу рабства: он умеет читать между строк и договаривать не сказанное оратором. «Не говори: не могу, а говори: не хочу» — вот как следует отвечать легальным деятелям социал-демократии, которые стали бы ссылаться на «невозможность» постановки требования республики в центре нашей пропаганды и агитации».¹

В этой цитате В. И. Ленин указал, для чего нужна была пролетариату думская трибуна: чтобы вести легальную пропаганду.

Общая политическая задача парламентской деятельности рабочего класса характеризуется — по словам редактированной К. Марксом программы французской рабочей партии — превращением парламентской деятельности «из орудия бур-

¹ Ленин, Сочинения, изд. 2, т. XV. «Об избирательной кампании и избирательной платформе», стр. 248.

жуазной эксплоатации в орудие пролетарского освобождения». И, следовательно, превращение парламентского ораторства — из орудия буржуазной эксплоатации в орудие пролетарского освобождения, составляет существеннейшую часть этой деятельности.

В. И. Ленин подчеркнул «узость границ специально думской формы пропаганды и агитации...»¹ Тем не менее значение парламентской формы агитации и пропаганды, как одной из форм политической борьбы, в частности русского пролетариата с союзом буржуазии и дворянско-помещичьего класса для Ленина было вне сомнения.

В статье «Три запроса», посвященной анализу прений по трем запросам в III Государственной Думе в 1911 г., В. И. Ленин дал между прочим сравнительную характеристику стиля буржуазных и мелкобуржуазных и стиля пролетарских ораторов, вскрывающую основную качественную разницу между ними, и показал, как «парламентский способ выражения» в речах пролетарских ораторов превращается в речевой метод пролетариата.

В. И. Ленин сопоставил речь пролетарского депутата Покровского 2-го с речью кадетского депутата Родичева, обе речи по поводу запроса об охране в связи с убийством Столыпина.

«После Маркова 2-го говорил... Родичев. Он говорил, как всегда, красно. Но по тановка вопроса у этого красворечивого либерала до невероятия убогая. Либеральные фразы, фразы и больше ничего. «Когда центральный комитет (октябристов) — восклицал г. Родичев — заявляет по отношению к оппозиции, что она стремится к убийству своих политических противников, это есть постыдная ложь. И эту ложь я вам готов простить, если вы поклянетесь покончить с той змеей, которая овладела русской властью, покончить с шпионократией» (стр. 23 стенографического отчета, «Россия», и на стр. 24 еще раз тоже с «клятвой»).

¹ В. И. Ленин, «Бояться за армию», Сочинения, издание 2, том XIV, стр. 278.

Эффектно, «ужас» — как эффектно. Родичев готов простить октябристов, если они «поклонятся» покончить. Полноте врать, г. говорун: не только октябристы, но и вы, кадеты, сколько бы ни «клялись», — покончить ни с каким серьезным злом не можете. Фразами о «клятвах» по такому серьезному вопросу вы затемняете политическое сознание масс, вместо того, чтобы просветлять его, вы засоряете голову шумихой слов вместо того, чтобы объяснять спокойно, просто, ясно излагать, почему эта «змея» овладела, могла овладеть, должна была овладеть данной властью.

Не объясняя этого, боясь просто и прямо взглянуть на корень и на суть вопроса, г. Родичев отличается от октябристов именно не постановкой вопроса, отличается от них не принципиально, а только размахом красноречия..

«Нас беспокоит не то, — говорил Покровский 2-й, — что охрана гибельна для правительства, что беспокоит вас; нас беспокоит то, что охрана, которая культивируется правительством и в вашем содействии, что эта охрана несет гибель стране...»

И Покровский 2-й старается объяснить — не декламировать, а объяснить, — почему нужна власти охрана, каковы классовые корни подобного учреждения (классовые корни «клятвами» и «прощениями» не затрагиваются). «Правительство, — говорил Покровский 2-й — ставшее совершенно чуждым обществу, не имевшее в обществе никакой опоры, так как было врагом демократии, оно имело за собой только жалкие остатки из вымершего класса дворянства, оно должно было (курсив наш) окопаться, изолироваться от общества — и вот оно создало охрану.. И вот, по мере роста широкого общественного движения, по мере того, как все широкие слои демократии захватываются этим движением, растет значение и влияние охраны».

Покровский 2-й видимо сам чувствовал, что слово «общество» тут не точно, и потому стал заменять его верным словом: демократия. Во всяком случае он дал — и в этом его громадная заслуга — попытку объяснения сущности охраны, к уяснению ее классовых корней, ее связи со всем государственным устройством».

Итак, Родичев декламировал, а Покровский объяснял (это слово подчеркнуто Лениным). «Необузданному и безвкусному фразерству» Родичева противопоставлены поиски верного слова у Покровского.¹

Буржуазный оратор «засоряет головы шумихой слов» вместо того, чтобы «объяснить спокойно, просто, ясно излагать почему...»

Ясно излагать почему... — существеннейший признак диалектико-материалистического речевого метода, для буржуазного оратора невозможного объективно и неприемлемого субъективно.

«Уяснение классовых корней» — пролетариат противопоставляет буржуазному затуманенному движущей роли классовых противоречий посредством «декламации», посредством «фразы», т. е. «парламентского способа выражения», парламентского «красноречия». «Красноречивы» именно кадеты, т. е. партия либеральной буржуазии, прикрывающая демократической фразеологией (т. е. буржуазной риторикой) союз с дворянско-помещичьей реакцией, союз, вызванный боязнью действительно демократического движения, боязнью масс и главным образом революционного пролетариата. На русской почве именно у кадетских ораторов буржуазно-парламентский речевой стиль представлен в своей наиболее «чистой», классической форме. Но именно потому, что российский парламентаризм запоздал родиться, и кадетам, как и прочим буржуазным и дворянским парламентариям, пришлось повторять давно уже переговоренные на Западе лозунги, — речевой стиль думских Мирабо оказался особенно прозрачным и до пародийности обнаженным в своей сущности.

Парламентский стиль это уже политический язык, но еще неадекватный действительности — неточный, односторонний, мимо-конкретизированный, софистический. Что значит: уже политический язык? Это язык уже развитого капиталистического общества, классы которого осоз-

¹ В. И. Ленин, «Три запроса», 2 изд., т. XV, стр. 321—330.

нают свои противоречивые интересы. В. И. Ленин в цитированной статье «Три запроса» писал об этом, анализируя речь — по вопросу о голоде — трудовика Дзюбинского:

«Посмотрите, как начинает г. Дзюбинский. Говоря о голоде, он во главу угла ставит... что бы вы думали... продовольственный устав «временных правил 12 июля 1900 года». Вы чувствуете сразу, что этот человек, этот политический деятель самые живые впечатления о голоде почерпнул не из личного опыта, не из наблюдения над жизнью масс, не из ясного представления об этой жизни, а из учебника полицейского права, причем, разумеется, он взял новейший и лучший учебник самого либерального, самого, что ни на есть, либерального профессора.

Г. Дзюбинский критикует правила 12 июля 1900 года. Посмотрите, как он критикует: «Почти со времени издания правил 12 июля 1900 года они были признаны и самим правительством, и обществом неудовлетворительными...» Самим правительством признаны неудовлетворительными, — значит, задача демократии исправлять правила 12 июля 1900 года, чтобы их могло само правительство «признать удовлетворительными». Так и переносишься мысленно в обстановку российского провинциального присутственного места. Воздух затхлый. Пахнет канцелярией. Присутствуют губернатор, прокурор, жандармский полковник, непременный член, два либеральных земца. Либеральный земец доказывает, что надо возбудить ходатайство об исправлении правил 12 июля 1900 года, ибо они «признаны самим правительством неудовлетворительными...» Помилосердствуйте, г. Дзюбинский! К чему же нам, демократии, нужна Дума, если мы и в нее будем переносить язык и манеру, образ «политического» мышления и постановку вопросов, которые были извинительны (если были извинительны) 30 лет тому назад в провинциальной канцелярии, в уютном мещанском «гнездышке» — кабинете либерального инженера, адвоката, профессора, земца. Для этого не нужно никакой Думы...»

«Правила 12 июля имели чисто политическую тенденцию...» Что это за язык? Какой ветхой стариной отдает от него.

Лет 25—30 тому назад, в проклятой памяти 80-ые годы прошлого века, «Русские Ведомости» писали именно таким языком, критикуя с земской точки зрения правительство. Проснитесь, г. Дзюбинский! Вы проспали первое десятилетие XX века. За то время, что вы изволили почивать, старая Россия умерла, народилась новая Россия. Нельзя говорить с этой новой Россией таким языком, что в упрек правительству ставится «чисто политическое» значение его правил. Это — язык гораздо более реакционный, при всей его благонамеренности, чинности и аккуратной благожелательности, чем язык реакционеров III Думы. Это — язык такого народа или такого отпуганного от всякой политики провинциального чиновника, — который считает «политику» чем-то вроде навождения и мечтает о продовольственной кампании «без политики». С современной Россией можно говорить, только апеллируя от одной политики к другой политике, от политики одного класса к политике другого класса или других классов, от одного политического устройства к другому: это азбука не только демократизма, но даже самого узкого либерализма, если брать серьезное значение этих политических терминов...»

«...Через оратора после Дзюбинского говорил граф Толстой, депутат от Уфимской губернии, очень далекий от трудовичества, но говорил он точь в точь подобно Дзюбинскому: «Из-за каких-то политических соображений, которыми руководствуется правительство, систематически устраняя земство от участия в продовольственном деле, от этого страдает громадная часть простого народа»... Речи Дзюбинского и гр. Толстого могли быть сказаны и двадцать, и пятьдесят лет тому назад. В этих речах живет старая, к счастью уже умершая Россия, в которой не было классов, сознавших или начавших сознавать различие «политики» различных элементов населения, научившихся или начавших учиться бороться открыто и прямо за свои противоположные интересы, Россия «простого народа» внизу и либерального земца при нелиберальном в большинстве случаев чиновнике наверху. И «простой народ», и либеральный земец пуше

огня боялись тогда «каких-то полигических соображений».

Итак, Дзюбинский говорил в парламенте допарламентским языком, т. е. дополитическим языком в том именно смысле что такой язык характерен для общества, классы которого еще не созрели до открытой прямой борьбы за свои интересы. Для такого общества еще не характерен публично-политический язык, ораторская речь. Замечательно, с какой конкретностью и настойчивостью Ленин описывает аудиторию, соответствующую языку Дзюбинского: «Обстановку... присутственного места», «провинциальную канцелярию», «кабинет либерального инженера...» Это не аудитория для публично-политической речи, не ораторская аудитория. Это «аудитория» либо бюрократическая, т. е. официальная, «присутственная», либо частная, «уютное межданское гнездышко». Оратор же обращается к «публике», к массам, и ораторская речь тем больше является ораторской по существу, чем шире аудитория, которой она адресована. Политика — «публичное» дело (*res publica*), выражение общественных интересов. В развитом обществе политика становится всеобщим делом, в политику вовлекаются все. И ораторская речь по объективному критерию тем выше, тем красноречивее, чем, во-первых, конкретнее, вернее выражает действительные интересы, и во-вторых, чем шире аудитория, к сознанию которой она обращается, интересы которой она отражает. К кому адресуется Дзюбинский?

«...У него настолько нет демократического чутья, что он, входя на трибуну Гос. Думы, продолжает говорить с чиновниками. У него настолько нет чутья, что он адресуется — а это возможно в России именно из Думы и пока что едва ли не только из Думы — не к миллионам крестьян, которые голодают, а к сотням чиновников, знающих про правила 12 июля 1900 года». (В. И. Ленин, там же).

Не к миллионам крестьян, а к сотням чиновников.

«...По своей постановке вопроса дальше точки зрения либерального чиновника Дзюбинский не пошел. Поэтому его речь так бесконечно слаба, так убийственно скучна, так

убога — особенно по сравнению с речью его коллеги по партии крестьянина Петрова 3-го, в которой чувствуется... настоящий нутряной «почвенный демократ» (В. И. Ленин, там же).

Замечание Ленина, что язык Дзюбинского (несмотря на то, что последний «подобрал факты безусловно верные, и просто, ясно, правдиво изложил их»), и было в его речи «сочувствие к голодающим») «это — язык гораздо более реакционный... чем язык реакционеров III Думы» — это замечание свидетельствует, что допарламентский язык, как язык политики, выразительно беднее, еще более неадекватен, нежели парламентский риторический язык. Социальная роль языка Дзюбинского отрицательна уже в силу того, что это был не язык политики, а язык отказа от политики. Речь Дзюбинского была ораторской лишь по внешней форме; общественный резонанс от этой речи определяется тем, что она адресовалась — к чиновникам.

Но кому и как адресовался парламентский язык в устах его типичных носителей кадетов?

«Пословица говорит: «скажи мне, с кем ты знаком, и я тебе скажу, кто ты такой». Когда читаешь стенографические отчеты Думы, то хочется переделать эту поговорку по адресу того или иного депутата следующим образом: «скажи мне, с кем ты говоришь, когда ты выходишь на трибуну Гос. Думы, и я тебе скажу, кто ты такой».

Г. Родичев, напр., говорит всегда, как и все кадеты, с правительством и с октябристами. Г. Родичев, как и все кадеты, приглашает их «поклониться» и под эгим условием соглашается их «простить». В сущности, эта гениальная родичевская фраза — (начаянно до правды договорился) — великолепно передает весь дух кадетской политической позиции вообще, во всех Думах, во всех важнейших выступлениях к.-д. партии и в парламенте, и в печати, и в передней у министра. «Ложь я вам готов простить, если вы поклонегесь покончить с той змеей, которая овладела русской властью», — эти слова следует выгравировать на памятнике, который пора уже поставить г. Родичеву» (В. И. Ленин, там же).

Этим Ленин подчеркнул, что «общий язык» у либеральной русской буржуазии был на деле с бюрократией и помещичьим дворянским классом, а не с демократией.

«III Дума, — писал В. И. Ленин, — есть политически-оформленный общенациональный союз политических организаций помещиков и крупной буржуазии».¹

Кадеты составляли левый центр Думы, левую сторону этого союза.

«В России есть три основные политические силы и, следовательно, политические линии: черносотенцы (классовые интересы крепостников помещиков) и «бюрократия» рядом с ними и над ними; затем либерально-монархическая буржуазия, «центр» — левый (к.-д.) и правый (октябристы); наконец, демократия буржуазная (трудовики, народники, беспартийные левые) и пролетарская. Правильность именно такого и только такого явления подтверждена всем опытом первого десятилетия XX века, а это десятилетие было необыкновенно важным и богатым событиями». (В. И. Ленин).²

В качестве либеральной партии кадеты нуждались в демократической фразеологии, т. е. как раз в парламентской риторике, создававшей иллюзию «общего языка» с демократическими массами.

«Большинство избирателей 2-й курии (Петербург) — несомненно из демократических слоев населения. Кадеты ведут их за собой, прямо обманывая их, выдавая себя, либерально-монархическую буржуазную партию, за демократию. Такой обман трактовали и трактуют все либералы в мире на выборах во все и всякие парламенты». (В. И. Ленин).³

Этот обман воплощался прежде всего в демократических лозунгах, о которых говорилось в предыдущих главах, и, в связи с этим, в лозунге «надклассовости» кадетской партии.

¹ В. И. Ленин, «Левение» буржуазии и задачи пролетариата», Сочинения, изд. 2, т. XIV, стр. 64.

² В. И. Ленин, Сочинения, изд. 2 т., XV, «Избират. кампания в IV Гос. Думу», стр. 353.

³ В. И. Ленин, «Значение выборов в Петербурге». «Невск. Звезда», 1912 г. Собр. соч., т. XVI, стр. 8.

Лозунг «надклассовости» был риторической фигурой, выражавшей иллюзорную гармонию различных классовых интересов и тем прикрывавшей действительные классовые интересы буржуазии.¹ Реакционная позиция русской буржуазии — открытая боязнь революции (так же, как позиция любой буржуазии со 2-й половины XIX в.) — не допускала сколько-нибудь реальной возможности действительно «общего языка» с демократическими массами. Именно поэтому в речах кадетских ораторов «парламентский способ выражения» свою неконкретностью и двусмысленностью запечатлелся особенно отчетливо. Демократическая фразеология, как выражение игры в оппозицию («оппозиция его величества»), как определили себя сами кадеты, подчеркивал

¹ Иллюзорность этого лозунга «надклассовости», провозглашаемого с думской трибуны кадетами, вызывала насмешливо-иронические реплики... справа. Вот пример:

Милюков: «Партия народной свободы, начиная с самого своего возникновения, несомненно всегда считала аграрный вопрос коренным и основным текущим вопросом русской жизни, самым жгучим, подлежащим немедленному разрешению (Шум. Смех). Несомненно, что она считала его вопросом борьбы, но не в том смысле, как говорил здесь чл. Г. Д. гр. Бобринский: несомненно, что если была в России какаа-нибудь партия, которая искала мирного разрешения вопроса и для всех приемлемого (голоса справа: «ого»)... такого, которое вывело бы Россию из положения, в которое Россия приведена не нами (шум. Смех справа. Звонки председателя)... то это была партия Народной свободы (Смех справа. Шум. Рукоплеск. слева)».

...Позиция, занятая партией народной свободы в аграрном вопросе, была позиция компромисса — позицией компромисса противоположных интересов 2-х классов, 2-х борющихся классов. Партия народной свободы искала разрешения не в том одностороннем решении, на путь которого вы становитесь сейчас, и напрасно чл. Г. Д. Марков говорил здесь от имени всех сословий».

Марков (с места): «Я никогда этого не говорил; что вы там выдумываете?».

Милюков: «Он на это не имел права. Единственная группа, здесь представленная, которая имеет право говорить, что она в вопросе аграрном стояла на точке зрения всех сословий, есть партия народной свободы» (Рукоплескания слева и справа. Шум).

Голос: «Прогорели... прогорели... (Стеногр. отч. Гос. Думы, III соз., сес. I, зас. 42, 27/III 1908 г.)».

этим верность бюрократически-помещичьей монархии) и фразеология «надклассовости» создавали риторику, которая своей крайней смысловой иллюзорностью бросалась в глаза более откровенным российским парламентариям других фракций. Неопределенность, двусмысленность «парламентского способа выражения» в ораторской практике, напр. «кадетского златоуста» В. А. Маклакова, который считался крупнейшим думским оратором (что очень характерно), вызывали неоднократные разоблачения справа, т. е. со стороны дворянско-помещичьих и бюрократических представителей, которые с презрением относились к «парламентскому способу выражения», ибо вообще отрицали Думу как буржуазный институт, как порождение зарвавшихся «лавочников». Приведу выдержку из речи Гололобова правого октябриста, сделавшего бюрократическую карьеру на разоблачении «красомы».

Гололобов:... «К выкрикиванию имен и сводится на самом деле желание единомышленников Василия Алексеевича (голос справа: «верно»), т. е. они сводятся к парламентаризму, к ответственному министерству, к тому, чтобы с этих скамеек выбирать министров. Вот к чему это сводится. (Справа рукопл. и голоса: «верно; Захарьев: что же тут дурного?»). А вот тогда и раскрывайте карты и говорите прямо; к чему ходить кругом да около!.. Можете ли вы увлечь его (центр) на то, чтобы было у нас ответственное министерство, чтобы была изменена конституция? Ведь этого по основным законам нам не предоставлено. Мы не можем вносить таких законопроектов. Правительство само этого сделать не может. Следовательно, что нужно? Нужна перемена строя. Как ее взять? Легальным путем нельзя, значит нужно брать нелегальным. Вы так и говорите. (Рукопл. справа). Я ведь думаю, что здесь (указывая налево) гораздо откровеннее вас, Василий Алексеевич... Ведь если отсюда, слева, откровенно угрожают Стеньками Разными и откровенно говорят: «мы разобьем, разгоним», кричат: «вы разбойники», то нужно бы выяснить, к чему, собственно, ваша речь призывает. Я скажу, блестящая речь, редкая, но речь, напоминающая фейерверк,

который трещит: бураки, ракеты летят, яркие, разноцветные огни, шум, выстрелы, тра-та-та-та,— а смолкло, и остается дымок с скверным запахом пороха, напоминающим революцию». ¹

Гололобов занялся конкретизацией смысла в речи Маклакова и тем испортил всю его риторику. Но риторика Маклакова тем и отличалась, что «дымок со скверным запахом пороха, напоминающим революцию», который учуял вице-губернаторский нос Гололобова, был «дымовой завесой», прикрывавшей кадетский оппортунизм. Этот крайний оппортунизм превращал ораторскую речь в полемическую фикцию, в отвлеченную полемическую форму. Полемическое качество ораторской речи превращалось в формальную принадлежность, ораторское выступление — в обряд условного характера, орудие политической атаки — в принадлежность парламентского ритуала. Никто иной, как Марков 2-й, которому его классовая позиция позволяла быть откровенным и, дично издеваясь над Думой, иногда подмечать объективно верные стороны, — метко определил ораторский декаданс, который неизбежно наступает в результате закулисных сделок либеральной оппозиции с правительственной бюрократией, с влиятельными остатками феодализма.

Марков 2 ой: «Г. г., вот уже много лет, когда рассматривались здесь сметы Министерства Финансов, неизбежно выходили на кафедру министры финансов — сперва Коковцов, потом Барк и затем столь же неизбежно антимиистр Ан. Ив. Шпигарев. То же самое мы замечаем и по смете Мин-ва Иностраннх Дел. Выступают министры — Извольский, затем Сазонов и неизбежно тихими стопами выступает на кафедру антимиистр П. Н. Милюков. Сперва льется речь министра, а потом антимиистра. Во время прений по сметам Мин-ва Финансов между соперниками мы всегда замечали ноты взаимного непонимания, взаимного раздражения,

¹ Стеногр. отчеты Гос. Думы III соз., сесс. III зас. 52, 20—II—1910 г, стр. 1915—16. Ответ на речь В. А. Маклакова при обсуждении сметы министерства внутренних дел.

отчасти осуждения. Во время прений по иностранной политике этого, к нашему полному удовольствию, мы не замечаем. Здесь мы видим лишь корректное соревнование двух дипломатов европейцев, почти единомышленников, почти друзей. Оба маэстро дипломатии лишь для развлечения скрещивают перед вашими глазами свои шпаги и видимо не боясь друг друга ранить, ибо заботливая прогрессивная рука заранее насадила на острие шпаги предохранительный шарик. Продолав несколько изящных туров, противники учтиво отвешивают глубокий поклон друг другу и своей общей даме сердца — российской конституции. (Смех).¹

Скрещивание ораторских шпаг лишь для развлечения, не боясь ранить — вот определение этого ораторского и вообще парламентского декаданса. Здесь «парламентский способ выражения» царит нераздельно в качестве средства «корректного соревнования» (чтобы не ранить).

Парламентский язык в устах кадетов выступал настолько открыто, как «общий язык» либеральной буржуазии с остатками феодализма, что не раз ex cathedra провозглашался ораторский отказ от полемики, т. е. отказ от борьбы.

Милюков: «Господа члены Государственной Думы. Я вхожу сегодня на эту кафедру не столько с целью полемизировать с моими политическими противниками, сколько с целью попытаться их убедить... (Голоса справа: «ого-го»; смех). Если, господа, мы можем понимать друг друга и находить общий язык в вопросах бюджета, в вопросах международной политики, иногда даже в вопросах государственной обороны, то, я полагаю, нам надо было бы попробовать, по крайней мере, понять друг друга в основном культурном вопросе русской жизни, в вопросе о русской школе».²

Ироническое восклицание справа и смех выдает бессмыслицу или лицемерие ораторской мотивировки: «не полемизировать, в попытаться убедить». Эта мотивировка, во-пер-

¹ Стеногр. отчеты Гос. Думы IV соз., сессия IV, зас. 36, 14—II—1916 г. стр. 3291.

² Стеногр. отчеты Гос. Думы, III соз., сессия I, зас. 81, 9—VI—1908 стр. 2483. Прения по школьному вопросу (о месте Мин. Н. Провв.).

вых, еще раз подчеркивает то, на что указал В. И. Ленин: кадеты говорят не с демократией, а с правительством и с черносотенцами всех оттенков, и этот ораторский адрес определяет речевое качество. Во-вторых, эта мотивировка либо свидетельствует о мистической вере во всемогущество ораторского слова, которое может заставить политического противника, т. е. правоокебристское большинство, отказаться от своих классовых интересов, превратиться из Савла в Павла под влиянием красноречия П. Н. Милюкова,—либо является лишенной смысла риторической фигурой, призванной осмыслить, хотя бы иллюзорно, самый факт ораторского выступления «с предохранительным шариком»... Выступления, когда оратору «нечего сказать», когда «нет логики» в ораторской позиции.

Выступления «с предохранительным шариком» на острие ораторской речи предусмотрены завещанием Гамильтона: «Подыскивай средние выражения для дела, которое имеет своего защитника и своего противника». «Выставляй нравственный принцип там, где он меньше всего ожидается» (сравн. знаменитые родичевские клятвы и пр. по запросу по поводу убийства Столыпина). «Когда не можешь возразить по существу, то отделявайся словами». Многоопытный ритор вряд ли предвидел, с каким рвением его далекие парламентские потомки воспроизведут на практике основания «Парламентской логики».

Следует заметить, что в отношении фиктивной ораторской борьбы, т. е. фиктивного полемического адреса, который устанавливается с целью обмана широкой аудитории (массы), социал-демократия эпохи мировой войны, в частности германская, уже оставила далеко позади «благодушных» российских кадетов.

В своих мемуарах Ф. Шейдеман с потрясающей откровенностью — по гамильтоновски, а не по бенгамовски — повествует о тайнах ораторского ремесла гниющего парламентаризма.

Рассказывая о внесенной с.-д. фракцией рейхстага интерpellации о мире 6 декабря 1916 года, Шейдеман для исто-

рической точности приводит записи из своего дневника того времени: 3 декабря. Бюро. Я набрасываю речь для интерpellации... Канцлер желает говорить со мною завтра в 12 часов...»

«4 декабря. Я у канцлера... Он очень сожалеет о том, что мы все-таки интерпеллируем. Но если так надо, то, по крайней мере, необходимо принять меры, чтобы ничего не испортить, поэтому он и хотел поговорить со мной о своей и моей речах. Он как раз занят составлением своей второй речи, т. е. той, которую он собирается произнести в ответ на мою. Я рассмеялся и сказал, что не считаю правильным, что он начинает с конца: он ведь совсем не знает, о чем я буду говорить. Он: «Ну, в общих чертах я считаю возможным допустить, что большого вреда вы нам не причините». Я: «Позвольте, ваше превосходительство,— большого вреда.. Я надеюсь принести большую пользу». Тогда он стал читать из большой переплетенной тетради с измятыми в середине страницами свою написанную карандашом речь. «Если господин депутат Шейдеман думает, что требования наших противников — блеф, он ошибается. Точно также он идет слишком далеко, говоря, что заграничная политическая пресса не отражает истинных народных требований». Я тотчас подхватил его слова: «Если вам угодно, чтобы я дал вам повод именно это сказать, то я готов, потому что я при этом ничего не теряю». Он продолжал читать свои наброски. Я нашел, что он очень умно строит свою речь. К концу я снова подхватил его слова, когда он сказал, что имперское правительство охотно пойдет навстречу всякому разумному предложению мира. Я возразил против слова «разумный», его надо было либо опустить, либо заменить другим. Он не спорил и обещал... Я сказал ему: «Ваше превосходительство, может быть было бы лучше, если бы вы сообщили мне набросок вашей первой речи: может быть мне придется коснуться ее несколькими словами. Было бы однако лучше, если бы мне не надо было высасывать это из пальца». Он: «Очень охотно. До перехода

к порядку дня я буду говорить около трёх четвертей часа о Болгарии и о Греции...» и т. д.

В свою очередь канцлер осведомился о речи Шейдемана. Предупредительный «социалист» поспешил удовлетворить любознательность канцлера, «а затем дословно прочитал ему то, что намерен был предложить в качестве основ мира... Это он нашел приемлемым. «Это может быть принято»... Он, канцлер, укажет на разрушительные намерения других... Маленькие народы, которые служат передовыми позициями Англии, следовало бы обезвредить путем военных, политических и хозяйственных мероприятий.. Я возражаю, между прочим, по поводу маленьких народов. Заявление канцлера могло бы быть неправильно понято в Голландии, Дании и т. д... С этим он тотчас же согласился. Самым усердным образом он будет искать искать возможно безупречных выражений...»

«9 декабря. Большой день. Канцлер произнес обе речи и именно так, как он излагал мне их в общих чертах. Во второй он произнес даже те места, направленные против меня и оказавшиеся после моей речи беспредметными. Он читал мне эти места в воскресенье и, хотя я сказал ему уже тогда, что вовсе не намерен об этом говорить, он произнес свой ответ точно так, как написал его». ¹

Совершенно естественно после всего этого, что 24 февраля 1917 г. тайный советник X («Я—пишет Шейдеман—замещаю X-ом хорошо известное имя тайного советника») предлагает с.-д. лидеру сквзать «несколько слов в пользу монархии» в ответ на предстоящее в рейхстаге выступление канцлера. «Я спросил его: «А что канцлер собирается говорить вообще?» Он уклонился от ответа... Он вернулся к своей монархической затее. Я ответил уклончиво. Прежде мне нужно знать, что намерен говорить

¹ Ф. Шейдеман. «Крушение Германской империи». Гиз, 1923, стр. 57—60, 62. Подчеркнуто мною.

кандлер.» И затем Шейдеман повествует, как он «обманул» тайного советника. 27 февраля этот сановник поймал Шейдемана в рейхстаге и, чтобы подкупить его в пользу монархии, познакомил с проектом речи кандлера. Произошел... «долгий спор. Я безусловно должен, по мнению Х., сказать какую-нибудь любезность по адресу монархии...» Я: «Вы совершенно не учитываете того вреда, который я причинил бы себе подобными глупыми разговорами». Он уговаривает меня все настойчивее и, наконец, вытаскивает из кармана проект речи, которую я мог бы использовать в качестве основы для нескольких своих фраз. Оба исписанные карандашом листка вклеены в мой дневник».

И далее Шейдеман приводит речь, написанную тайным советником для «социалистического» депутата и содержащую такие, напр., фразы: «Несмотря на тяжкую пужду, рабочие Германии остались в эту войну верны своему верховному вождю. Так верны, как кто-либо верен вообще... Борьбы против монархии германская с.-д. и рабочее движение никогда не искали, даже никогда не вели ее... и т. п. Рассказ об этом скандальном факте Шейдеман заключает следующими словами, несравненными по тупому и хвастливому самодовольству:

«Я высмеял г. Х. так, что он испуганно стал просить свою рукопись обратно, но я с величайшим спокойствием сунул ее в карман».¹

Итак, министр и «антиминистр» предварительно за ораторскими кулисами договариваются, как и о чем говорить, и исправляют друг другу будущие речи, согласовывая детали, ибо в основном, в главном, у них заведомо нет разногласий. Их взгляды расходятся лишь на отдельных словах, спор идет о «безупречности» выражений. Они наставляют друг друга насчет возможно более совершенного использования «парламентского способа выражения» в особенно рискованных местах (напр.,

¹ Там же, стр. 65—68. Подчеркнуто мною.

в вопросе о закабалении малых народностей). Они тщательно осматриваются, как бы не повредить друг другу, их «общему делу». Предусмотрительная вежливость «антиминистра» доходит до того, что он портит партнеру игру. Императорский канцлер должен по штату возражать социал-демократическому «антиминистру», а Шейдеман лишает его даже формальных поводов для возражений. И канцлеру пришлось придумать несказанные Шейдеманом слова, чтобы состоялось возражение, — чтобы спасти амплуа, не столько быть может свое, сколько мнимого противника.

На ряду с другими буржуазными фракциями (социал-демократы, не только немецкие, в эпоху мировой войны уже вполне буржуазная партия) п- фракция Шейдемана, иногда играя в оппозицию, на деле безоговорочно поддерживала юнкерско-бюрократическое правительство, германский монархический режим. Так всякая парламентская «оппозиция», в частности либеральная, поскольку она не в состоянии действительно опереться на действительные интересы широких масс, обречена на мистифицированное противодействие существующему политическому режиму, правящим партиям. Она нуждается, чтобы приобрести политический капитал в формальной полемике, заменяющей действительную борьбу; нуждается, следовательно, лишь формально в полемическом качестве ораторской речи, в фиктивном, чисто риторическом ее острие. Так возникают речи с фальшивым ораторским адресом. Формально оратор апеллирует к массам, фактически же выступает против их интересов. Формально полемизируя с правительством, он на самом деле во вражде к массам и их действительным представителям. В известной мере речь любого буржуазного оратора — правительственного или «оппозиционного» — есть речь с фальшивым ораторским адресом, ибо он в той или иной мере прикрывается, вынужден прикрываться апелляцией к демократическим массам, к их интересам.

Систематическое и развернутое использование фальшивого ораторского адреса — естественный удел либеральных, социал-фашистских и фашистских партий.

Замечание В. И. Ленина: «скажи мне, с кем ты говоришь и я скажу, кто ты» — имеет глубокое методологическое значение. То, что Радичев всегда говорит с октябристами и правительством, обнажает подлинный ораторский адрес кадетских речей.

Немецкий суд замечал Ф. Лассалю, что его самозащитная речь обращена к публике, а не к судьям. Он говорил с публикой (массой) через голову суда. Но с другой стороны, у того же Лассалья, когда он решительно обратился к буржуазно-оппортунистической тактике, нащупывая почву для союза с бисмарковской реакцией против либералов, — переменялся ораторский адрес его речей. Демократический адрес стал фальшивкой. По словам Бернгарда Беккера Лассаль говорил своему другу Г. Леви по поводу речи: «Празднества, печать и франкфуртский съезд депутатов» (1863 г.): «То, что я теперь пишу, я пишу для двух человек в Берлине...», т. е. для прусского короля и Бисмарка. Это для них, оказывается, предназначались выпады против прогрессистов, делались в их интересах.

О речи, произнесенной Лассалем в Ронсдорфе 22 мая 1864 г., Меринг писал, что указания в речи на ряд обстоятельств имеют целью «через головы рабочих обратиться к тем 2 лицам в Берлине, на которых Лассаль пытался действовать уже своей прошлогодней речью».

Это — классический ход буржуазной ораторской тактики. Замечательно, что ронсдорфская речь отличалась особенно «романтическим» языком, особенно «пышной» фразой. Но вернемся к кадетам.

«Запутанный», «тарабарский» язык, который нуждается «в переводе на русский язык», по определению В. И. Ленина, — неизбежное выражение парламентской тактики либерализма. Это — политическая латынь буржуазии, крайнее проявление отрознивания языка идеологии, как результат крайне искаженного отражения действительности. По поводу кадетской формулировки особенностей политического момента, которые обсуждались на одном из совещаний кадетской партии: В. И. Ленин писал в статье «Возрастающее несоответствие»,

«Недавно состоялось очередное совещание депутатов к.-д. с местными деятелями этой партии.

Обсуждали, как и следовало ожидать, особенности настоящего политического момента. Либеральная оценка этого момента следующая:

«Обращено было внимание на возрастающее несоответствие между потребностями страны в основном законодательстве и невозможностью удовлетворить их при настоящем устройстве законодательных учреждений и при современном отношении власти к народному представительству».

Язык запутан так, как клубок ниток, с которым давно играл котенок. Бедненькие наши либералы, негде им выразить ясно свои мысли.

Но присмотритесь поближе: не столько в том беда, что негде, сколько в том, что нечего сказать либералам».

«...К.-д. совещание приняло по вопросу о тактике 4 положения. 1-е гласит:

«Тактика объединенной деятельности всем фронтом оппозиции, представляя необходимое условие для осуществления очередной деловой деятельности Гос. Думы, не гарантирует однако ни получения прочного и постоянного большинства Гос. Думы для законопроектов оппозиции, ни действительного осуществления тех законопроектов, которые оппозиция могла бы провести через Гос. Думу при помощи думского центра».

Эта тарабарщина в переводе на русский язык означает вот что: Либералы только с октябристами могут составить большинство в Гос. Думе. Такое большинство не постоянно, а его решения в жизнь не проходят.

Правильно. Но вывод отсюда тот, что называть эти решения «необходимой», «очередной» и «деловой» (!??) деятельностью, — значит обманывать самих себя и обманывать народ.

Проваливая правых голосованием с октябристами, не будем становиться на точку зрения законодательства в IV Думе, не будем сеять конституционных иллюзий — вот что должны бы были сказать народу кадеты, если бы они хотели быть не только на словах демократами.

Первое «положение» к.-д. совещания поражает своей нелогичностью. Принятие неосуществляемых в действительности законопроектов непостоянным и непрочным большинством IV Думы называется «деловой» деятельностью. Сами к.-д. сотни раз называли это, и называли правильно, вермишелью и скукой.

Но тактика к.-д., вопиюще нелепая с точки зрения логики, становится понятной с точки зрения классовых интересов». ¹

Классовые интересы требовали тактики беспринципных компромиссов с главными хозяевами государственного пирога (официальной реакцией) и, следовательно, риторики для их непрямого выражения в публичной — и печатной — речи. Таким образом ораторская тактика выступает как существенная часть общеполитической тактики. Политический язык — как бы зеркало политических интересов; политическая тактика воплощается в его структурных чертах. Если классовые интересы буржуазии требовали демократических лозунгов, поскольку буржуазия стремилась к политическому господству, то эти лозунги естественно оказывались риторическими в квадрате, когда буржуазия (кадеты) была далека от намерения действительно опереться на демократию, когда логика общественного развития сделала буржуазию вполне реакционной силой. Отсюда риторический язык, «запутанный, как клубок ниток»; отсюда — «ничего не говорящие фразы», «тарабарщина». Если демократические лозунги и увенчивающая их идея «надклассовости», которая означает убеждение, что устами либеральной буржуазии говорят интересы всего общества, — необходимо освящают буржуазную политику, то язык этих лозунгов тем больше искажает действительное положение, чем дальше расходятся буржуазно-классовые интересы с интересами всего общества.

И тогда оказывается, что политический язык дворянско-помещичьего класса более прямой язык именно в том отношении, что он лишен демократической, «надклассовой» фразеологии, поскольку свободен от буржуазной риторики

¹ В. И. Ленин. Сочинения, 2 изд., т. XVI, стр. 313—315.

(конечно, не от риторики вообще). Этот язык сохраняется там, где дворянско-помещичий класс еще отстаивает свое политическое господство, где он силен экономически и политически, а буржуазия относительно слаба. Язык российских черносотенцев (когда они не прикрывались особой черносотенно-демократической фразеологией) был прямее в том смысле, что конкретнее выражал классовые интересы дворян-помещиков, чем язык кадетов — классовые интересы буржуазии.

«Марков 2-й ведет себя в Думе очень часто совершенно по-хулигански. Но в приведенных его словах, как и в очень многих заявлениях его коллег, видна прямая постановка вопроса с точки зрения определенного класса. Эта прямота сплошь да рядом во сто раз полезнее для развития политического сознания масс, чем избитые фразы либералов, претендующих на «надклассовую» позицию». (В. И. Ленин).¹

В другой статье В. И. Ленин писал:

«Благодарим черносотенную газету «Новое Время» за напечатание откровенных слов вождя правых в Гос. Совете Кобылинского. Благодарим и самого «вождя».

«То и дело обнаруживается, — восклицал г. Кобылинский, — со стороны членов Гос. Думы незнание и неумение законодательствовать... «Так пишут законы только лавочники».

«...На нас нападают за отклонение законопроекта о введении земства в Архангельской губернии... Гос. Дума совершенно не подумала о том, что по отсутствию культурных элементов и по малонаселенности Архангельской губернии там в земские управы пришлось бы выбирать, как у нас острили, одного мужика, одного оленя и одного медведя».

«...Во всяком случае образования мужицкого земства, каким его проектировала III Гос. Дума, мы не допустим».

Ну, как же не поблагодарить за такую откровенность вождя правых в Гос. Совете, т. е. вождя Гос. Совета!

¹ Ленин. «Три запроса», Сочинения, 2 издание, том XV, страницы 322—3.

Вместо избитых, ничего не говорящих либеральных фраз против Гос. Совета, мы от души рекомендуем читателям эту ясную, правдивую постановку вопроса за Гос. Совет.

Лавочники в Гос. Думе... мужики, медведи в земстве... лавочников и мужиков не допустим. Вот—прямой язык помещика-крепостника.

И заметьте: он прав, этот крепостник, что в Гос. Думе нет большинства без «лавочников», т. е., говоря языком сознательного рабочего (а не дикого помещика),— без буржуазии. Он прав, этот помещик, что самоуправление на деле было бы самоуправлением крестьянским (это слово-сознательные рабочие предпочитают выражению: «мужицкий», которое в ходу у диких помещиков). Крестьян — большинство.

Гос. Совет — вовсе не случайное политическое учреждение, а орган класса — вот что говорит правдивая речь Кобылинского. Класс этот — крупные помещики. Они не допустят «лавочника и мужика».

Учитесь же, господа российские либеральные «лавочники», господа октябристы и кадеты, серьезной постановке политических вопросов у Кабылинского»¹. Этот блестящий анализ политического языка не оставляет никаких неясностей.

«Прямой язык помещика-крепостника» это язык еще свободный от парламентской риторики; язык полуфеодальный, крепостнический, а не парламентский. Это — переживание языка (основно-феодальной ограниченности. Это язык «диких помещиков», т. е. политически дикий язык, выражающий непонимание всего политического развития капиталистического общества и противоление этому развитию. Откровенность и прямота есть результат политической первобытности языка «диких помещиков». Ведь значение демократии «в том, что она делает классовую борьбу широкой, открытой, сознательной» (В. И. Ленин).² Именно поэтому буржуазная риторика

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. XVI, «Благодарим за откровенность», стр. 305.

² В. И. Ленин, Сочинения, т. XVI, «Успехи американских рабочих», стр. 148.

и призвана защищать классовые интересы демократическими иллюзиями. «Святая простота», с которой «дикие помещики» заявляют о своих классовых интересах, прямое следствие полуфеодалного уклада, питавшего и сохранявшего феодальные черты идеологии, которые преломились в полигическом языке дворянско-помещичьего класса. Медведи, мужики и лавочники — на одном полюсе и сеньоры-помещики — на другом. (Кобылинский выразился: «культурные элементы» — этот евфемизм — невольная дань языку парламентаризма). «Политика» — семейное дело первого сословия (Дума — безобразия). — таковы в схематически грубом виде политические представления этого русского барона Сенесея, дотянувшего до XX века.

Кобылинский повторил возмущение Сенесея «лавочниками», претензиями «третьего сословия».

Интересно, что идеологи русской дворянско-монархической реакции (К. П. Победоносцев и др.) с особым раздражением реагировали на распространение публичной речи, усматривая в этом распространении опаснейший симптом развития буржуазно-демократического порядка.

Ораторство отождествлялось с демократизмом, парламентаризмом.

В известном заседании Государственного совета 8 марта 1881 г. под председательством только что воцарившегося Александра III, где обсуждался Лорис-Меликовский проект «представительства», идеолог самодержавия К. П. Победоносцев, обер-прокурор синода, произнес характернейшую речь против «конституции» и вообще буржуазного политического строя, в котором особенно возмущало его множество «говорилен». «... В России хотят ввести конституцию, и если не сразу, то по крайней мере сделать к ней первый шаг... А что такое конституция? Ответ на этот вопрос дает нам Западная Европа. Конституции, там существующие, есть орудия всякой неправды, источники всяких интриг... Так называемые представители земства разобщают царя с народом...»

Своеобразная фикция демократизма самодержавия была на ряду с теологической фикцией основной риторической

фигурой, прикрывавшей классовую сущность самодержавия.

Следует иметь в виду, для правильного понимания дворянско-крепостнической риторики, следующее указание В. И. Ленина: «В нашем черносотенстве есть одна чрезвычайно оригинальная и чрезвычайно важная черта, на которую обращено недостаточно внимания. Это — темный мужицкий демократизм...» «Крайним правым — партии помещиков...» «приходится азывать к самым закоренелым предрассудкам самого захолустного мужика, играть на 'его темноте'». ¹ Итак, если буржуазия «играет» на всеобщих интересах, иллюзиях народоприветствия и т. п., то помещики черносотенцы — на феодальной темноте крестьянства, на дополитических умонастроениях, на патриархальных иллюзиях.

«Между тем, — продолжает Победоносцев, — правительстао должно радеть о народе, оно должно познать действительные его нужды... А вместо этого предлагают устроить у нас говорильню, вроде французских *Les Etats généraux*. Мы и без того страдаем от говорилен, которые под влиянием негодных, ничего не стоящих журналов, разжигают только народные страсти... Открыты повсюду кабаки... бедный народ стал пить и лениться к работе... Затем открыты были земские и другие учреждения — говорильни, в которых... разглагоиствуют вкривь и вкось о самых важных государственных вопросах... Потом открылись новые судебные учреждения, — новые говорильни, говорильни адвокатов... Дали, наконец, свободу печати, этой самой ужасной говорильне... И когда, государь, предлагают учредить по иноземному образцу новую верховную говорильню?...» ²

Откровенные выражения Кобылинского или Маркова 2-го — не парламентские выражения, т. е. неприемлемы с точки зрения норм буржуазного политического языка, враждебные этим нормам, и в этом смысле являются «неполитичными» и «бестактными». Ведь парламентский язык воз-

¹ В. И. Ленин, Сочинения, том XVI, «О черносотенстве», страница 641.

² «Былое», № 1 янв. 1906 г., стр. 197–198.

никал и складывался, главным образом, как язык буржуазии, как язык эпохи уничтожения феодализма и введения основ буржуазного (буржуазно-демократического) порядка. Выражения «неполитичны», — так как явно антидемократичны, — настолько, что противоречат политическому бытию даже буржуазного общества; «бестактны», потому что политическая (парламентская) тактика буржуазии не допускает прямого, немифологизированного, нериторического выражения классово-эгоистических интересов, ибо буржуазия должна говорить от имени всего общества, получившего — в парламентаризме — политическое бытие. «Лавочки» и «мужики» — это полное отрицание буржуазной демократии с точки зрения сословно-дворянской исключительности. И в то же время феодально-высокомерное выражение «лавочки» (сравн. «ветошников» и пр. на дворянских устах в 1614 г. и т. п.) — это грубость с точки зрения парламентских норм, выражение, лишенное евфемистичности. «Неполитичность», «бестактность», «грубость» — все эти оценочные морально-эстетические определения речевого стиля, на поверхностный взгляд — всеобщей значимости, общекультурные, независимые от классовой практики, от политики, — на деле оказываются частью определенной политики или идейными отложениями политики в качестве норм языка, распространяющихся далеко за пределы языка политического, получающих силу в бытовом языке и т. д. Языку «дикого помещика» противостоит язык «сознательного рабочего», язык, уже свободный от парламентской риторики, прямой язык пролетариата: не «лавочки», а «буржуазия», не «мужицкий», а «крестьянский» и т. д.

Между прямой языком «дикого помещика» и «сознательного рабочего» — огромная качественная разница.

Прямота языка помещиков есть прямота непонимания процесса общественного развития, метафизического отрицания буржуазно-демократической стадии этого процесса, — непонимания и отрицания с полуфеодальных позиций, т. е. с пережиточной точки зрения предшествовавшей более низкой ступени общественного бытия. В этом и заключается ди-

кость помещиков, политическая дикость языка, которым они выражали свои классовые интересы. Дикость этого языка — обратная сторона его прямоты. Обе они вытекают из бытия дворянско-помещичьего класса, как пережившего себя и до предела обнажающего классовые корни своей идеологии, обнажающего свои интересы, которые нечем прикрыть. Именно поэтому «эта прямота сплошь да рядом во сто раз полезнее для развития политического сознания масс, чем избитые фразы либералов, претендующих на «надклассовую» позицию» (В. И. Ленин).

«Прямой язык помещика-крепостника» никого не может обмануть, ибо каждому ясно, чьи интересы он выражает; воспитательное значение его заключается в том, что массы наглядно уясняют себе сущность политики эксплуатирующего класса. Прямой язык пролетариата вытекает из природы рабочего класса, как класса восходящего и атакующего буржуазный порядок с позиций, знаменующих поднятие общественной жизни на высшую ступень развития по сравнению с капиталистическим этапом. Прямота языка пролетариата прямо противоположна прямоте языка помещиков. Прямота языка пролетариата есть прямота понимания процесса общественного развития и вытекает из существа рабочего класса, который, владея адекватным действительности диалектико-материалистическим методом познания, в то же время не нуждается в непрямом, риторическом выражении своих классовых интересов, ибо они действительно совпадают с интересами всего общества. Прямота помещичьего языка — недialeктическое, одностороннее, наивно-эмпирическое выражение узко-эгоистических классовых интересов. Таковы ее пределы. Между языком «диких помещиков» и «сознательного рабочего» лежит парламентский язык буржуазии, по отношению к которому первый еще враждебен, а второй уже враждебен. Классовый политический язык пролетариата рожден в недрах парламентаризма. Но, преодолевая парламентскую риторику, он противостоит парламентскому языку, как политическому языку буржуазии, он враждебен «парламентскому способу выражения», мнимо конкретизированному и софистическому.

В. И. Ленин в статье «Три запроса» конкретно показывает столкновение в российском парламенте языка «дикого помещика» с языком «сознательного рабочего», причем иронически подчеркнул «грубость» и «разнузданность» этой полемики с точки зрения кадетского способа выражения. С точки зрения либерально буржуазной это — «неуместные», непарламентские речи.

В. И. Ленин указывает на «дуэль Маркова 2-го и Петрова 3-го — люди с номерами, как нарочно, чтобы показать, что перед нами типичные представители соответствующих классов, такие, каких много». Эта дуэль произошла по вопросу о голоде в III Думе в 1911 г.

«Перед вами речи, которые не могли быть сказаны в России ни пятьдесят, ни двадцать, ни даже семь лет тому назад, если взять эти речи в их совокупности. Дуэль Маркова 2-го и Петрова 3-го — люди с номерами, как нарочно, чтобы показать, что перед нами типичные представители соответствующих классов, такие, каких много. Марков 2-й нападает по-старому, Петров 3-й обороняется и переходит от обороны к наступлению, не по-старому.

Марков 2-й: «...Голословные и совершенно не вызванные фактическим положением дела нападки объясняются, конечно... тем, что, что бы ни делало русское правительство, необходимо надо бунговать»... «в западных губерниях... люди трудятся на земле и делают то, что у вас на Волге, не хотят делать» — (к кому обращается оратор со словами: «у вас на Волге», не совсем ясно, ибо раньше него говорил лишь трудовик Кропотков из Вятской губернии; очевидно, «у нас на Волге» — это сказано не про думских депутатов, не про то, что есть или было в Думе, а про нечто другое) — ибо на Волге слишком много лодырей, и это надо помнить... Мы знаем, что у вас много среди голодающих тех, кого действительно надо заставить поголодать, дабы он работал, а не бездельничал».

Петров 3-й, хотя он и не с Волги, а от Пермской губернии, отвечает: «Опять напоминаю, господа, если Марков 2-й не лодырь, то он должен вспомнить 1905 и 1906 года, после кото-

рых господа помещики получили миллионные пособия из государственного казначейства. Что это значит? Прежде об этом должны вспомнить, а бросать вызов крестьянам вы не имели на то права».

Марков 2-й (с места): «Потише; любезный!»

Как грубо ведут себя эти «вторые» и «третьи», не правда ли?

Какая разнузданность — по сравнению с тем чинным, достойным, государственным языком, которым Дзюбинские доказывали предводителям дворянства несовершенство продовольственных правил 1850.. то бишь 1900 года. Точно из приличного кабинета приличного «общественного деятеля» мы попали куда-то на площадь, на улицу, в толкотню, суматоху. Какое неприличие, какое беспокойство! Но мы увидим сейчас, как водворил «порядок» — не подумайте: председатель, нет — приличный общественный деятель, член конституционно-демократической партии, г. Шингарев. Но сначала покончим с современной картинкой нравов».

И дальше В. И. Ленин продолжает цитировать речь Петрова 3 го.

«... Петров 3-й: Я думаю, господа, коренной вопрос, как уничтожить всякие голодовки, именно заключается в том, чтобы взять землю из рук тех, которые ее не возделывают, этих господ «не лодырей», и передать тем, которые ее возделывают, и до тех пор, пока вы не передадите, — я это знаю вверно; — крестьянское население будет голодать. Само собою ясно, что та война, которая была в 1905 году, неизбежна, к этому ведете вы, потому что голодный человек, он что зверь, и в этом отношении вы вызываете население на то, чтобы оно создало революцию и силой вырвало то, что ему принадлежит по праву».

«Если бы председателем III Думы был Муромцев, он, наверное, бы оборвал оратора: в первой Думе он обрывал за такие неуместные речи. За отсутствием Муромцева «порядок» водворил следующий оратор Шингарев. Маркова 2-го он прямо пристыдил за «балаганные поты», а Петрову 3-му преподал урок, как следует полемизировать с Марковым. Товарищ Маркова по фракции, Вишневский — сказал г. Шингарев, —

«говорил искренно» и говорил за принятие вопроса. Он, Шингарев, «надеется, что правительство будет умнее, чем речь депутата Маркова... долг русского народного представителя сказать таким господам: стыдно вам».

«Родичев и Шингарев окончательно пристыдили Маркова, а Шингарев своей образцовой полемикой с Марковым уничтожил совсем «третьего»¹.

«Образцовая» полемика Шингарева, который пристыдил Маркова и уничтожил совсем «третьего», есть образец «парламентского способа выражения», «приличного» языка парламента, а не беспокойного «неприличного» языка улицы, т. е. обнаженного языка непримиримых классовых интересов.

Шингаревское: «стыдно вам», так же, как родичевские «клятвы» — «романтический» язык моральных, юридических и пр. фикций, которым либеральная буржуазия выражала не действительную борьбу с феодализмом и его остатками, как когда-то в эпоху своей молодости, а прикрывая политику сплошных компромиссов с дворянско-бюрократическими силами, выражала мнимую борьбу с этими силами.

«Маклаков, — писал В. И. Ленин, — в статье «Сожаление и стыд», — от имени всего так называемого «конституционного центра» (т. е. от имени кадетов и октябристов) защищает обычную фикцию конституционной монархии. Но кадетская или кадетско-октябристская «защита» сводится к пустой фразе. При чем тут сожаление и стыд («к великому сожалению и к великому стыду»... — фраза Маклакова, которую анализирует В. И. Ленин), когда вопрос идет о силе...» Речь шла о нарушении конституции столыпинским правительством (о применении 87 статьи).

«Основной мотив речи Столыпина — защита «справ короны» от всякого «умаления». «Значение 87 статьи — говорил Столыпин — определяет права короны и не может быть умалено без создания нежелательного прецедента». Столыпин восстает против «опорочения права верховной власти применять ст. 87 при чрезвычайных обстоятельствах, возникших до рос-

¹ В. И. Ленин. Сочинения, 2 изд., т. XV, стр. 321—330.

пуска палат». «Это право неопровержимо» — заявил Столыпин, — «оно зиждется, основано на жизненных условиях». «Всякое другое толкование этого права неприемлемо, оно нарушало бы смысл и разум закона, оно сводило бы и право монарха применять чрезвычайные указы на нет».

Все это очень ясно и все это не фраза. Вопрос ставится цинично-реалистически». Корона и попытки умаления... Если возникает спор, кому в последнем счете истолковывать смысл права, то решает этот спор сила. Все это очень ясно и все это не фраза.

Напротив, чистейшей фразой и жонглерством, юридическими фикциями были «пылкие, горячие, страстные убежденные» упреки Маклакова: «к великому сожалению и к великому стыду» (отчет речи 28 апр. стр. 4). Я услышал-де несколько ссылок на корону...»¹

Так вырождается буржуазно парламентская ораторская борьба.

С точки зрения закулисных сделок, словесные турниры бесплодны, даже нецелесообразны.

Однако у буржуазии и дворянско-помещичьего класса есть общий классовый враг — пролетариат, представленный даже в самом парламенте, — и «чистейшая фраза» либерально-буржуазных и социал-фашистских ораторов, формально направляясь против реакции (такова «чистейшая фраза» и «революционная фраза» мировой «социал-демократии»), фактически служит способом противодействия пролетариату в его борьбе против буржуазного порядка и в частности против фикций парламентаризма.

Так парламентский язык, с его демократическими лозунгами, «парламентский способ выражения», — возникнув как орудие буржуазии в борьбе с феодализмом, превращается полностью в орудие буржуазии для идеологического пленения пролетариата.

Поэтому не только глубокий методологический, но и чисто политический смысл имеет следующее выражение В. И. Ленина: «Нет ничего более противного духу марксизма, как фраза.»²

¹ В. И. Ленин, Сочинения, 2 изд., т. XV, стр. 184—188.

² В. И. Ленин, Сочинения, т. XI, кн. 2, стр. 458.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Буржуа привык считать «реальностью» то, что лежит перед самым носом, почему этот класс всегда вступал в компромиссы (даже с феодализмом). Рабочий же класс по самой природе вещей должен быть честно революционным.

К. Маркс.

Политический язык пролетариата возник, как диалектическое противоречие парламентскому языку.

«Романтический» язык, власть «фразы», неадекватного выражения, был канонизован буржуазией, как система норм «парламентского способа выражения» — евфемистического, перифразического и двусмысленного. Кодифицированный «парламентский способ выражения» был освещен эстетически и морально, как «красноречие», как нормы публичной речи, обособленного языка идеологии.

Эти речевые нормы являются принципами и речевой — ораторской — тактики буржуазии, как части ее общеполитической тактики.

Каждый новый политический день приносит все новые иллюстрации этого положения. Вот одна яркая иллюстрация из области дипломатического языка.

В ответе генеральному секретарю Лиги наций от 23 апреля 1931 г. наркоминдел т. Литвинов, анализируя письмо (от 1 апр. 1931 г.) генерального секретаря Лиги, содержавшее «приглашение» СССР на 3 сессию комиссии по изучению европейского союза в Женеве и приложенный к письму предварительный порядок дня сессии, между прочим писал:

«Если после вашего первого приглашения в связи с пан-

Европой мне пришлось, указывая на неясность и двусмысленность решения январской сессии комиссии, отметить, что «приглашаемым» придется поехать в Женеву, чтобы узнать точно, для чего их приглашали то после вашего второго письма приходится сказать, что «приглашаемым» предлагается поехать в Женеву для того, чтобы узнать также, когда они приглашаются туда. Я полагаю, что другие примеры подобных методов приглашения вряд ли можно найти при изучении не только Европы, но и внеевропейских стран. Подобные приглашения можно было бы объективно истолковать как провоцирование отказа принять приглашение, если не иметь в виду...» и т. д.¹

Таким образом М. М. Литвинову пришлось прибегнуть к расшифровке языка официальных документов — постановления январской сессии паневропейской комиссии (соответствующую часть письма наркоминдела я не цитирую) и затем «приглашения» генерального секретаря Лиги наций от 1 апр. 1931 г., — заняться прояснением неясности и снятием двусмысленности этого языка парламентской риторики, гамальтоновской «логики».

Оперируя языком формальной логики, буржуазия изменяет и формально-логической определенности и последовательности, когда к этому вынуждают ее интересы.

Неподвижность, ограниченность, негибкость формально-логических понятий обращается в гибкость, примененную субъективно, т. е. софистику. В. И. Ленин писал о диалектике:

«Всесторонняя универсальная гибкость понятий, гибкость, доходящая до тождества противоположностей, — вот в чем суть. Эта гибкость, примененная субъективно, равна эклектике и софистике (подчеркнуто мною. В. Г.). Гибкость, примененная объективно (подчеркнуто В. И. Лениным), т. е. отражающая всесторонность мате-

¹ Известия ЦИК Союза ССР, № 116, от 27 апреля 1931 г., стр. 1. Подчеркнуто мною.

риального процесса и единства его, есть диалектика, есть правильное отражение вечного развития мира». ¹

Кроме того, диалектика всякий раз устанавливает реальные связи и опосредствования явлений действительности, рассматривая явления в их целокупности и взаимозависимости, тогда как софистика и эклектика берут изолированно отдельные моменты в их неподвижности, в отрыве от реального изменения и рассматривают их сообразно субъективному «интересу».

Софистике буржуазного политического языка противостоит объективная материалистическая диалектика политического языка пролетариата. Речи М. М. Литвинова, так же, как его ноты, — блестящие образцы разоблачения софистики официального политического языка монополистического капитала, языка в его наиболее характерной — дипломатической — жанровой разновидности. Дипломатический язык пролетарского государства впервые во всемирной истории выступил как отрицание и разоблачение дипломатического языка, который, как известно, был дан дипломатам для того, чтобы скрывать свои мысли. Впервые в истории язык дипломатической акции отождествился с адекватным выражением действительных политических интересов широчайших народных масс всего мира.

Пролетариат принципиально не нуждается в нормах парламентского языка, и ему враждебен язык искажающего выражения, потому что, владея более совершенным и точным методом познания действительности, он в то же время не заинтересован в ее смазывании. Напротив, ее разоблачение соответствует его классовым интересам, которые объективно суть интересы всего общества.

Политический язык буржуазии когда-то был разоблачением действительности по сравнению с политическим языком феодально-дворянского класса. Но, идя к власти с политическими лозунгами, отражавшими интересы всего общества,

¹ Конспект «Науки логики», «Под знаменем марксизма» № 1—2. 1925 г., стр. 23.

буржуазия несла с собою свое классовое господство, а не уничтожение классов. Уже поэтому ее политический язык был неизбежно классово-искажающим языком, публичная речь — «романтическим» языком буржуазной риторики.

Политический язык пролетариата, будучи классовым языком, в то же время не является искажающим, так как классовые интересы пролетариата совпадают с задачей уничтожения классов вообще. Классовая борьба пролетариата направлена на уничтожение классов и следовательно классовой борьбы вообще.

Отсюда — снятие классовой ограниченности, которое происходит в политическом языке пролетариата. Пролетариат ни в какой мере не заинтересован в сохранении классовой исключительности идеологии, в культивировании плюзорной выразительности речи для защиты своего господства. Он не нуждается в обмане для достижения классовых интересов. Напротив, он освобождает классовую борьбу от риторических прикрытий.

Поэтому падают принципиальные различия письменного и устного языка, речи частной и публичной, языка науки и языка агитации.

Падает языковой дуализм — отрознивание языка идеологии. Падает риторика. Однако завершение этих языковых процессов возможно только в социалистическом обществе.

Проблема риторики стоит перед пролетариатом, как проблема ее преодоления, как проблема достижения высшей выразительности, высшей объективной достоверности слова.

Ораторская речь освобождается от риторики, потому что революционный пролетариат в лице своей коммунистической партии ведет научную политику, а риторика есть мистифицированная политика, риторика, как теория, есть мистифицированная теория политической борьбы.

Политический язык пролетариата вообще и в частности язык устной агитации, т. е. язык публичной, ораторской речи — принципиально, по речевому методу, ничем не отличается от языка науки. Коммунистическая агитация научна, а не риторична. Буржуазная и добуржуазная традиция раз-

деления языка науки и языка агитации, т. е. языка фактов и языка риторического обмана, несоответствия политической фразеологии политической действительности, несоответствия, осознаваемого даже самой буржуазией, эта традиция привела к отождествлению агитационного лозунга и политического обмана. «Ложь и пропаганда связаны неразрывно». Оратор — красноречив. Ораторская речь — демагогия, ораторство — фразерство и т. п. Эти представления правильны, но именно в отношении к буржуазной агитации и пропаганде, к буржуазному оратору и к буржуазной ораторской речи, которая так или иначе неизбежно риторична.

Вот, почему на вопрос свердловцев: «Рабоче-крестьянское правительство — фактически, или как агитационный лозунг», — И. В. Сталин ответил:

«Формулировка вопроса кажется мне несколько несуровой. Выходит, что партия может давать и такие лозунги, которые не соответствуют на деле действительности, а служат лишь целям какого-то хитрого маневра, почему-то названного здесь «агитацией». Выходит, что партия может давать и такие лозунги, которые не могут иметь научного обоснования. Верно ли это? Конечно неверно. Такая партия заслуживала бы того, чтобы, просуществовав короткий срок, исчезнуть потом, как мыльный пузырь. Наша партия была бы тогда не партией пролетариата, ведущей научную политику, а пустой пеной на поверхности политических событий».

Эти слова т. Сталина имеют такое же принципиальное методологическое и политическое значение, как и слова Ленина: «нет ничего более противного духу марксизма, как фраза».

То обстоятельство, что буржуазия в значительной мере стихийно осуществляет свою классовую политику, что буржуазная наука о надстройках, об идеологиях неизбежно остается на сравнительно низком уровне научной достоверности, — это обстоятельство находится в самой тесной связи с тем, что буржуазия склонна различать язык науки от языка, политики. Политический язык буржуазии действительно

не научен. Но ей кажется, что вообще наука и политика — вещи принципиально разные. Так как она не знает политики как действительной науки, то и не понимает, что наука политична, а политика может быть научна. А так как буржуазия в соответствии с присущими ей особенностями мышления считает, что ее наука есть наука «вообще» и никакой другой науки и быть не может, то она склонна полагать, что политический язык это принципиально ненаучный язык, и если политический язык враждебен ее классовым интересам или кажется ей таковым, то это, следовательно, не только не научный, но антинаучный язык. Наука и агитация в ее глазах — две вещи несовместные, как «гений и злодейство».

Поэтому буржуазия не в состоянии понять, что коммунистическая пропаганда и агитация научна.

Между тем политические речи основоположников научного социализма, — идеологии пролетариата, как класса для себя, — Маркса и Энгельса, являются уже превосходными образцами пролетарской агитации и пропаганды, научно достоверной. Между политическим языком Маркса и Энгельса в их ораторских речах и в их в узком смысле научных работах нет никакого принципиального расхождения; и там и здесь — диалектико-материалистический речевой стиль.

По мере того, как углублялись противоречия капиталистического общества, по мере формирования пролетариата как класса «для себя» из класса «в себе», политический язык пролетариата все решительнее преодолевает риторичность парламентского языка, буржуазную «фразу». Если буржуазный социализм получает свое соответствующее выражение там, где он выступает как обнаженная риторика, то идеология революционного пролетариата находит соответствующее, адекватное выражение в разрыве с этой риторикой.

Парламентский язык — это язык буржуазный по содержанию и соответственно риторический по форме, по «способу выражения». Политический язык пролетариата, как класса «в себе», возникает как антибуржуазный по содержанию и риторический — еще — по форме. Чем осознаннее становилось для пролетариата содержание его политики, его классовые

задачи, чем более осмыслились тактика и стратегия его политической борьбы под руководством авангарда класса — политической партии, тем решительнее освобождалось новое содержание от иллюзорности риторической формы выражения. Пролетариат не создает никакой новой риторики. Но он использует на известном этапе полученную в наследство риторичность языка, как старую форму для нового содержания.

Использование риторических форм языка для выражения нового содержания в процессе классовой борьбы пролетариата аналогично до известной степени использованию права, которое из орудия классового подчинения и господства превращается в руках пролетариата в орудие уничтожения классов и, следовательно, уничтожает само себя.

В эпоху чартизма в речах пролетарских ораторов — чартистов еще сильны риторические формы, поскольку сильны идеологические влияния буржуазии, поскольку пролетариат боролся под знаменем буржуазной демократии и либеральной рабочей политики. Достаточно напомнить для примера речь известного чартистского агитатора Юлиана Гарнея над могилой Самюэля Гольбери, чартиста, умершего в тюрьме. Эта надгробная речь, сказанная 27 июня 1842 года (в Аттерклифе близ Шеффилда), кончалась следующей клятвой:

«Клянись вечной истиной наших принципов, мертвыми останками нашего убитого брата; клянись в то время, как дух Гольбери витает над нами и одобрительно улыбается нашей клятве; клянись соединиться в одну бесчисленную духовную фалангу и вести гигантскую борьбу, которой союз обеспечат успех, клянись поддерживать и любить друг друга, чтобы разрушить тяготеющие над нами оковы. Клянись, как я клянусь теперь, что ни преследование, ни ненависть, ни клевета, ни засовы, ни решетки, ни цепи, ни пытки, ни виселицы, ни смертные муки на тюремном ложе, ни ужас эшафота не заставят нас изменить нашим принципам, изменить нашему долгу или покинуть путь к свободе. Пусть будут страдания, пусть будут муки, — мы поклянемся перед троном вечной справедливости добиться

отмщения за смерть Гольбери; мы поклянемся добиться узаконения Хартии и навсегда уничтожить покрытый кровью деслотизм, убивший тысячу мучеников и десятки тысяч патриотов и умертвивший на своем алтаре поклонников свободы и истины». ¹

Нетрудно обнаружить в этой клятве яркие черты идущей от якобинцев риторики, черты речевого стиля революционной буржуазии, стиля, от которого английская буржуазия 40-х годов шарахалась в страхе... Риторические формы выражают новое социальное содержание, но не осознанное еще до конца, как новое, еще искаженное буржуазно-демократической «мифологией». Блестящую характеристику Гарнея, являющуюся в то же время характеристикой и многих других чартистских агитаторов, их речевого стиля, дал Маркс в письме к Энгельсу 23 февр. 1851 года:

«Он любит театральные эффекты, ищет одобрения, я не хочу сказать, что он *vaniteux*. Он сам находится со власти фразы и развивает чрезвычайно богатые водержанием разнообразные патетические газы. Он глубже увяз в демократической пакости (*Dreck*), чем это ему хотелось обнаружить. У него две души — одна, которую ему дал Фридрих Энгельс, и другая — его собственная...» ²

Здесь названы все признаки парламентской риторики в языке чартистов.

Основоположники научного коммунизма начали историческую борьбу за подлинно-пролетарский речевой стиль; эту борьбу против «власти фразы» на новом и решающем историческом этапе углубил и расширил В. И. Ленин. Процесс становления пролетарского политического языка есть процесс превращения риторического языка политики в научный политический язык, который и есть язык марксизма-ленинизма.

Всякое приближение к политическому языку революцион-

¹ Р. Гаммедж, «История чартизма», стр. 251 — 252.

² Маркс и Энгельс, «Письма», 1928. Стр. 43. Подчеркнуто мною.

ного пролетариата есть преодоление в той или иной мере буржуазной и всякой другой риторики.

Парламентский язык настолько иллюзорен, что чутким буржуазным ученым бросались в глаза «разоблачение, уничтожение видимости, личности» в агитации таких даже ораторов, как Фердинанд Лассалья, о котором Энгельс писал, что он «был очень ненадежным союзником, в будущем он был бы почти наверно нашим врагом». Известны теоретическая путаница и серьезнейшие ошибки в идеалистических и эклектических воззрениях Лассалья, характерных для мелкобуржуазного радикализма (трактовка права и государства, идея государственной поддержки «производственных ассоциаций», «железный закон», лозунг всеобщего избирательного права, как панацеи от всех бед и т. п.). Не менее очевидна — недавно опубликованы новые материалы — резко подчеркнутая Марксом грубо оппортунистическая тактика — «реальная» политика Лассалья (альянс с Бисмарком, соглашение с прусской реакцией, которое было по словам Энгельса «объективной изменой всему рабочему движению») и его политическое сужителство. Маркс в письме к Кугельману 23 февр. 1865 года (о Лассале), объяснял, между прочим, почему ему, Марксу, «в данный момент нечего делать в Пруссии. Тамашнее правительство прямо отказало мне в праве на репатриацию. Агитация мне была бы разрешена только в том случае, если бы она приняла форму, желательную г. Бисмарку.»¹

Известно, что агитация Лассалья как раз приняла форму, желательную Бисмарку и тем самым не может быть названа подлинно пролетарской агитацией, политический язык Лассалья — пролетарским политическим языком. Политический язык Лассалья, блестящего парламентского полемиста — это в основном парламентский язык. «Способ выражения» Лассалья, его парламентская «громкая фраза» естественно встретили возражения

¹ Цит по сборн. «Памяти Лассалья», 1925. Стр. 118. Существеннейшая критика политических воззрений Лассалья дана Марксом в письме к Швейдеру 13 окт. 1868 г. (см. Маркс и Энгельс, Письма, 1928, стр. 145).

Маркса и Энгельса. Прочитав работу Лассалья «Система приобретенных прав» (1861), Энгельс между прочим замечает в письме к Марксу 2 дек. 1861 года: «Мил также и стиль. Ломающее руки отчаяние противоречия и т. д.». ¹ Эта стилистическая деталь подмечена Энгельсом не спроста. Подобного рода выражения лишь крайнее и частное проявление стилевой установки Лассалья, идеологически враждебной творцам научного социализма. В письме к Энгельсу 7 мая 1861 г. Маркс, отмечая недостатки Лассалья, указывает между прочим на «его зараженность старым французским либерализмом; широковещательный слог его писаний, навязчивость, бестактность и т. д.». ²

«Широковещательный слог», раздражавший Маркса, неразрывен с «громкой фразой». Энгельс указывал на «громкую фразу» Лассалья. «...Принимают (Эйзенаховцы. В. Г.) громкую, но исторически ложную лассалевскую фразу, что по отношению к рабочему классу все прочие классы представляют лишь одну реакционную массу. Это положение справедливо только в отдельных исключительных случаях, например, при пролетарской революции, как Коммуна, или в стране, где уже не только буржуазия переделала общество и государство по образу своему, но где уже после нее демократическая мелкая буржуазия довела эту переделку до последних выводов». ³

Энгельс вскрыл, что «громкая» парламентская фраза Лассалья возникла из абстрактного формально-логического обобщения, из недиалектического воззрения. «Громкая фраза» и «широковещательный слог» Лассалья соответствуют его «идеологизму», о котором Маркс писал Энгельсу 9 дек. 1861 г. (о «Системе приобретенных прав»): «Второй том интереснее хотя бы из-за латинских цитат. Насквозь пропитан идеологизмом и диалектический метод применяется неправильно».

¹ Маркс и Энгельс, Письма, стр. 128.

² Там же, стр. 127.

³ Письмо Энгельса Бебелю 18 марта 1875 г., Сб. «Памяти Лассалья», стр. 317.

Подведение множества «случаев» под общий принцип Гегель никогда не называл диалектикой». ¹

Эту критику Лассалья нужно сопоставить с критикой чартистов (Гарнея и др.). Между Лассалем и чартистами было политически много общего. Прямая стилевая связь агитации Лассалья с агитацией чартистов, прямое влияние на Лассалья метода чартистской агитации, ее «фразы», «театральных эффектов», «патетических газгов» и пр. совершенно несомненны (эта связь указана Германом Шлютером, который отметил разительные совпадения, даже конкретно стиливого характера).

Итак, во-первых, Марксу и Энгельсу был враждебен парламентский язык Лассалья (как и Гарнея), язык, на который они неоднократно обращали специальное внимание, и, во-вторых, они не ограничивались абстрактно-формальным оценочным суждением, но говорили о языке, как о выразительном методе, об особенностях языка, как об особенностях идеологии.

В. И. Ленин писал о «мелкобуржуазно-неясной фразе» Лассалья: «Разбивая мелкобуржуазно-неясную фразу Лассалья о «равенстве» и «справедливости» вообще (подчеркнуто В. И. Лениным), Маркс показывает ход развития коммунистического общества, которое вынуждено сначала уничтожить только ту «несправедливость», что средства производства захвачены отдельными лицами, и которое не в состоянии сразу уничтожить и дальнейшую несправедливость, состоящую в распределении предметов потребления («по работе» (а не по потребностям)...» ² Таким образом Ленин подчеркнул, что фраза Лассалья, т. е. его риторика, выражала непонимание «хода развития» действительности, была следствием непреодоленной Лассалем неконкретности и абстрактной общности, недialeктичности его политического мышления, находившегося в плену мелкобуржуазных лозунгов, радикальной фразе-

¹ Маркс и Энгельс, «Письма», стр. 128.

² В. И. Ленин, Сочинения, т. XXI, «Государство и революция», стр. 434.

ологии, грубо оппортунистических воззрений, положивших начало «лассальянству».

Но все же агитация Лассалья способствовала в известной мере пробуждению политической активности германских рабочих масс, — Лассаль неоднократно напоминал о всемирно-исторической роли пролетариата, хотя и ошибался насчет политического пути. В дитированном письме к Кугельману 23 февр. 1865 г. Маркс писал: «...Я воздавал должное его агитаторским заслугам, хотя к концу его непродолжительной карьеры и самая эта агитация начинала казаться мне все более и более двусмысленной». Агитаторские заслуги Лассалья были повидимому причиной тому, что Маркс «не поддался с разных сторон исходящим побуждениям и ни разу не напал на него во время «года его торжества» (из письма Маркса к Энгельсу 7 сент. 1864 г.).¹ Лассаль немало позаимствовал у Маркса и Энгельса, и если на его агитации сказались с большой силой мелкобуржуазные влияния, то в известной степени в ней нашли выражение и некоторые идеи революционного пролетариата. Этот факт повлек к преувеличенным восторгам перед Лассалем-агитатором со стороны таких критиков, как Мering, Плеханов и др., вообще исказивших действительный политический облик Лассалья. Г. В. Плеханов в известной статье «Ф. Лассаль, его жизнь и деятельность» безоговорочно превозносит «красноречие» Лассалья, «которое не имеет ничего общего с риторикой. Слова не служат искусственным и преувеличенным выражением чувств оратора». Не говоря уже о том, что здесь Плеханов обнаружил поверхностное и однобокое понимание риторики (кстати сказать, широко распространенное), он не заметил парламентского характера «красноречия» Лассалья, ничего не сказал о двусмысленности его агитации и следовательно о двусмысленности, двойственности стиля, в котором на ряду с парламентским языком сказались несомненно и противоположные тенденции пролетарского политического языка.

¹ Маркс и Энгельс, Письма, 1928, стр. 132.

Поэтому неудивительно, что буржуазный ученый Георг Брандес считал политический язык Лассалья языком высшей адекватности и объявил стилистической особенностью Лассалья «говорить все напрямик».

«В тесной связи, — писал Г. Брандес, — со стилистической особенностью Лассалья — говорить все напрямик — находится и реалистическая его особенность: выделять всегда голый факт и высказывать его. Логическим исходным пунктом его агитации является всегда разоблачение, уничтожение видности, личины, под которой скрывается данное явление».¹

Брандес, конечно, преувеличил эту «стилистическую» и «реалистическую» особенность Лассалья. Точнее говоря, политические воззрения Брандеса не позволили ему разглядеть, что «разоблачение» было зачастую неполным и мнимым, что политический язык знаменитого агитатора был далеко не всегда адекватен действительности, ибо «выделение голого факта» нуждается еще в правильной интерпретации его. Однако, указание Брандеса на «фактическое красноречие» Лассалья необычайно характерно. Еще интереснее тот факт, что сам Лассаль неоднократно подчеркивал научный характер своих речей. Он противопоставлял свое ораторство либерально-буржуазному «краснобайству». Он защищал свой ораторский метод, пропагандировал его значение, как нового метода, к которому он намерен «приучить» аудиторию.

«Как я сказал, я отпесусь к этой теме строго научно». (Программа работников, речь 12 апреля 1862 года в Берлине). «Замечу заранее, господа, что речь моя будет строго научна» («О сущности конституции», речь в берлинском бюргерском окружном собрании в 1862 г.). «Знайτε наперед, что цель моей речи не увеселять вас. Я пришел сюда не для того, чтобы увлекать вас ораторскими шутками... Я обращаюсь к вашему разуму; мне придется сообщить вам научные факты, и я прошу вас посвящать моей речи самое глубокое внимание именно в тех местах, где она будет суха, будет состоять из цитат, цифр и фактов... Я пришел... поведать вам всю

¹ Г. Брандес, Собр. сочин., т. XIV, Ф. Лассаль, стр. 182.

истину без прикрас...» (Речь во Франкфурте на Майне 17 мая 1863 г.). «Либеральная пресса упрекала и бранила меня за мою речь... Она нашла ужасным, неслыханным, что я говорил 4 часа. Но, господа, не от оратора, а от предмета речи зависит длина ее, а предмет моей речи так важен, что его никак нельзя было удовлетворительно рассмотреть в более сжатом очерке... Кроме того, меня упрекают за то, что я сообщал вам скучные, сухие статистические материалы. Предположим даже, что эти материалы показались вам не занимательными; все-таки я не мог поступить иначе, не мог обойтись без них и впредь всегда буду сообщать вам подобные данные. Мы собираемся заниматься экономическими вопросами, а не красноречием. Вы еще не привыкли к статистическому материалу; поэтому вас надо хорошенько начать им, надо возбудить в вас вкус к нему...» (Речь во Франкфурте на Майне, 19 мая 1863 г.).¹

Таким образом, Лассаль, поскольку он пытался противопоставить свою агитацию агитации буржуазной, буржуазно-либеральной, уже тем самым должен был декларировать отказ от «ораторских штук», объявить войну риторике, которой противопоставлено обращение к разуму, к цифрам, к фактам. Однако, «строгая научность», которую подчеркивал Лассаль особенно усердно также из цензурных соображений, не спасла его агитацию от преследований. Она была сразу же заподозрена предрезающими властями, которые усмотрели в речах Лассалья не «науку», а «политику». Весьма любопытен в связи с этим анализ политического языка Лассалья, сделанный немецким коронным судом.

В обвинительном акте по делу Лассалья о прочтении и опубликовании лекции «Программа рабочих», разбиравшемуся в Берлине 16 января 1863 г., говорится между прочим следующее:

«Хотя обвиняемый Лассаль придал своей лекции вид научности, но тенденции ее совершенно практические, а именно: представляя рабочее сословие, как он его назы-

¹ Ф. Лассаль, Сочинения, изд. Глаголева, т. II, стр. 105, 138, 139.

ваег, единственным нравственным началом в народе, призванным притом февральской революцией 1848 года к господству, поддерживая в рабочих — путем преувеличенного и софистического восхваления их — уверенность, что они призваны господствовать, он вместе с тем напоминает им, как буржуазия еще до сих пор распоряжается на их счет, да вдобавок еще презирает их... Этими изображениями и неоднократными указаниями на предстоящую будто бы социальную революцию рабочие очевидно возбуждаются к ненависти и презрению буржуазии...»

В мотивировочной части приговора суда читаем: «Возбуждение к ненависти и презрению обнаруживается как в обличении порочности высших сословий, под которыми разумеются имущие классы, и средств, которыми буржуазия сделала капитал господствующим принципом общества, так и в особенности из приемов обвиняемого сопоставлять, формулировать и излагать результаты своих размышлений перед публикой, не стоящей на той высоте просвещения, которая позволяла бы ей понимать научную сторону лекции»¹.

Эти цитаты хорошо иллюстрируют воззрение эксплуатирующих классов, что агитация несовместима с научностью, что она прикрывает научностью свои практические тенденции. Таким образом оказывается, что наука — это одно, а практические тенденции — совершенно другое, особенно если эти тенденции враждебны буржуазии. Оказывается, что «научная сторона» — это одно, и притом же «научная сторона» недоступна рабочей аудитории, как не стоящей «на высоте просвещения», а «приемы обвиняемого... излагать», т. е. агитационная форма — это нечто другое, несовместимое с «научной стороной» и вредное.

По мере роста классового самосознания пролетариата и следовательно развития пролетарского политического языка риторические формы, риторические элементы выражения частью уничтожаются, изживаются вовсе, частью же про-

¹ Ф. Лассаль, Собр. сочин., изд. Н. Глаголева, т. I, стр. 85, 88—89, 102. Подчеркнуто мною.

должают существовать, но в снятом виде. Это значит, что риторические элементы утрачивают свою риторическую сущность наподобие, скажем, тому, как языковые метафоры или даже формальные признаки рода в грамматической системе, бывшие некогда непосредственным выражением содержания, собственною формою идеологии, стали впоследствии функциональной несобственной формой, формою формы в качестве так назыв. средств выражения (метафоры) или же голыми реликтами языка (грамматический род).

Надо вообще иметь в виду, что пролетариат создает свой политический язык на основе общей с буржуазией коммуникативной языковой системы. Уже поэтому и так как элементы выражения абстрактны—в системе языка есть только общее,¹—специфика политического языка пролетариата обнаруживается не в отдельных абстрактно взятых элементах, а в методе их конкретизации в социальной практике, в методе преодоления их общности, их абстракции в каждом данном высказывании, в подчинении целостному конкретному смыслу. Это и означает, что отдельные и частные элементы выражения осмысливаются, т. е. приобретают определенность в «контексте». Не существует для стиля такая-то метафора «вообще» или такая-то гипербола «вообще», кроме как в сознании риторов. Любое изолированное предложение, почти любой изолированный лозунг и т. п. может «значить» различные и даже противоположные вещи, в зависимости от метода конкретизации, от стиля. Достаточно проанализировать хотя бы употребление слова «социализм».

Речевой стиль В. И. Ленина есть речевой стиль пролетариата эпохи империализма, победоносной пролетарской революции и решительных боев с гниющим капитализмом за социализм, т. е. речевой стиль зрелого пролетариата, свободный от какой бы то ни было риторики.

Но тут может подняться торжествующий ритор: — Позвольте поймать вас на слове. Известно ли вам, например, «обраще-

¹ «В языке есть только общее» — указывает Ленин («Ленинский Сборник» XII, стр. 223).

ние к богу» Ленина-оратора? Известны ли вам следующие выражения из речи на XI съезде партии 27 марта 1922 г.:

«У нас 18 наркоматов, из них не менее 15 никуда негодны, — найти везде хороших наркомов нельзя, дай бог, чтобы люди уделяли этому больше внимания». ¹ «За публичное оказательство меньшевизма наши революционные суды должны расстреливать, а иначе это не наши суды, а бог знает что такое». ¹

— Или, быть может, — продолжает торжествующий ритор, — вы откажетесь признать за выражениями «дай бог» и «бог знает что» их риторическую роль сперва в феодально-теологической риторике, а затем в риторике буржуазной? Откажетесь признать за ними громадный риторический стаж? — Но здесь и кончается торжество воображаемого ритора, который, по законам риторики, выставлен мною слишком прямолинейным простаком. Иначе говоря, я выбрал для иллюстрации наиболее «легкий» и «самоочевидный» пример. Совершенно верно, что выражение «дай бог» имеет громадный риторический стаж и пр. И тем не менее совершенно очевидно, что это выражение в ленинском языке, в ленинском речевом стиле лишено не только теологического «запаха», но и буржуазно-риторического. Достаточно сравнить, напр., с полуфеодально-буржуазной риторичностью телеграфного обращения председателя IV Гос. Думы Родзянко к Николаю II 26 февраля 1917 г.: «...Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца». ² Но мало этого. Стигматическое качество анализируемых выражений у Ленина окончательно проявляется сопоставлением с таким выражением из той же речи: «В комиссиях чорт погу сломает, никто ничего не разберет, кто отвечает...» ³ В сущности каждое из выражений «дай бог», «бог его знает что», «чорт погу сломает» пред-

¹ Речь на съезде XI РКП (б), отчет ЦК, 27 марта 1922 г. Собр. соч., изд. 3, т. XXVII, стр. 258, 240.

² Цит. по воспом. М. В. Родзянко «Госуд. Дума и февральская революция», Сборн. «Февральская революция», стр. 41.

³ Ленин, сочинения, т. XXVII, стр. 258.

ставляет собою одно слово. Слова бог или чорт стали формальными компонентами нового слова. Так же, как в выражении «чорт ногу сломает» давно нет чорта, нет бога в ленинском использовании выражения «дай бог». В том-то и дело, что В. И. Ленин взял их не из языка идеологии, а из бытового языка, где эти выражения — первое совершенно, а второе в значительной степени формализировались в своем генетическом значении. Выражения разговорного языка: 1) «дай бог», 2) «бог его знает что» — далеко не всегда сохраняют теологическое значение; чем дальше, тем больше они выступают в качестве субститута выражений: 1) хорошо бы, очень желательно, следовало бы пр., т. е. выражений пожелания, 2) неведомо что, безобразие, неурядок и пр., т. е. выражений недоумения, непонимания, неодобрения. Эти выражения спустились в бытовой язык с теологических высот и утратили прямую связь с языком определенной идеологии. В соответствующем сгилевом плане взятые в соответствующем «контексте» (как у Родзянки), они еще могут вновь приобрести так или иначе риторическое значение, стать компонентом — и даже существенным — риторической «фразы». Но и любой элемент выражения, любое слово или синтаксическое фразовое единство может с тем или иным успехом послужить материалом для риторической «фразы». В абстрациях языка, как системы средств коммуникации, всегда имеется потенциальная возможность идеалистического и риторического искажающего выражения при недостаточной или мнимой конкретизации того общего, которое дано в языке.

Итак, подмеченные гипотетическим ритором выражения вошли в речь В. И. Ленина из разговорного бытового языка, выразительные элементы которого были использованы Лениным как раз для борьбы с риторическим языком идеологии, враждебной пролетариату, для борьбы с риторикой, а не для создания новой риторики.

Эти выражения вошли в речь В. И. Ленина наряду с огромным количеством других элементов бытового разговорного языка, которые дали повод говорить о снижении стиля у В. И. Ленина и вообще у пролетарских ораторов. Это опре-

деление неконкретно и двусмысленно. Снижается не стиль, а «пышная фраза», разоблачается «романтический» декламационный язык буржуазной идеологии. Разоблачается «фраза», точнее, свержается ее власть. Снижается не выражение действительности, а «высокая» символика риторического языка, мешающая проявлению фактов, реальных отношений и закономерностей действительности. Уничтожается «фетишизм» идеологического языка, свержается ораторская «магия слов». Лексическая и синтаксическая установка на разговорный язык знаменовала штурм обособленного идеологического языка, «жреческого» языка буржуазной политики. Эта стилевая установка была противопоставлена «витийственному грому», кафедральному языку. В. И. Ленин сломал буржуазную кафедру, символизировавшую священную обособленность языка идеологии, языка политики: «внимайте и трепещите».

То, что папа непогрешим, когда говорит *ex cathedra*, — этот догмат обнажает социальную роль особого кафедрального языка, которым закреплялось за господствующим классом владение «тайнами истинного звания». Некоторые западные теоретики церковной речи замечали, что «искусственность» языка проповедника зависит от того, что церковная кафедра расположена «слишком высоко», чрезмерно отделена от аудитории, от слушателей. Но расположение кафедры и характер языка, вполне согласованные между собой, обусловлены одним и тем же основанием, и никак нельзя усмотреть в расположении кафедры причину «искусственности» языка проповеди: скорее можно было сказать наоборот.

Широкая установка на разговорно-речевые элементы знаменовала у В. И. Ленина освобождение публичной речи от кафедральной «магической» атмосферы, особым образом обволакивавшей ораторское слово, политическое слово ораждебного класса. Это был один из моментов разгрома стилевой цитадели врага, его политической латыни, развенчания «парламентского способа выражения», буржуазного «красноречия». Дело было не в каком-то «украшении» или «оживлении» стиля многочисленными разговорными словами, словечками и выражениями, как это обычно объясняется,

дело было не в орнаментализме и не в ораторском подлаживании под язык «народа», а в создании нового качества политического ораторского языка.

Одним из моментов создания нового качества и явилось обращение за материалом к разговорному языку, которое взрывало закрепощенный за буржуазной идеологией письменный и ораторский язык, его сакраментальную форму. Лишь политический язык пролетариата впервые в истории выступил как язык широчайших масс по содержанию и по форме, как адекватное выражение сознательного исторического творчества, в которое впервые вовлечены не в пассивном и страдательном качестве, а в качестве творцов истории широчайшие народные массы. Политика становится действительно всеобщим делом, и политический язык — из жреческого языка — действительным языком массовых интересов. Ораторский язык, категорий публичной речи, раскрывается в своем высшем качестве, исторически созревает, как язык пролетарской демократии. Ораторский язык пролетариата есть язык с действительным и полным ораторским адресом; он действительно и полно адресуется массам. Он есть действительно общий язык оратора с массами.

Все это необходимо иметь в виду для понимания, в частности, связанных с обращением к разговорному языку стилизованных явлений в речах В. И. Ленина.

Лозунг пролетарского оратора: «не декламировать, а объяснять почему...» конкретизируется дополнением: объяснять массам. Деловое объяснение, обсуждение политических вопросов в коллективе, а не «магическое» внушение, не стихийное пленение сознания толпы; не «витийствование», а собеседование.

Ленин доводил свою речь до сознания каждого отдельного слушателя. Благодаря необычайно выразительной конкретизации смыслов речи, для Ленина не существовало главной ораторской трудности — речевого контакта со всей аудиторией и с каждым из слушателей в отдельности. Ленин как бы говорил и для всех зараз, и одновременно для каждого

в отдельности, как в беседе. Здесь-то и сказались уничтожение кафедральной атмосферы ораторского слова.

В речи на XI съезде партии 27 марта 1922 г. стиливая установка на элементы разговорной речи, собеседования, развернута необычайно ярко, при чем нужно принять во внимание, что перед нами не речь на митинге, а политический отчет Ц. К. на партийном съезде¹.

Приведу примеры этой установки, воздержавшись от детального комментария. Прежде всего бросается в глаза громадный стиливой сдвиг, достигаемый путем соответствующего использования так назыв. «разговорных оборотов» речи, и внедрения отдельных словосочетаний, иногда аморфных или полуморфных словечек «диалектной» так или иначе окраски:

...Тут была куча и других ошибок...

...Ясное дело чего не хватает...

...Тамошине собеседники...

...Подняли шумиху...

...Жуют и пережевывают...

...Пошлет ко всем чертям...

...Нет, извините, не в том дело...

... Если ты ответственный коммунист, сотни чинов и званий и кавалера коммунистического имеешь...

...Кажинный день...

...Кто в этой самой Генуе сядет за стол...

...Люди то все превосходные...

...Пускай себе порты пишут...

...Пускай себе заблуждаются...

...Одни с той стороны, что, дескать, вы...

...Крестьянин нам кредит оказывает... и т. п.

Очень существенен синтактико-интонационный уклад смысловых единств, действенный и помимо разговорно-речевого материала: «На этом надо учиться и действовать дальше. В этом смысле пора перестать нервничать, кричать, суетиться. Идут записки за записками, телефонограммы за теле-

¹ В. И. Ленин Сочинения, 3 изд., т. XXVII, стр. 225—259.

фонограммами: «Нельзя ли нас тоже переорганизовать, потому что у нас Нэп». Все суетятся, получается кутерьма: практического дела никто не делает, а все рассуждают, как приспособиться к Нэпу, и результата никакого не получается. А купцы над коммунистами смеются и, вероятно, приговаривают: «раньше были главноуговаривающие, а теперь главно-разговаривающие».

На этом примере хорошо уловим уклад и тон беседной речи, даже ее ритм. Интонационное оживление, свойственное разговорной речи, дано путем ввода «чужих» слов (в разговоре обычно именно прямая «закорыченная» передача). Приблизительно такова же функция союза «а», трижды и по разному использованного (в частности в значении, близком к «и»). Союз «а» в широком использовании (иногда просто как зачин) тоже очень характерен для разговорного строя речи.

«Но сейчас дело обстоит так, что мы должны проверку нашей работы установить уже серьезную, не ту, которая бывает через контрольные учреждения, теми же коммунистами создаваемые, хотя бы эти контрольные учреждения и в системе советских учреждений, и в системе партийных учреждений были бы почти идеальными контрольными учреждениями»...

«Коммунист и лучший, и заведомо честный, и преданный, который каторгу выносил и смерти не боялся, а торговли он вести не умел, потому что он не делец и этому не учился, и не хочет учиться и не понимает, что с азов должен учиться».

В последней фразе повторяющееся слово «учиться» — семантически и тематически центральное. Это явление обычное у Ленина. Кроме редких случаев, когда предложения складываются в расчлененный период с его симметрией, единоначатием и пр., синтаксис Ленина явно раскрепощен даже внешне: это не синтаксис «высокой» ораторской «декламации», не кафедральный синтаксис. С точки зрения риторического «хорошего тона» предложения толпятся, «как попало» в пределах сложного синтаксического единства; слова

повторяются; кроме того предложения нередко разрываются скобками. Синтаксис необычайно емко, гибко и подвижен, его структура отражает всю диалектическую сложность и полноту выражения многообразной и противоречивой действительности. Равным образом освобождены от риторической функции так назыв. «тропы» и «фигуры» — материал сравнений, метафор, аналогий и пр., которые из универсальных средств формальной аргументации, из «общих мест» иллюзорной выразительности превращаются в частные проявления действительной конкретизации выражения. Примеров сколько угодно.

В диалектико-материалистическом речевом методе снимается призрачное существование «самостоятельных» метафор, сравнений и пр. форм, «как таковых».

Историческая функция стиля — в данном случае речи на XI съезде — раскрывается только тогда, когда мы учтем руководившее оратором понимание политической обстановки и вытекающих из нее ближайших задач. Ленину нужно было, во-первых, разоблачить преувеличенное значение и внимание, уделявшиеся в то время предстоявшей Генуэзской конференции, как фактору «мировой политики», и во-вторых, особенно акцентировать революционное значение и сущность «домашней» политики — именно задачу организации Нэпа, т. е. хозяйственного возрождения страны на новых началах, в условиях пролетарской диктатуры. Отсюда и стилевое развенчание, «снижение» Генуи («трескотня насчет Генуи», «мы едем в Геную, как купцы», «кто в этой самой Генуе сядет за стол» и т. п.), ибо не Генуя являлась в действительности «главным вопросом политики», а Нэп. Последний же требовал нового, по сравнению с военным периодом, качества революционной работы — «умения хозяйничать» при помощи организации «смычки с крестьянской экономикой». Отсюда и особая стилевая организация темы, как бы стаскивающая ее с вершин «высокой» политики и теории на практическую почву повседневной хозяйственной деятельности: «Капиталист умел снабжать. Он это делал плохо, он это делал грабительно, он нас оскорблял, он нас грабил. Это знают про-

стые рабочие и крестьяне, которые не рассуждают о коммунизме, потому что не знают, что это за штука такая. Но капиталисты все же умели снабжать, а вы умеете?.. Ведь вот какие голоса раздавались в прошлом году весной»... и т. д. Отсюда элементы коммерческого «языка» — «кредит», «векселя», «платить наличными» и т. п., сравнения коммунистов с «рядовым приказчиком, который бегал по лабазу десять лет», и пр. и пр. Способ выражения оратора настолько резок и необычаен, что Ленин вводит даже специальную мотивировку, которая еще более подчеркивает принятый стилевой план: «..Она (т. е. страна, В. Г.), если можно употребить коммерческий термин, спросит наличными».: «Это, если выразиться по нэповски, векселя, но сроки на этих векселях не написаны».

Стилевая установка Ленина приводит не к «снижению» темы, а к приближению, как темы деловой и практической, осмысление которой является руководством к действию (в нашем примере — тема Нэпа). Отсюда — особый агитационный пафос речей Ленина, не имеющих ничего общего с театральными эффектами и патетическими газами парламентского стиля.

Из приведенной частной иллюстрации на материале речи 27 марта 1922 г. можно видеть, как В. И. Ленин создавал публично-речевой стиль необычайно высокой выразительности, стиль, лишенный какой бы то ни было риторичности, при помощи выразительных элементов общего с буржуазией языка как системы средств коммуникации. В. И. Ленин нанес решительный сокрушительный удар особому ораторскому языку, даже его внешним риторическим формам. Достаточно вспомнить, как заканчивал свои речи В. И. Ленин. Очень типичен финал речи 27 марта 1922 г.:

«..Если это будет признано и раз есть у нас достаточная к этому возможность, — а, судя по общему международному положению, у нас хватит времени на то, чтобы успеть выучиться, — это надо сделать во что бы то ни стало» (стр. 259).

Между тем в риторике — финал речи излюбленное место для использования «патетических газов».

Проблемой ленинского речевого стиля является прежде всего проблема диалектико-материалистической конкретизации выражения, применительно к задачам и условиям социальной практики, для организованного воздействия на действительность с целью ее революционного преобразования. Эта конкретизация служит организатором сознания аудитории (широчайших народных масс) и в частности каждой непосредственно данной аудитории (собрания) и следовательно организатором массового социального действия. Всяческая «фраза» — величайшее зло уже потому, что она, по выражению Ленина, «засоряет сознание». Политический язык должен быть точен, т. е. максимально конкретен. Отсюда необычайная внимательность Ленина к точности, конкретности выражения, даже к языковым «мелочам».

В общеизвестной заметке о русском языке он предлагает объявить «войну коверканию русского языка» и, конечно, не с точки зрения какого бы то ни было «пуризма», а с точки зрения смысловых недоразумений и ошибок, проистекающих из самого факта несознательного и небрежного отношения к языку, как средству общения и форме идеологии. Ленина раздражает неправильное словоупотребление («будировать»), употребление иностранных дублетов и т. и.

О внимательности Ленина к языку свидетельствуют в частности и следующие места из цитируемой речи: «Я бы очень хотел взять, например, несколько гострестов (если выражаться этим прекрасным языком, который так хвалил Тургенев) ...» «...Тут осталось коммунистическое чванство — комчванство, выражаясь тем же великим русским языком». (Стр. 233, 234). Не следует, конечно, думать, что Ленин выступал как принципиальный противник «сокращений». Он сигнализировал здесь опасность механического и безразличного, в конечном счете ненаучного, стихийного отношения к языку. В этой же речи он, иронически правда, но уже тем самым с определенной стилиевой функцией (т. е. сознательно и не механически) создает новое «сокращение», не только «комчванство», но и «комвранье» (стр. 243), чтобы подчер-

кнуть, как легко без нужды наводнить язык «сокращениями». Внимательность к политическому языку, к языку агитации должна быть направлена прежде всего на борьбу со всеми явлениями, которые, по выражению Ленина в заметке о русском языке, — «затрудняют наше влияние на массы». Ленин учитывает каждый термин, проверяет каждый «оборот» речи, ибо язык насквозь идеологичен. Он анализирует и дифференцирует выражения, ибо всякая неясность, неточность, двусмысленность есть потенциальная, а часто и не только потенциальная идеологическая ошибка, искажение действительного положения вещей. Он борется с евфемистичностью, приблизительностью, неопределенностью, общностью выражений, используя все языковые возможности для уточнения.

«..Машина едет не совсем так, а очень часто совсем не так, как воображает тот, кто сидит у руля этой машины». (Цит. речь 27 марта 1922 г., стр. 237, подчеркнуто мною). «Мы можем с гордостью похвастать, что мы до сих пор умели использовать все эти ходы и выходы в разных сочетаниях применительно к разным обстоятельствам, но теперь у нас больше никаких выходов нет. Позвольте это всем сказать без всякого преувеличения, так что в этом смысле, действительно, «последний и решительный бой, не с международным капиталом, — там еще много будет «последних и решительных боев», — нет, а вот с русским капитализмом, с тем, который растет из мелкого крестьянского хозяйства, с тем, который им подерживается» (там же, стр. 235, подчеркнуто мною).

«Тут не новал, не экономическая и не политика, а просто издевка» (там же, стр. 249).

В последнем примере, где Ленин как бы подчеркнул требование соответствия «слова» и «дела», он расчленяет на смысловые части понятие — «нрп» и ставит отрицание после каждой смысловой части, составляющей этот термин, чтобы выпятить полную того содержания, которое этот термин выражает, чтобы показать, к чему обязывает слово «нрп», т. е. «новая экономическая политика».

Равным образом, прекрасным образом материалистической диалектики в политическом языке может служить то место из цитируемой речи, где Ленин говорит о государственном капитализме, анализируя и определяя значение этого термина, освобождая понятие государственного капитализма от абстрактной формально-логической неподвижности, при которой его употребление искажает действительность («мы впадаем в интеллигентщину, в либерализм, мудрим насчет того, как понимать государственный капитализм»... (См. стр. 236—237).

Борьба с «фразой», со словесным «фетишизмом», с абстракциями языка — в речевом стиле Ленина есть, так сказать, другая сторона того качества стиля, который между прочим отметил Н. Семашко, говоря о Ленине-полемисте: «его манера была в основе взять вопрос». «. Он улавливал смысл основного положения и хватал быка за рога... Его манера была в основе взять вопрос, взять миросозерцание своего противника и его критиковать, с ним драться.»¹ Взять вопрос в основе — это конечно не только полемическая манера, а метод В. И. Ленина. Для того, чтобы «взять вопрос в основе», нужен адекватный действительности язык, диалектико-материалистический «способ выражения». Нужно уметь осознать и выразить «в чем гвоздь», ибо «основа вопроса» нечто подвижное и конкретное. Фетишизация выражения (напр. того или другого лозунга, тезиса) питается главным образом формально-логической неподвижностью и односторонностью, абстрактной идеализацией смысла, когда выражение «зацепляет» одно только «звено» действительности, и притом «искусственно выбранное» звено. В той же речи 27 марта 1922 г. В. И. Ленин говорил: «Политические события всегда запутаны и сложны. Их можно сравнивать с цепью. Чтобы уцепиться за всю цепь, нельзя зацепиться за одно только звено. Нельзя искусственно выбрать себе то звено, за которое хочешь зацепиться. В 1917 г. в чем был весь гвоздь? В выходе из войны, чего требовал весь народ, и это

¹ Н. Семашко, В. И. Ленин, «Молодая Гвардия — Ленину», № 2 — 3 1924, стр. 453.

покрывало все... В 1919 и 1920 гг. в чем был гвоздь? — Отпор военный.. В 1921 г. гвоздем было отступление в порядке. Вот почему нужна была сугубая дисциплина.. А теперь в чем гвоздь...» и т. д. (стр. 254 — 255).

Ленин, таким образом, объявил непримиримую войну всем и всяческим проявлениям словесного фетишизма, тем «словечкам», которые прямо или косвенно служат политическим иллюзиям. Опаснее и враждебнее всего «словечко», которое «объединяет» самые различные вещи. «Лозунги надо ставить для того, чтобы в пропаганде и агитации разъяснить массам непримиримое различие между социализмом и капитализмом (империализмом), а не для того, чтобы примирить (подчеркнуто Лениным) два враждебных класса и две враждебных политики посредством такого словечка, которое «объединяет» самые различные вещи». ¹ Здесь дано в очень сжатой форме основное принципиальное указание на решающее отличие политического языка пролетариата от политического языка буржуазии с точки зрения стратегии и тактики классовой борьбы пролетариата и в частности, его языковой — публично-речевой политики. Затем,ряду с риторическим словом, которое обслуживает идеологическими фикциями иллюзии классового мира и тем разоружает пролетариат, выступает риторика «революционная» или по ленинской терминологии «революционная фраза», о которой уже говорилось выше неоднократно и которая опасна и враждебна — ибо тоже разоружает и дезориентирует политически рабочий класс — хотя бы тем, что она недиалектически-абстрактна, применяется «без анализа» и к «любому конкретному положению», и уже поэтому является марксистской лишь внешне-фразеологически. Ленин предостерегал от превращения лозунга во фразу: «Не надо превращать во фразу великий лозунг: «Мы ставим карту на победу социализма в Европе. Это — истина, если иметь в виду долгий и трудный путь победы социализма до конца. Это — бесспорная, философски — историческая истина, если брать всю «эру социалистической

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. XVIII, «Вопрос о мире», 1915 г., стр. 226.

революции» в ее целом. Но всякая абстрактная истина становится фразой, если применить ее к любому конкретному положению. Бесспорно, что в каждой стачке кроется гидра социальной революции. Вздорно, будто от каждой стачки можно сразу шагнуть к революции»¹. Таким образом, всякий раз, как сбиваются с дороги диалектико-материалистического широкого и углубленно-критического анализа действительного положения вещей, укрываясь под сенью готовых лозунгов — «абстрактно-истинных», — так сейчас же рождается риторика. Поэтому и лозунг, который вчера при иной обстановке был действительным, безукоризненно правильным лозунгом, будучи некритически повторен сегодня при изменившемся положении, неизбежно становится риторическим, превращаясь в «пустую» и «вредную» фразу по ленинской терминологии: лозунги имеют свойство застывать и умирать. Именно этим свойством лозунга широко пользовалась и пользуется буржуазия (мы видим это хотя бы на примере цитаты из Бамбергера) с целью препятствования освободительной борьбе пролетариата и даже крестьянства, стремясь задержать развитие классовой борьбы, фатальной для буржуазии, на пройденных позициях, на вчерашнем дне. Такова роль в настоящее время демократических лозунгов о «свободах», «народоправстве» и т. п., которые усиленно изготавливаются — при помощи клише столетней давности — мировой социал-демократией. Но поэтому пролетариату необходимо следить, чтобы вчерашние лозунги, окостеневшие сегодня, не мешали вести правильную классовую политику, и чтобы лозунги, по выражению Ленина «не ковыляли вслед за событиями». О лозунгах В. И. Ленин писал: «Всякий лозунг, бросаемый партией в массы, имеет свойство застывать, делаться мертвым, сохранять силу свою для многих даже тогда, когда изменились условия, создавшие необходимость этого лозунга. Это зло неизбежное, и, не научившись бороться с ним и побеждать его, нельзя обеспечить правильную политику партии»². Борьба с этим злом в плане публично-речевой

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. XXII, стр. 292.

² В. И. Ленин, Сочинения, т. XXIII, «Ценные признания Пит. Сорочкина», стр. 293.

практики есть оплть-таки борьба с словесным фетишизмом, «властью фразы» и стилевой инерцией, т. е. с проявлением риторики в политическом языке пролетариата.

Проблема речевого стиля Левина есть проблема огромной важности потому, что марксистско-ленинский стиль агитации и пропаганды — это высшая форма политического языка пролетариата эпохи империализма и пролетарской революции. Классовый язык пролетариата не совпадает с языком всех отдельных пролетариев и групп пролетариата, но в каждый данный исторический момент своего развития есть язык передового, политически наиболее зрелого слоя, классового авангарда, т. е. прежде всего язык ведущей научную коммунистическую политику партии пролетариата и далее ее крупнейших представителей, ибо «партия — сознательный, передовой слой класса, его авангард» (В. И. Ленин)¹. Уже по самой природе пролетариата, как класса, политическая партия пролетариата есть революционная политическая партия и пролетарский политический язык есть революционный политический язык. И так как пролетариат стремится к полному уничтожению капиталистического и вообще классового общества, то лишь политическая партия пролетариата есть бескомпромиссно революционная (честно революционная, по выражению К. Маркса) партия и политический язык пролетариата есть бескомпромиссно-революционный язык. В языке Маркса и Энгельса и основанной ими коммунистической партии политический язык пролетариата исторически «нашел себя», оформилось классовое качество этого языка. Политический язык освободился от риторики, отдельные элементы которой продолжали существовать, как средства агитационно-пропагандистской борьбы в легальных условиях капиталистического общества. Политический язык пролетариата был языком политической подготовки пролетарской революции. Развитие этой подготовки и затем победоносная пролетарская революция и строительство социализма в СССР были дальнейшими историческими этапами развития политического языка про-

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. XVI, стр. 633.

летариата, как языка ленинской партии большевиков-коммунистов. Победа пролетарской революции знаменовала переключение политического языка пролетариата на высшую историческую ступень развития уже не в условиях буржуазного господства, а в условиях диктатуры пролетариата, социалистического государства. На этой ступени политический язык пролетариата, язык коммунистической агитации и пропаганды освободился от нужды в каких бы то ни было риторических «приемах» и формах выражения. Политика нашла свою собственную форму речевого выражения, свой адекватный язык, ибо «только диктатура пролетариата в состоянии освободить человечество от гнета капитала, от лжи, фальши, лицемерия буржуазной демократии, этой демократии для богатых... (В. И. Ленин) ¹.

На этой высшей ступени политического общества и раскрывается в полном и высшем качестве категория публичной речи, как языковая категория политического общества. Развитие пролетарского публично-речевого стиля эпохи подготовки и победы пролетарской революции, эпохи социалистического строительства есть выражение агитационной и пропагандистской борьбы коммунистической партии за подлинно марксистско-ленинскую политику, за генеральную линию партии, которая осуществляет эту политику, против всяческих буржуазных, мелко-буржуазных (меньшевистских, троцкистских и пр.), правых и «левых» оппортунистических течений и отклонений. Поэтому неизбежно всякое принципиальное отклонение от марксистско-ленинской генеральной линии партии влечет за собою в политической речи рецидивы риторичности и риторики.

Новейшая стадия пролетарского публично-речевого стиля — это марксистско-ленинский язык агитации и пропаганды эпохи социалистического строительства и мирового кризиса капитализма. Высшие формы этого языка даны в речах коммунистических вождей советского и мирового пролетариата, — прежде всего в речах И. В. Сталина.

¹ В. И. Ленин, Соч., т. XXIII, 2 изд., с.р. 441 — 442.

В капиталистических странах пролетарский политический язык есть язык агитации и пропаганды коммунистических партий, входящих в III Интернационал, поскольку ими проводится свободная от теоретических и тактических ошибок марксистско-ленинская политика, ибо «ленинизм есть явление интернациональное, имеющее корни во всем международном развитии, а не только русском» (И. В. Сталин).¹ Специфические особенности языка коммунистической агитации в странах капитала зависят ближайшим образом от конкретных условий, в которых пролетариат противодействует господству капитализма в разных странах.

Само собою разумеется, что проблема пролетарского языка и в частности языка публичной речи всем вышесказанным не только не исчерпывается, но даже и не намечается с необходимой полнотой и основательностью. Для широкой и последовательной постановки этой проблемы требуется разрешение, в частности, ряда общелингвистических вопросов, стоящих на очереди дня (проблемы синтаксиса, образности, лексики и т. п.). Требуется во всяком случае специальная работа, посвященная вопросам, которых нельзя ни ставить, ни решать мимоходом. Требуется внимательное всестороннее изучение марксистско-ленинского языка, марксистско-ленинского речевого стиля, марксистско-ленинской языковой политики и т. д. Ленинский речевой метод, ленинские речевые формы — должны быть центральным вопросом этого изучения.

Здесь же было необходимо констатировать только, что политический язык пролетариата так же относится к политическому, риторическому, языку всех других классов, как подлинно-научная теория к религиозной мифологии; что политический язык пролетариата не только первый в истории язык адекватного выражения, но в то же время первый в истории язык, как политическое орудие в руках широчайших народных масс, а не в руках эксплуатирующих классов.

Риторика провозглашала, что «основание красноречия суть страсти» (Сперанский, Правила высшего красноречия, 1844) —

¹ И. Сталин, Вопросы ленинизма, стр. 6.

и не спроста. Красноречие эксплуатирующих классов, имевшее целью идеологическое подчинение, располагало с исторической неизбежностью, в качестве основных ресурсов, именно средствами и путями эмоционального воздействия, стихийного импульсивного возбуждения сознания аудитории для внушения мифологических — в той или иной степени — представлений и понятий. Оратор должен был полюбить (а для этого «пленить») аудиторию. Отсюда выросла теория риторического языка, — как такого, который «строится» по «законам слушателя», для которого характерны «убеждающие тенденции» и т. п. Отсюда риторическая проблема слушателя — изучение аудитории с точки зрения средств ее «уловления», покорения, и широчайшая спекуляция на формально-логических и чувственных «способах» убеждения и внушения. Объективно понятие красноречия неизбежно включало в себя эту спекуляцию. В этом смысле красноречие было у эксплуатирующих классов тем, что В. И. Ленин называл «фразой», «пышной фразой» и т. п.

Только пролетарский оратор, свободный от буржуазных влияний, стал на принципиально другую позицию, опрокидывая всякую риторику. Для него аудитория не «гибра» подлежащая укрощению, а масса трудящихся, подлежащих политическому воспитанию и научению, как переделывать действительность. Не внушение, а разъяснение, «срывание всех и всяческих масок»; не заклинание, а вооружение знанием, что и как делать; не идеологическое воззрение и дезориентация, а раскрытие действительных интересов и организация классового сознания для борьбы за социализм. Поэтому и существует огромное качественное различие между ораторским мастерством добуржуазных и буржуазных ораторов и, с другой стороны, пролетарских. Ленин отменил Цицерона и всех других Цицеронов не тем, что, будучи великим оратором, создал новую риторику, а тем, что дал свободные от риторики образцы пролетарской ораторской речи огромного познавательного значения и впечатляющей силы, которая — в отличие от Цицерона с его «духами Исократ» и «музыкой» — выросла не из «приемов» ораторской магии, а

из высокой выразительности адекватного слова. Несокрушимая логическая, эмоциональная сила ленинских речей (как и статей) — результат великого умения в достижении соответствия между «словом» и «делом», т. е. действительностью, — той социальной практикой, которой ленинское слово служило и служит. Это было самое нужное и верное слово.

Выше было замечено, что в пролетарском политическом языке снимаются принципиальные методологические различия между языком письменным и устным, между языком науки и агитации и т. д. Падает особенный ораторский язык и вместе с тем падает риторичность письменного политического языка, которая в далеком историческом прошлом была перенесена туда из публичной речи, бывшей некогда единственным или почти единственной формой политической речи.

Между пролетарским языком письменной (печатной) и устной агитации остаются лишь методические, а не методологические различия, вызываемые условиями социальной практики и в частности условиями непосредственного и посредственного языкового общения в политической жизни.

Эти условия и сами по себе изменчивы, — они зависят от общеполитических условий. При царском режиме пролетарская агитация в основном протекала в устно-речевой форме, тогда как пропаганда шла преимущественно в форме письменной речи. В. И. Ленин в «Что делать», анализируя отличия агитации и пропаганды, писал, что пропагандист действует «главным образом печатным, а агитатор живым словом». Теперь, когда миллионные тиражи коммунистических газет СССР ежедневно агитируют печатным словом и с другой стороны когда освободившийся пролетариат имеет полную возможность и все технические средства вести широчайшую пропаганду не только печатную, но и устную, — положение резко изменилось по сравнению с условиями работы при царском режиме, и вообще с условиями работы в любом капиталистическом обществе. Изменчивы и подвижны исторически также и границы и соотношения между агитацией и пропагандой. Теперь они не те, что до Октября, и не те, что

в первый период Октябрьской революции и т. д. Пропаганда и агитация, и устная и печатная, в современных условиях носят массовый характер. Однако, принципиально, ленинский взгляд на агитацию и пропаганду, высказанный в полемике с Мартыновым, остается в силе. Имеется, например, теоретический трактат, пропагандистская брошюра и агитационная речь по одному и тому же политическому вопросу и выражающие одну и ту же точку зрения на этот вопрос. В чем скажутся различия в построении речи пропагандиста и агитатора? В. И. Ленин отвечает на этот вопрос указанием на различный характер аргументации — более сложной у пропагандиста и более простой, доступной у агитатора. Различие не в методе конкретизации вопроса (метод один), а в способах конкретизации в соответствии с условиями и требованиями социальной практики, определяющими характер данного речевого действия (кому, для чего и в каких условиях адресуется речь).

Агитатор материалов конкретизации вопроса берет наиболее близкие непосредственно касающиеся аудитории отдельные и частные явления, воздерживается от сложных и многосторонних обобщений, жертвует теоретической полнотой изложения, он заостряет внимание аудитории на одной наиболее актуальной «идее». Пропагандист же материалом конкретизации вопроса берет более сложную совокупность многообразных связей и отношений конкретной действительности и, приходя к выводам, дает теоретически более полное многостороннее освещение вопроса, дает сразу «много идей».

«Пропагандист, если он берет, например, тот же вопрос о безработице, должен разъяснить капиталистическую природу кризисов, показать причину их неизбежности в современном обществе, обрисовать необходимость его преобразования в социалистическое общество и т. д. Одним словом, он должен дать и много «идей», настолько много, что сразу все эти идеи, во всей их совокупности будут усваиваться лишь немногими (сравнительно) лицами. Агитатор же, говоря о том же вопросе, возьмет самый известный всем его слушателями самый выдающийся пример, — скажем, смерть от голодания безработной семьи, усиление нищенства и т. п. — и направит все свои усилия на то, чтобы,

пользуясь этим, всем и каждому знакомым фактом, дать «массе» одну идею: идею о бессмысленности противоречия между ростом богатства и ростом нищеты, постарается возбудить в массе недовольство и возмущение этой вопиющей несправедливостью, предоставляя полное объяснение этого противоречия пропагандисту. Пропагандист действует поэтому главным образом печатным, агитатор — живым словом. От пропагандиста требуются не те качества, что от агитатора»¹.

Язык политической агитации — это язык конкретных повседневных фактов социальной практики, — «живых картин» — и выводов, ближайшим образом вытекающих из уяснения политической сущности этих фактов. Раскрытие их политической сущности неразрывно связано с разоблачением тех искажений, тех «прикрытий», которыми классовый враг идеологически парализует «революционную активность масс». Здесь всякое объяснение неразрывно связано с разоблачением и обличением, т. е. с политическим противодействием. Поэтому агитация — всегда борьба, всегда спор. Поэтому агитация всегда партийна. Партийностью агитации определяется ее политическое существо, ее качество.

Говоря о задачах агитации, В. И. Ленин указывал в «Что делать», что политически сознательный рабочий должен уметь «ясно представлять себе» экономическое и социально-политическое положение вещей и «уметь разбираться в тех ходячих фразах и всевозможных софизмах, которыми прикрывает (подчеркнуто Лениным) каждый класс и каждый слой свои эгоистические пожелания и свое настоящее «внутри», уметь разбираться в том, какие учреждения и законы отражают и как именно отражают те или другие интересы. А это «ясное представление» не почерпнешь ни из какой книжки: его могут дать только живые картины и по горячим следам составленные обличения (подчеркнуто мною, В. Г.) того, что происходит в данный момент вокруг нас, о чем говорят по-своему или хотя бы перешептываются все и каждый, что выражается в таких-то событиях,

¹ Ленин, «Что делать» Гиз, 1930, стр. 78.

в таких-то цифрах, в таких-то судебных приговорах и проч. и проч. и проч. Эти всесторонние политические обличения представляют из себя необходимое и основное (подчеркнуто Лениным) условие воспитания революционной активности масс». ¹

Такова сущность всякой революционно-пролетарской агитации, но конкретное историческое содержание ее, конечно, различно и многообразно: оно диктуется условиями конкретной политической обстановки, текущим политическим моментом. До Октября конкретные задачи агитации были не те, что в период Октябрьского переворота. В период военного коммунизма иные, чем в период восстановления хозяйства — эра. В период социалистического строительства и жесточайшего мирового кризиса капитализма перед коммунистической агитацией встали новые важнейшие задачи и прежде всего — разоблачения всех и всяческих уклонов от генеральной линии ленинской партии, троцкистских и прочих буржуазных влияний, противодействующих построению социализма в СССР и борьбе за мировой Октябрь. Соответственно отмирают или отходят на задний план одни формы агитации, одни формы агитационно-политической речи и ее частные методы, и возникают другие, новые формы и частные методы. В. И. Ленин неоднократно указывал на то, что агитация должна быть гибкой, не должна застывать на пройденных исторических этапах, что агитация и пропаганда не могут и не должны жить вчерашним днем. В постановлениях съездов, конференций и совещаний ВКП (б) (в международном масштабе — в резолюциях Коминтерна) запечатлены в основном исторические этапы в агитации и пропаганде в соответствии с новыми политическими задачами революционного пролетариата.

Но при всех конкретных изменениях в содержании и методике агитации ее сущность и общий метод остаются едиными. Агитация остается орудием «революционного воспитания масс», пока существует классовая борьба, а методом —

¹ Ленин, «Что делать», Гиз, 1930, стр. 82.

марксистско-ленинский метод. Все это обуславливает конкретное развитие пролетарского публично-речевого стиля.

Само собою разумеется, что на практике сплошь и рядом нет возможности точно определить, где кончается агитационная и где начинается пропагандистская речь; границы между ними подвижны даже в синхронистическом плане, и сказываются они не столько на отдельных речевых образцах, сколько в общем масштабе, в общих соотношениях агитационной и пропагандистской речевой практики.

Как бы то ни было, В. И. Ленин резко подчеркнул роль публичной речи, как речи агитационной. Следовательно, теория агитации и пропаганды обязательно столкнется с теми особенностями публичной речи, которые если даже и не вытекают из методических различий агитации и пропаганды, то во всяком случае рождаются из совокупности условий непосредственного языкового общения политического характера. Здесь будут и чисто-технические проблемы звучания и произношения и т. п. (однако имеющие свою политическую сторону) и более широкие и принципиальные вопросы техники публичных выступлений и, наконец, ряд конкретных стилиевых проблем, связанных с проблемой смысловой «доходчивости» ораторского слова — с проблемами лексического отбора, синтаксических особенностей и т. п., возникающими не только из конкретных различий в условиях и обстановке выступления, но и вообще из самого факта предназначенности речи для восприятия «на слух».

Все эти вопросы и целый ряд других, весьма существенных в деле речевого воспитания агитатора и пропагандиста могут быть успешно разрешены лишь при наличии теории публичной речи.

На смену «риторики», «оратории», «гомилетики», «елоквенции» должна прийти теория публичной речи, как отдел диалектико-материалистической лингвистики. Практическое применение этой теории должно лечь в основу публично-речевого воспитания масс вообще и воспитания рабочих агитаторов и пропагандистов в частности и в особенности. Наука о языке должна прийти на помощь теории и методике агитации

должна поднять на должную высоту публично-речевую культуру пролетарских масс.

Беспринципный, вульгарный, узко-практический техницизм всех имеющихся у нас «пособий» по ораторской речи — не что иное, как жалкий, но вредоносный и упорный риторический пережиток, пропитанный идеями, о которых, кажется, Герцен сказал, что они, пережив свой век, могут долго ходить с клюкой. Нет нужды тратить время на критику этих «пособий». Гораздо важнее построить на основе богатейшего марксистско-ленинского языкового и методологического наследия подлинно-научную теорию публичной ораторской речи, теорию, которая служила бы руководством к максимально эффективному речевому действию без всякой риторики и против риторики. Тем самым была бы решена судьба риторических пережитков.

Наметить, хотя бы вчерне, исторические контуры, рассчитать площадку для такой теоретической стройки — было задачей этой книги.

Из всего сказанного можно наметить следующие главные выводы.

1. Возникновение и развитие политических отношений в их конкретно-исторических формах — по мере развития товарного общества — отражаются в языке: возникают и развиваются формы политической и политико-правовой речи, как одного из важнейших орудий классовой борьбы. Ораторская речь, развивающаяся в условиях более или менее открытой классовой борьбы, есть политическая публичная речь.

2. Классово-искажающее неадекватное познание политической стороны действительности (общественного бытия), являющееся объективно тем, что Ф. Энгельс называл «идеологическим воззрением», неизбежно находит себе выражение в риторических формах языка. Риторические формы суть формы иллюзорной выразительности политического

языка, содержанием которого являются конкретные классовые интересы, реальная политика данного класса на данной ступени его развития.

3. Риторические формы свойственны не только политическому языку в строгом смысле — на определенной стадии исторического развития, — но и другим видам речи как формы идеологии (напр., философскому языку), — поскольку «всякая классовая борьба есть борьба политическая» (К. Маркс).

4. Политический язык возникает и изменяется как язык в той или иной мере риторический * до того исторического момента, когда пролетариат становится зрелым классом (классом «для себя»), когда авангард его организуется в самостоятельную политическую партию, происходит соединение научного социализма с рабочим движением, разоблачаются иллюзии либеральной рабочей политики, и, следовательно, политика пролетариата — и ее языковое выражение — начинает полностью строиться на основе подлинно научного, диалектико-материалистического познания, исключая его всякую возможность риторичности и риторики и снимающего всякую необходимость в них. Стремясь к уничтожению классового общества и, следовательно, классовой борьбы, революционный пролетариат преодолевает и уничтожает — в процессе идеологической борьбы с буржуазией и ее агентурой — всякую риторичность и риторику, как орудие классового угнетения и эксплуатации, не создавая взамен никакой новой риторики.

5. Риторические принципы — это переодетые политические принципы, а риторика — мистифицированная политика. Риторика, как теория ораторской речи, есть как бы суррогат политической теории, руководства политической борьбы. Риторика неизбежна в таком классовом обществе, которое уже создает политические формы борьбы, но еще не созрело до подлинного осознания существования политических отношений. Вся история политической речи есть история изменений риторических форм и стилей на пути — скачкообразном и противоречивом — к преодолению, снятию риторичности и риторики в теории и речевой практике зрелого пролетариата,

к достижению высшей выразительности языка в диалектико-материалистическом речевом стиле.

6. Риторические формы речи возникают на почве так или иначе фетишизированного отношения к языковому выражению, к выразительным средствам языка: риторические формы наделяются риториками имманентным абстрактным бытием, независимым от их конкретного содержания. Риторическая теория и практика вольно и невольно всегда покоилась на формуле римского ратора: «не выяснение истины, а победа в споре — награда оратору». В соответствии с этим риторическая точка зрения отправляется от представления об ораторском действии как об «организованном насилии» над аудиторией с целью ее «пленения» и «укрошения»; оратор уподобляется магу-заклинателю, который должен быть вооружен специальными «средствами» внушения и убеждения, причем мимо объективные «эмоциональные средства» играют в риторике выдающуюся роль, ибо стихийное возбуждение аудитории призвано компенсировать отсутствие соответствующей логико-познавательной аргументации. Такого рода воззрения на оратора и ораторское действие, на ораторскую речь, отражали потребность господствовавших классов удерживать массу в идеологическом подчинении. Отсюда создание особых форм политического языка, классово исключительных, как форм риторических. Эти формы закрепляли «монополью» на идеологическое творчество за господствующим классом.

7. Каждый общественный класс — до пролетариата — вступая в политическую борьбу, использует риторическое наследство других классов и создает свои новые риторические формы и «средства» и риторику, как систему риторических принципов, отвергая и разоблачая в то же время риторику враждебных классов. И лишь в той мере, в какой классовое познание, развиваясь, оказывается способным расширить сферу освоенных с научной достоверностью общих и частных закономерностей объективной действительности, — преодолевается в соответствующей степени риторичность и риторика. При этом степень и качество риторичности языка

находится в прямой зависимости от этапа развития данного класса: 1) речевая практика нового класса в начале его исторической деятельности, как класса восходящего, пользуется риторическими принципами и формами других классов, но для выражения нового классового содержания; 2) на дальнейших этапах развития класс создает свои особенные риторические принципы и формы, частично сохраняя и наследие, поскольку последнее пригодно для конкретных задач политической борьбы данного класса; 3) загнивающий класс, по мере загнивания, усplenно обращается к риторическому творчеству, особенно нуждается в помощи риторики, и следовательно, если риторичность и риторика исторически передового класса может объективно играть относительно революционную роль то риторические формы и риторика в период загнивания класса является в полной мере орудием реакционной политики.

8. Борьба пролетариата с буржуазией и с буржуазными и мелкобуржуазными влияниями, какую бы конкретную форму уклонов и отклонений от марксизма-ленинизма, от политической линии, которую осуществляет партия, как авангард и вождь класса, эти уклоны и влияния ни принимали, является одновременно в языковом выражении борьбой с буржуазной и мелкобуржуазной риторикой. Всякое отклонение оратора или публициста от последовательного применения диалектико-материалистического метода неизбежно отражается в его речевом стиле в виде рецидивов риторичности, т. е. переживаний форм и метода буржуазного политического языка. Общими риторическими нормами буржуазного политического языка являются нормы так назыв. «парламентского языка» (или «парламентского красноречия»), как языка мнимо-конкретизированного выражения, которое в основном служит смазыванию, идеалистическому искажению и затушевыванию действительных классовых противоречий с целью противодействия делу освобождения пролетариата и построения социализма. Борьба В. И. Ленина с фразой во всех ее конкретных проявлениях (кадетской, народнической, троцкистской и т. д.) была с языковой точки зрения борьбой с про-

влениями буржуазного политического языка, т. е. с буржуазной риторикой и риторическими формами.

9. Не создавая никакой риторики, пролетариат использует в своей речевой практике отдельные риторические формы выражения, однако в снятом виде, освобожденном от их риторического содержания. Пролетарский оратор не «укрощает» и не «заклинает» аудиторию, аполитически воспитывает ее, вооружая подлинно-научным познанием действительности для переделки последней. Так как интересы пролетариата суть действительно интересы широчайших масс, то пролетарский оратор не нуждается в риторическом языке и в риторике, как системе особых «средств» ораторского «успеха». Изгоняя риторичность языка и уничтожая риторiku, как мнимую науку, как классово-враждебную теорию, разоблачая ее подлинный смысл и значение, пролетариат создает свою науку о публичной речи, как отдел диалектико-материалистической лингвистики и как часть учения о пролетарской коммунистической агитации и пропаганде, которые в отличие от буржуазной агитации и пропаганды являются целиком и полностью строго-научными.

10. Только победоносная пролетарская революция открыла широчайший простор для пролетарской публично-речевой практики, до конца освобожденной от риторических форм, и дала величайшие образцы пролетарского публично-речевого стиля. Изучение этих образцов должно в первую голову послужить делу публично-речевого воспитания широчайших рабочих и крестьянских масс.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Предисловие	8
Глава первая	8
Глава вторая	20
Глава третья	72
Глава четвертая	91
Глава пятая	130
Глава шестая	158
Глава седьмая	185
Глава восьмая	225

2 р. 50 к. ПЕРФАКТ 50 к.

Оклад изданный
Бюро Трудотехнической литературы
г. Москва, ул. Ильинская, д. 10, стр. 10
Издательство «Книжка» 9

М. 1911